амфора_антология

ЕСЕНИН
ГЛАЗАМИ ЖЕНЩИН

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В антологию включены воспоминания женщин, в разные годы входивших в окружение Сергея Есенина и по-разному повлиявших на его жизнь и творчество. Особый интерес представляют мемуары А. А. Берзиной (Берзинь), ранее полностью не публиковавшиеся.

- Есенин глазами женщин. Антология
  -
  - «Вы помните, вы все, конечно, помните…»
  - Т. Ф. Есенина
  - Е. А. Есенина
  - А. А. Есенина
  - А. Р. Изряднова
  - Т. С. Есенина
  - Н. Д. Вольпин
    - От автора
    - Часть первая
      - Белый и «зеленые»
      - Первое знакомство. Молочный брат
      - Умён
      - «Сестра моя жизнь» в СОПО
      - Несет себя как личность
      - Львов-Рогачевский
      - Кобыльи корабли
      - Хлястик и канотье
      - Тонкая штучка
      - Пощечина. Суд
      - Идет по канату
      - Друзья и враги
      - Лима Савахвани
      - Соперница
      - Письмо из Кисловодска
      - Саван
      - Заглянув в себя
      - Наш общий друг
      - «Я с холодком». И пятнадцать вопросов
      - Первое стихотворение
      - В гостях у Пушкина
      - Имажинисты о Маяковском
      - Папироса
      - Мой товарищ собрался в отъезд

- Наша «ложа»
- Появляется Бениславская
- Оранжевая щетина
- Пусто внутри
- Новая надпись
- Словарь Даля

- Часть вторая
  - Принцесса Брамбилла
  - Непреклонная
  - В ту первую ночь
  - Особенный взгляд
  - Наши споры
  - Поэт и поэтесса
  - Знаю нутром
  - Праксителев Гермес
  - Снова Бениславская
  - Еще о Маяковском
  - Четвертое октября
  - По большому счету
  - Вечер отречения
  - Не уберегли
  - Гость из Одессы
  - Пишу ваш портрет
  - Очки. И Вундт
  - Перевертни
  - Десять бы лет!
  - Тютчев и Фет
  - Гений ли?
  - Пьедестал
  - Бялик в СОПО
  - С Коненковым
  - Галин муж
  - Грозит слепота
  - «По впечатлению»
  - Чтоб с престола…
  - Женщина хоть куда
  - Бестелесная
  - Издатель
  - Вернусь – другой буду!
  - Страна негодяев
  - На крыше
- Часть третья
  - Подновляем автобиографию
  - Трое

- Землячка
- Посвящение можно и снять
- К истории одного стихотворения
- Русофил
- Блудный сын
- По-своему
- Божественный напиток
- Есенин о Дункан, о ее танце
- Суд над четырьмя. На большой полянке
- Привожу Есенина к Гале
- У меня трое детей!
- Ценитель веснушек
- Знакомься, Нюра
- Ленинградские имажинисты
- В зале Лассаля
- Ты в уме, Сергей?
- Ну, Есенин!
- Последняя встреча
- По ту сторону
- Вместо заключения

○ Н. В. Крандиевская-Толстая
○ Г. А. Бениславская
○ А. Л. Миклашевская
○ Ш. Н. Тальян
○ А. А. Берзина (Берзинь)

-
- Мое знакомство с Айседорой Дункан
- Женитьба Сергея Александровича
- Смерть Сергея Есенина

○ Лица, упоминаемые в воспоминаниях
○ Источники публикуемых текстов

• notes
○ 1
○ 2
○ 3
○ 4
○ 5
○ 6
○ 7
○ 8
○ 9
○ 10
○ 11
○ 12

- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50

Есенин глазами женщин. Антология Сост. П.Фокин

Защиту интеллектуальной собственности и прав издательской группы «Амфора» осуществляет юридическая компания «Усков и Партнеры»

© Фокин П., состав, предисловие, комментарии, 2006

© Берзина А. А., 2006

© Вольпин Н. Д., 2006

© Оформление. ЗАО ТИД «Амфора», 2006

Фото из собрания Государственного Литературного музея (Москва)

«Вы помните, вы все, конечно, помните…»

Пленительный Лель, голубоглазый и златокудрый, беспечный пастушок, поющий задушевные песни, компанейский парень, всеобщий любимец, растрава девичьих сердец – казалось, пришел он из волшебной сказки Островского, прямо из царства мудрого Берендея. В самом имени его – Сергей Есенин – столько весеннего света, ясности, тепла, сердечности.

Поэтесса и журналистка Зоя Бухарова в ноябре 1915 года в репортаже «Петроградской газеты» о поэтическом вечере группы «Краса» просто млела, описывая дебют Есенина на столичном Парнасе (примечательно – первый литературный портрет Есенина принадлежит именно женщине!): «Робкой, застенчивой, непривычной к эстраде походкою вышел к настороженной аудитории Сергей Есенин. Хрупкий девятнадцатилетний крестьянский юноша, с вольно вьющимися золотыми кудрями, в белой рубашке, высоких сапогах, сразу, уже одним милым, доверчиво-добрым, детски-чистым своим обликом властно приковал к себе все взгляды. И когда он начал с характерными рязанскими ударениями на „о“ рассказывать меткими, ритмическими строками о страданиях, надеждах, молитвах родной деревни („Русь“), когда засверкали перед нами необычные по свежести, забытые по смыслу, а часто и совсем незнакомые обороты, слова, образы, – когда перед нами предстал овеянный ржаным и лесным благоуханием „Божией милостью“ юноша-поэт, – размягчились, согрелись холодные, искушенные, неверные, темные сердца наши, и мы полюбили рязанского Леля».

Это первое впечатление прочно вошло не только в сознание современников, но и на долгие годы мифом приросло к противоречивой, мятущейся личности поэта – вопреки последовавшему вскоре имажинизму, беспутному разгулу, «половодью чувств», вопреки цилиндрам и Айседоре, «Москве кабацкой» и «Черному человеку».

О, эти голубые глаза! О, эти пшеничные локоны! Нет, совсем не Лель, другой персонаж русской литературы трагически заявлял здесь о своем приходе – еще не истративший душу, но уже вступивший на путь экзистенциальных экспериментов Свидригайлов! Без бороды его никто не узнал…

«Я все себе позволил!» – любил говорить Есенин. И это не было пустой фразой. С карамазовским безудержем прожил он свои тридцать лет, а потом – «кубок об пол»!

«Донжуанский список» Есенина вполне мог бы соперничать с пушкинским.

Много девушек я перещупал,
Много женщин в углах прижимал.

Но это отнюдь не список побед. Скорее, напротив. Интимная биография поэта поражает своей беспорядочностью и запутанностью. Его бросает от одной женщины к другой, но ни одна не может удержать его.

Ни безотчетная любовь, ни смирение, ни самопожертвование не способны дать поэту заветного счастья. Смертная тоска неодолимо заполняет сердце.

Много женщин меня любило,
Да и сам я любил не одну,
Не от этого ль темная сила
Приучила меня к вину.

. . . . . .

Не больна мне ничья измена,
И не радует легкость побед, —
Тех волос золотое сено
Превращается в серый цвет.

Превращается в пепел и воды,
Когда цедит осенняя муть.
Мне не жаль вас, прошедшие годы, —
Ничего не хочу вернуть.

Я устал себя мучить бесцельно,
И с улыбкою странной лица
Полюбил я носить в легком теле
Тихий свет и покой мертвеца…

«Полюбить бы по-настоящему! Или тифом, что ли, заболеть!» – запомнила Надежда Вольпин признание поэта.

Да, Есенин не знал «настоящей», трагической любви. Той страсти, что сжигала Блока. Тех мучений, что терзали Маяковского.

Ему повезло: его женщины его любили.

Ни одна не отвергла. Ни одна не посмотрела насмешливым

взглядом, не заставила гореть в огне сомнений, томиться жаждой несбыточных встреч, трепетать, отчаиваться, ликовать и плакать – любить. Ему не повезло…

Так и промаялся весь век – безлюбый.

Секс-идол России на все времена, он изнывал от тоски безразличия.

Кто я? Что я? Только лишь мечтатель,
Перстень счастья ищущий во мгле,
Эту жизнь живу я словно кстати,
Заодно с другими на земле.

И с тобой целуюсь по привычке,
Потому что многих целовал,
И, как будто зажигая спички,
Говорю любовные слова.

«Дорогая», «милая», «навеки»,
А в уме всегда одно и то ж,
Если тронуть страсти в человеке,
То, конечно, правды не найдешь.

Но ведь и сам он избегал роковых встреч. (Однажды лишь потерял голову, с Айседорой, да и то ненадолго. И, кажется, не совсем без задней мысли ринулся к ней в объятия.)

Ему ведь прежде нужно было, чтобы *его* любили. Не скрывал этого:

Было время, когда из предместья
Я мечтал по-мальчишески – в дым,
Что я буду богат и известен
И что всеми я буду любим.

Он всегда дарил женщинам букеты – был неравнодушен к цветам.

Неизменно провожал до дома – нравилось быть галантным кавалером.

Охотно читал вслух стихи – любил свою поэзию, свой голос и артистизм.

«Прекрасной даме» искать в его сердце было нечего. Слишком был очарован собой.

Надежда Вольпин и шестьдесят лет спустя не могла забыть: «Зеркало!.. Ни к кому я так не ревновала Сергея – ни к одной

женщине, ни к другу, как к зеркалу да гребенке. Во мне все сжималось от боли, когда он, бывало, вот так глядит на себя глазами Нарцисса и расчесывает волосы. Однажды я даже сказала ему полушутя (и с болью):

– До чего же у нас с вами сходный вкус! Я люблю Сергея Есенина – и вы любите Сергея Есенина.

Он только усмехнулся».

Сколько еще таких усмешек зафиксировали женские глаза. Иногда они носили добродушно-лукавый характер, иногда – злобно-насмешливый, презрительный.

Ах, любовь! Она ведь всем знакома,
Это чувство знают даже кошки,
Только я с отчизной и без дома
От нее сбираю скромно крошки.

Счастья нет. Но горевать не буду —
Есть везде родные сердцу куры,
Для меня рассеяны повсюду
Молодые чувственные дуры.

С ними я все радости приемлю
И для них лишь говорю стихами:
Оттого, знать, люди любят землю,
Что она пропахла петухами.

Почему-то ему все прощалось. Даже эта петушиная наглость.

Отнюдь не «чувственные дуры» отдавали Есенину свои сердца. В пестром хороводе есенинских женщин мы видим рядом: бойких сестер поэта, Катю и Шуру, восхищенных и очарованных братом; скромную, трудолюбивую Анну Изряднову, мать первого сына Есенина; талантливую, исполненную чувства собственного достоинства Зинаиду Райх, венчанную жену и мать двоих есенинских детей; утонченную, эстетствующую Надежду Вольпин, поэта и друга, мать последнего сына Есенина; бурную, экзотическую Айседору Дункан, трогательную в своей любви к Революции и русскому поэту; жертвенно трагическую Галину Бениславскую, не выдержавшую вечного одиночества после гибели любимого и покончившую с собой на его могиле год спустя; Августу Миклашевскую, чуть было не ставшую женой, адресат поздней лирики Есенина; вдохновительницу «Персидских мотивов» Шаганэ Тальян; немного прямолинейную, но оттого не менее чуткую Анну Берзину; неудачную супругу Софью Андреевну Толстую. Рядом с ними – мать, растерянная и, кажется,

немного испуганная талантом и судьбой сына.

Сложные отношения связывали их между собой. Так уж жил Сергей Есенин, что вокруг него сразу было несколько женщин, которых он отличал своим доверием, вниманием и – иногда – любовью. Знакомил их друг с другом, заставлял общаться, принимать участие в его делах. Иногда искры ревности, особенно на первых порах, когда в круг есенинских подруг входила новая избранница, проскакивали меж ними, но очень быстро затухали, уступая место сочувствию. Именно так. Хлебнув сполна бед и испытаний, шедших от отчаянного своеволия Есенина, они прекрасно знали, что любовь к Есенину – это испытание сердца, крест, который не всякой по силам нести, и, как умели, старались помочь друг другу, поддержать, выручить, утешить. С исключительным чутьем понимали они, что каждая из них нужна Есенину, у каждой есть своя роль, свое место в его жизни, и, кажется, с той же отчетливостью осознавали, что ни одна не способна быть для него всем. Мучались этим и спасались. Тут есть над чем поломать голову психологам.

Воспоминания, собранные в этой книге, принадлежат тем, кто входил в состав этой большой и нескладной семьи (именно семьей чуть позже назовет в своей предсмертной записке Маяковский группу дорогих ему лиц – маму, сестру, Лилю Брик и Веронику Полонскую). Исключение составляет лишь очерк Н. Крандиевской-Толстой, запечатлевшей свои встречи с Есениным и Айседорой Дункан за границей, но он частично возмещает отсутствующие признания самой Айседоры, хотя, конечно, и не заменяет их.

Для всех мемуаристок Есенин не просто близкий человек – родной. Им дорого в нем все: и гений, и злодейство. Сказочное волшебство его улыбки и кромешный ужас опухшего с перепоя лица. Небесная синь глаз и фиолетовые омуты синяков. Безмятежная веселость и понурая замкнутость. «Роза белая с черною жабою». «Идеал Мадонны и идеал Содомский».

С замершим сердцем (восторг и отчаяние), со слезами в глазах (умиление и боль), с комом в горле (благодарность и обида) перебирают они в памяти бисер встреч, событий, разговоров, мучительно ищут связь между ангелом и демоном.

И – не могут найти.

Женский взгляд приметлив, он различает многие нюансы облика, настроения, слов и поступков. За любимым следит чутко. К окружающим относится придирчиво. Ему открывается многое, что утаивается от остального мира. И это всегда взгляд деятельной души, заботливой, хлопотливой, ответственной. Но, как всегда бывает, у семи нянек – дитя без глазу. Воспоминания

окружавших Есенина женщин отличаются особенной интонацией. В ней собраны все оттенки женской печали – материнской, сестринской, супружеской (вне зависимости от того, кем в действительности они приходились поэту, каждая чувствовала себя и сестрой, и женой, и матерью): не уберегли!

Няньки!..

А ему была нужна – Госпожа. «Королевна». Настасья Филипповна.

Их невозможно винить. Можно лишь попытаться разделить их печаль.

Павел Фокин

Т. Ф. Есенина
О сыне

Был у нас в селе праведный человек, отец Иван. Он мне и говорит: «Татьяна, твой сын отмечен Богом».

…Родился в селе Константинове. Читал он очень много всего. И жалко мне было его, что он много читал, утомлялся. Я подойду погасить его огонь, чтобы он лег, уснул. Но он на это не обращал внимания. Он опять зажигал и читал. Дочитается до рассвета и не спавши поедет учиться опять. Такая у него жадность была к учению, и знать все хотел. Он читал очень много, я не знаю, как сказать сколько, а начитан очень много.

Учился в своей школе, сельской. Четыре класса. Получил похвальный лист. После учебы отправили мы его в семилетку, в которую не всякий мог попасть в это время[1]. Было только доступно господским детям и поповым, а крестьянским нельзя было. Но так как он учился хорошо, священник у нас был опытный человек, видел, что у него талант, посоветовал нам с отцом: «Давай его отправим…» Ну, мы согласились – отправили. Он там проучился три года, в семилетке. И писал. Стихи писал уже. Он напишет, прочитает и скажет:

– Мама, послушай, как я написал.

А мы и понятия не имели, что это за поэзия такая. Ну, написал и кладет. Собирал все в папку, собирал. А ведь я занята была крестьянскими делами. А он занят головой. У него работала голова именно о том, чтобы читать и читать. Сергей был только для чтения, так, чтобы ему побольше ухватить на свете, узнать все. Очень жадно все читал.

Когда закончил семилетку, приехал домой. Отец его отозвал в Москву к себе. Он поехал, не ослушался. Шестнадцать лет ему было. Отец поставил его в контору к своему хозяину. Ему не понравилось сразу. Как это? Хозяйка строгая такая была, нападала все на служащих. Он заявляет отцу:

– Папа, я твоему хозяину служить больше не буду.

– Почему?

– Да нельзя. Потому что хозяйка бьет прислугу.

– Ну, твое дело, поступай как хочешь.

– Я хочу сам над собой хозяином быть.

Отец:

– Ну делай что хочешь.

Отправился к Сытину. Известный был человек Сытин[2]. Пришел к нему туда. Сытин принял его охотно. Остался у него

работать корректором. И писал… Стихи писал… Он писал, и Сытин о нем понял, что он человек доступный, – и Сытин с ним вместе писал… И вот понесут они издавать свою работу, у Сергея принимают, а у Сытина нет, у старика. Обидно ему, и жалко его, что его так оскорбляют. Но недоступно, говорят, нельзя, нельзя их принять. Приходится старику обратно идти со своими стихами. А у этого – давай, давай… Он проверяет свои книги и работает свое дело, пишет.

Каждое лето приезжал в деревню. Или до заграницы, или после был дома, домой обязательно ездил каждое лето. Приедет… Мы радостно его встречали. Подарки нам привезет. Как было хорошо, весело. И соседей всех угостит винцом. Стариков соберет, угостит. Все было хорошо… Тогда еще убирали барские луга. Покосили немного. «Папа, – говорит, – давай бросим. Наймем. Хватит с нас этого». Косьбу бросили, пришли домой. «Хватит с нас, я заработаю – пришлю».

Все лето у него проходило с гостями. Какую-нибудь старуху где-нибудь поймает, приведет, посадит, угостит ее, послушает, что она будет говорить про прошлое время. Ему было интересно. В прошлое время кровать не называли кроватью, а «коник». Как это «коник» понять? На чем спать? На конике. Ему это интересно было знать. Везде он так всех послушал: и стариков, и старух, – везде узнал, кто как живет, кто как понимает. Один раз пришлось так. Был под горой, играл с ребятами. Идет из-под горы – старики собрались, толкуют о святом отце Серафиме. Посмеялся с мужиками, что о. Серафим табаку обнюхался. Все подняли смех. Не сказать, что религиозный был, но все-таки я его водила в детстве куда надо. Приучала. Мы – люди старые, так было нужно. А сейчас – другое время.

С. Есенин с матерью. 1924

…Приехал домой, читал стихи мне. Уж он был знаменитым поэтом. Но он стал читать «Москву кабацкую», мне не понравилось это. Я обвинила его – не нужно это. А он говорит: «Мама, я как вижу, так и пишу, вы меня не вините. У поэта ни одно слово не должно лишнее быть». Больше я ему ничего не сказала. Я больше его не знаю.

Жил хорошо, слушался во всем, не отказывал мне ни в чем и не безобразничал, как другие. Все восхищались.

Приезжал в деревню знаменитым поэтом и читал стихи крестьянам.

1955

Е. А. Есенина
В Константинове

Вся округа знала Федора Андреевича Титова (нашего дедушку по матери).

Умен в беседе, весел в пиру и сердит в гневе, дедушка умел нравиться людям.

Он был недурен собой, имел хороший рост, серые задумчивые глаза, русый волос и сохранил до глубокой старости опрятность одежды. Он был одним из четырех сыновей константиновского крестьянина. В нашем малоземельном краю четырем молодцам в одном доме нечего было делать, поэтому наш народ всегда занимался отхожими промыслами. С началом весны у нас почти половина мужского населения уходила в Питер на заработки. Там они нанимались рабочими на плоты или на баржи и плавали по воде все лето.

Потом мужики объединились в артель. Почти все члены артели приобрели собственные баржи, и каждый стал сам себе хозяин.

Дедушка со своими баржами был очень счастлив. Удача ходила за ним следом. Дом его стал полной чашей. Семья его состояла из трех сыновей и одной дочери (нашей матери). В доме был работник и работница, хлеба своего хватало всегда до нови. Лошади и сбруя были лучшие в селе.

В начале весны дедушка уезжал в Питер и плавал на баржах до глубокой осени.

По обычаю, мужикам, возвращающимся домой с доходом, полагалось благодарить Бога, и церковь наша получала от них различную утварь: подсвечники, ковры, богатые иконы – все эти вещи мужики покупали в складчину. Дедушка был очень щедрым на пожертвования и за это был почитаем духовенством. В благодарность Богу за удачное плавание дедушка поставил перед своим домом часовню. У иконы Николая Чудотворца под праздники в часовне всегда горела лампада.

После расчета с Богом у дедушки полагалось веселиться. Бочки браги и вино ставились около дома.

– Пейте! Ешьте! Веселитесь, православные! – говорил дедушка. – Нечего деньгу копить, умрем – все останется. Медная посуда. Ангельский голосок! Золотое пение. Давай споем!

Пел дедушка хорошо и любил слушать, когда хорошо поют. Веселье продолжалось неделю, а то и больше. Потом становилось реже, в базарные дни по вторникам, а к концу зимы и вовсе

прекращалось за неимением денег. Тогда наступали черные дни в Титовом доме. То и дело слышались окрики дедушки:

– Эй, бездомовники! Кто это там огонь вывернул?

И начиналась брань за соль, спички, керосин.

Все затихало в доме Титовых, когда дедушка был сердит. Своего младшего сына он навсегда сделал несчастным. Сын его (дядя Петя) был еще в детстве напуган коровой. Ему было лет восемь, когда он провинился и, боясь гнева дедушки, не пошел кланяться ему в ноги, а спрятался на чердаке. Дедушка от такой дерзости рассвирепел. Он сам влез на чердак и, найдя сына, притаившегося в темном углу, взял его за шиворот и сбросил вниз.

С необузданностью в дедушке уживалась большая доброта и нежность по отношению к детям. Уложить спать, рассказать сказку, спеть песню ребенку для него было необходимостью. Сергей часто вспоминал свои разговоры с ним. Вот один из них.

Дедушка с Сергеем спали на печке. Из окна на печку светила луна.

– Дедушка, а кто это месяц на небе повесил?

Дедушка все знал и, не задумываясь, отвечал:

– Месяц? Его туда Федосий Иванович повесил.

– А кто такой Федосий Иванович?

– Федосий Иванович сапожник, вот поедем с тобой во вторник на базар, я тебе покажу его – толстый такой.

Часто Сергей напевал припев одной из детских песенок, которую пел ему дедушка:

Нейдет коза с орехами,
Нейдет коза с калеными.

Когда мать ушла от Есениных, дедушка взял Сергея к себе, а ее послал в город добывать хлеб для обоих, при этом приказал ей высылать три рубля в месяц на сына.

С Питером у дедушки в это время все было кончено. Две баржи уничтожил пожар, а остальные утонули во время половодья. Дедушка был разорен, так как баржи не были застрахованы.

Теперь в доме Федора Андреевича наступил другой порядок. Старшего сына, дядю Ваню, он оставляет навсегда в городе, но жена его живет у дедушки. Среднего сына, дядю Сашу, он женит и оставляет дома, в деревне. Младший сын, дядя Петя, припадочный, для тяжелой работы не годится, он помогает по дому.

Хозяйствует сам дедушка. Он не гнушается никакой работой:

возит барское сено, сам косит на покосах, молотит рожь и делает все, что нужно для дома. Каждое воскресенье он идет в церковь к обедне. В этот день отдыхает вся семья.

Пять лет Сергей жил у дедушки Федора. Дядя Петя был первым другом Сергея, он учил его плести корзины, вырезать красивые палки, делать свистки. Жена дяди Вани и дедушка рассказывали ему сказки. Дядя Саша посылал за лошадьми и брал его с собою в лес и в поле. Бабушка учила молиться Богу и старалась покормить послаще.

Мать судилась с отцом, просила развод. Отец отказал в разводе. Она просила разрешения на получение паспорта – отец, пользуясь правами мужа, отказал и в паспорте. Это обстоятельство заставило ее вернуться к нашему отцу.

После смерти бабушки Аграфены в 1909 году отец и мать решили построить себе новый дом (старый требовал большого ремонта). Теперь мы живем в новом доме. Я помню Сергея с той поры, когда он ходил в школу.

Утром я редко видела Сергея дома. Скучно тянулся день. Я играла в куклы, забавлялась с кошкой – матери некогда было интересоваться мною, она даже в избе мало бывала. Подруг у меня еще не было. Если я выходила гулять, то только около избы, недалеко от матери.

Каждый день я ждала Сергея из школы: тогда мать придет в избу собирать обед, будет разговаривать с ним, и мне веселее будет.

Сергей никогда не играл со мной, он всегда дразнил меня, и все-таки я любила, когда он был дома. Весной и летом Сергей пропадал целыми днями в лугах или на Оке. Он приносил домой рыбу, утиные яйца, а один раз принес целое ведро раков. Раки были черные, страшные и ползали во все стороны. Рассказывал, где и с кем он их ловил, смеялся, и мать становилась веселей.

Неожиданно приехал отец из Москвы, привез гостинцев и две красивые рамки со стеклом. Одну для похвального листа, другую для свидетельства об окончании сельской школы. Это награда за отличную успеваемость Сергея в школе. Похвальный лист редко кто имел в нашем селе. Отец снял со стены портреты, а на их место повесил похвальный лист и свидетельство, ниже повесил оставшиеся портреты. Когда пришел Сергей, отец с улыбкой показал ему свою работу. Сергей тоже улыбнулся в ответ.

Потом позвали в гости отца Ивана и тетю Капу. За столом шла беседа о том, куда определить Сергея. Отец Иван и тетя Капа посоветовали учить его дальше и указали, где надо учиться. Отец наш пробыл три дня у нас и опять уехал. После отъезда отца мать часто ходила к Поповым, что-то шила, принесла маленький

сундучок и уложила туда вещи Сергея. Потом к нашей избе подъехала лошадь, вошел чужой мужик, молились Богу и мать с Сергеем уехали, оставив меня дома с соседкой. Сергей уехал учиться во второклассную учительскую школу в Спас-Клепики.

Зимой жили мы вдвоем с матерью. Мать много рассказывала мне сказок, но сказки все были страшные и скучные. Скучными они мне казались потому, что в каждой сказке мать обязательно пела. Например, сказка об Аленушке. Аленушка так жалобно звала своего братца, что мне становилось невмочь, и я со слезами просила мать не петь этого места, а просто рассказывать. Мать много рассказывала о святых, и святые тоже у нее пели.

К Рождеству на каникулы приехал Сергей, он показался мне очень высоким и совсем не таким, как раньше. Когда он вошел в избу в валенках, в поддевке и рыжем башлыке, запорошенный снегом, он походил на девушку.

Как всегда, он почти не говорил со мной, а читал или говорил с матерью. Однажды мы остались с ним вдвоем, он читал, я была уже в кровати. Громкий хохот Сергея заставил меня подняться. Он хохотал до слез, я удивленно глядела на него – в избе никого не было. В это время вернулась мать и немедленно приступила с допросом:

– Ты что смеешься-то?

– Да так, смешно, – ответил Сергей.

– И ты часто так смеешься, один-то?

– А что? – спросил Сергей.

– Вот так в Федякине дьячок очень читать любил, все читал, читал и до того дочитался, что сошел с ума. А отчего? Все книжки. Дьячок-то какой был!

Сергей засмеялся.

– Я вот смотрю, ты все читаешь и читаешь. Брось ты свои книжки, читай что нужно, а пустоту нечего читать.

Прошли каникулы. Сергей неохотно стал собираться в Спас-Клепики. Мать наказывала терпеть, слушаться учителей и советовалась после его отъезда с хромой Марфушей.

– Как быть, кума? Очень дерутся там в школе-то, ведь изуродуют, чем попало дерутся.

– Пусть, кума, потерпит, а тут что? Сама съездий, – говорила Марфуша.

Матери становилось легче.

Вскоре после каникул Сергей приехал с нашими мужиками обратно. Сначала он сказал, что распустили всю школу, а на другой день заявил матери, что больше учиться не будет.

Мать очень перепугалась: как отец на это посмотрит? Они долго думали и наконец решили написать обо всем отцу. Сергей с

надеждой, что скоро вернется, поехал в школу.

Школа Сергея в Спас-Клепиках, казалось мне, стоит где-то посреди воды и в половодье дорога там очень опасна.

– Ах ты, господи, страсть-то какая, как они будут переправляться через воду? Спаси его, Господи, перенеси, Царица Небесная, через эту напасть! – ахала мать, зажигая лампадку.

Сергей приезжал к Пасхе домой. В Спас-Клепиках у Сергея был большой друг Гриша Панфилов, и он рассказывал матери о семье Панфилова, о своих школьных товарищах.

Наконец через три года школа закончена. К осени отец вызвал Сергея к себе в Москву и устроил его работать в конторе у своего хозяина.

Из Москвы Сергей часто приезжал домой.

Дома он погружался в свои книги и ничего не хотел знать. Мать и добром и ссорами просила его вникать в хозяйство, но из этого ничего не выходило.

Когда Сергей, одевшись в свой хороший, хоть и единственный, костюм, отправлялся к Поповым, мать, не отрывая глаз, смотрела в окно до тех пор, пока Сергей скрывался в дверях дома Поповых. Она была довольна его внешностью и каждый раз любовалась им. Много девушек заглядывалось на наш небольшой уютный дом.

– Если ты женишься в Москве и без нашего благословения, не показывайся со своей женой в наш дом, я ее ни за что не приму, – наставляла мать. – Задумаешь жениться, с отцом посоветуйся, он тебе зла не пожелает и зря перечить не будет…

Спал Сергей в амбаре. Ключ от него он носил с собой всегда. Потом и я стала спать в амбаре.

Один раз я долго играла с ребятами и поздно пошла спать. Сергея не оказалось в амбаре: он ушел к Поповым. Ночь была чудесная, лунная, я села у амбара и стала ждать. Вишни и высокие плети картошки были серебристо-голубого цвета. Мне было жутко одной, вдалеке от жилья, но небо с миллионами звезд было так прекрасно, что мне на всю жизнь запомнилась эта ночь. Наконец заскрипела калитка.

– Ты давно здесь? – спросил Сергей.

Потом он сел на мое место, и я заснула под насвистывание какой-то нежной песенки.

Я любила Сергея. С ним у нас дома было веселее, и сам он был красивый, нарядный. Но мне казалось, он меня не любил. Сестру Шуру любили все. Когда ей было три-четыре года, Сергей с удовольствием носил ее к Поповым и там долго пропадал с ней.

Он плел ей костюмы из цветов (он умел из цветов с длинными стеблями делать платья и разных фасонов шляпы) и

приносил ее домой всю в цветах. Я охотно бежала смотреть, как играют у Поповых в крокет, но, стоило появиться Сергею – он немедленно прогонял меня.

– Я не пойду домой, – заявляла я.

– Посмотри, на кого ты похожа, сейчас же иди домой, – тихо говорил он.

Иногда, жалея его, я уходила. Я понимала: ему стыдно, что у него такая сестра. Одевала нас мать в одинаковые платья с Шурой. Но моя беда в том, что платья эти часто висели на мне лохмотьями, а Шура всегда была опрятна и нарядна.

Кусты акаций каймою облегали невысокий старинный дом со створчатыми ставнями. Направо – церковь, белая и стройная, как невеста, налево – дом дьякона, дальше – дьячка. Большие сады позади этих домов как бы сплелись между собою и, полные разных яблок и ягод, были соблазнительно хороши. В старинном доме с акациями жил наш священник, отец Иван. Невысокого роста, с крупными чертами лица, с умными черными глазами, он так хорошо умел ладить с людьми, что не было во всей округе человека, который мог что-нибудь сказать плохое об отце Иване.

Больше пятидесяти лет отец Иван служил в нашей церкви. Он приехал к нам совсем молодым с маленькой дочерью. Несмотря на вдовство, мужики никогда не могли упрекнуть его в волокитстве за бабами. Правда, случалось, что иногда задерживалась обедня из-за того, что поп наш еще из гостей не приехал, но мужики понимали и не взыскивали с него.

Семья отца Ивана состояла из двух человек: дочери Капитолины Ивановны, девицы, и сына умершей сестры Клавдия. В доме отца Ивана всегда было еще много людей, которые ввиду долголетней службы у него считались тоже вроде своих.

Молоденькая девушка Настя, исполнявшая обязанности горничной, из-за бедности родителей выросшая в доме отца Ивана, хромая Марфуша-экономка, Тимоша Данилин (сын нищей вдовы), при содействии отца Ивана ставший студентом Московского университета, кухарка и работник.

Утонувший в зелени дом был очень удобен. Он состоял из трех частей. Первой частью была горница. Вторая часть называлась «сени» – это самое веселое место в доме, здесь зимой и летом до утра играли в лото, в карты, играли на гармонии и гитаре. Здесь рассказывали были и небылицы, здесь спевались певчие – словом, вся жизнь протекала в сенях.

Сергей был почти ежедневным посетителем Поповых сеней, дома он только спал и работал, весь свой досуг проводил у Поповых. В саду у отца Ивана был еще другой дом, и Сергей

иногда ночевал там вместе с загулявшейся до свету молодежью, которая, как пчелы к улью, слеталась к отцу Ивану со всех концов.

Просторный дом отца Ивана всегда был полон гостей, особенно в летнюю пору.

Каждое лето приезжала к нему одна из его родственниц – учительница, вдова Вера Васильевна Сардановская. У Веры Васильевны было трое детей – сын и две дочери, и они по целому лету жили у Поповых. Сергей был в близких отношениях с этой семьей, и часто, бывало, в саду у Поповых можно было видеть его с Анютой Сардановской (младшей дочерью Веры Васильевны).

Мать наша через Марфушу знала о каждом шаге Сергея у Поповых.

– Ох, кума, – говорила Марфуша, – у нашей Анюты с Сережей роман. Уж она такая проказница, ведь скрывать ничего не любит. «Пойду, – говорит, – замуж за Сережку», и все это у нее так хорошо выходит.

Потом, спустя несколько лет, Марфуша говорила матери:

– Потеха, кума! Увиделись они, Сережа говорит ей: «Ты что же, замуж вышла? А говорила, что не пойдешь, пока я не женюсь». Умора, целый вечер они трунили друг над другом.

Однажды к именинам тети Капы готовили домашний спектакль. Сергей должен был играть возлюбленного молоденькой учительницы. Но сам он ни о чем дома не говорил, а Марфуша, как всегда, доложила матери.

– Ты приди, кума, поглядеть, уж есть хорошо, есть хорошо у них получается, оба они молодые, красивые. Сначала все целоваться стеснялись, а потом понравилось.

Я заранее стала приставать к матери, чтобы она и меня взяла с собой посмотреть представление.

Настал день именин. Санки, одни за другими, подъезжали к дому Поповых. Я сидела и смотрела в окно, как гости вылезали из санок. Вечером весь дом у Поповых засветился, и я очень боялась, что представление начнется без нас, а мать медлила, ей не хотелось, чтобы я шла с нею.

Наконец мать собралась идти. Мы пришли на кухню, где мать решила побыть до начала представления, чтобы не попасть на глаза Сергею. Когда началось представление, Марфуша повела нас в горницу.

В горнице было много народу, все сидели на стульях и смотрели в спальню тети Капы. В спальне горели две лампы, на стене были намалеваны деревья. Вдруг я увидела красивую девушку с длинными черными косами. Девушка играла в большой мяч и что-то пела. Я забыла обо всем, забыла, где я, и жадно смотрела на красивую девушку. Неожиданно мать потянула меня

за руку, я оглянулась и увидела сердитого Сергея.

– Сейчас же уходите домой, – потребовал Сергей.

– Мы тебе что, мешаем? – спросила мать.

– Уходите сейчас же, иначе я уйду отсюда, – говорил Сергей.

Мы пошли домой. На крыльце встретилась Марфуша.

– Прогнал нас Сергей. Стесняется. Молодой, – сказала мать.

Много хороших дней в юности провел Сергей у Поповых. С годами он стал бывать у них реже. Но в каждый свой приезд в село он обязательно, как и в старое время, первым долгом направлялся к ним.

Однажды у нас шел разговор о колдунах. Разговор зашел потому, что бабы стали бояться ходить рано утром доить коров, так как около большой часовни каждое утро бегает колдун во всем белом.

– Это интересно, – сказал Сергей. – Сегодня же всю ночь просижу у часовни, ну и намну бока, если кого поймаю.

– Что ты, в уме! – перепугалась мать. – Ты еще не пуганый? Рази можно связываться с нечистой силой! Избавь боже. Мне довелось видеть раз, и спаси господи еще встретить.

– Расскажи, где ты видела колдунов? – попросил Сергей.

– Видела, – начала мать. – Я видела вместе с бабами, тоже к коровам шли. Только спустились с горы, а она тут и есть, во всем белом скачет на нас. Мы оторопели, стоим – ни взад ни вперед; глядим, с Мочалиной горы тоже бабы идут. Мы кричать, они к нам бегут, ну мы осмелели, бросили ведры – да за ней. Она от нас, а мы с шестами за ней, догнали ее до реки, а она там и скрылась в утреннем тумане.

Вечером Сергей пошел к часовне. Мать упросила его взять с собой большой колбасный нож, на всякий случай. На рассвете Сергей вернулся домой, бабы-коровницы разбудили его у часовни, так он и проспал всех колдунов.

Этим же летом случилась еще оказия. По селу прошел слух, что к кому-то летает огненный змей. Каждую ночь бабы видят его летящим над барским садом. Разговору по этому поводу было много. Перебрали всех молодых вдовых баб.

– Господи, и какие бесстрашные, принимают нечистую силу, и хоть бы что.

– А ты узнаешь, что это нечистая сила-то?

– Ну, знать-то, понятно, все знают, только ты вот что скажи: не скоро справишься с ней.

И бабы рассказывали:

– Вот к Авдотье-то летал почти целый год. И если бы тетка Агафья не увидела, пропала бы совсем. Она встала на двор,

только собралась выходить из избы-то, как вдруг все окна осветились; она – к окну и видит, что у них в проулке он весь искрами рассыпался и идет прямо к Авдотье в избу, ну ни дать ни взять – Микитка ее.

Отец Нюшки Меркушкиной в это время караулил барский сад. На следующий день Нюшка позвала меня за яблоками. Был уже глубокий вечер, когда мы направились с ней к барскому саду. Высокий забор не служил нам преградой. Привыкшие ко всяким приключениям, мы с ней не уступали в ловкости мальчишкам. Спустившись в сад, мы оказались в другом царстве. Высоко-высоко горели звезды. Яблони, поникшие под тяжестью плодов, казалось, дремали, невдалеке пылал костер. Семка, брат Нюшки, и его товарищ пекли картошку, отец в шалаше спал. «Вон яблоки, выбирайте из того вороха», – указал Семка. Набрав яблок, мы уселись около костра и за разговорами не заметили, сколько прошло времени. «Петухи-то кукарекали, ай нет?» – спросил Семкин товарищ. «Рано еще», – сказал Семка, и они продолжали спокойно лежать у костра на рваной дерюге. Вдруг петухи запели. Семкин товарищ поднялся, надел рукавицы и вытащил из костра горевшую головню. Повертев ею над головой, он закинул ее высоко в небо. Головня взвилась; падая, она ударялась о верхушки яблонь и рассыпалась искрами.

– Видела? – обратилась ко мне Нюшка. – Вот тебе змей огненный.

– А вы – ни гу-гу, – погрозил кулаком Семка, – мы хоть теперь уснем, а то бабы как чуть, так в сад лезут.

Дома я рассказала, как видала огненного змея.

Сергей хохотал до слез:

– Вот молодцы, додумались, и караулить не надо.

А мать ворчала:

– Паршивые, чего придумали, людей пугать понапрасну.

На Троицын день мать разбудила меня к обедне. Нарядившись и собрав букет цветов, я пошла в церковь.

В церкви я стояла недолго. За время обедни я вместе с моими сверстницами лазила в барский сад за цветами. Потом мы долго гуляли, и, когда кончилась обедня, я со всеми вместе пошла домой.

Дома у нас все было убрано березой. В открытые окна вместе с весной лился праздничный звон с нашей колокольни.

Мать ждала конца обедни, чтобы собрать завтрак.

Самовар уже кипел давно.

Весна была чудесная, день был солнечный, и праздник был в избе и на улице. В окно я увидела, что к нам прямо из церкви

идет Хаичка[3]. Мать не поверила, когда я сказала:

– Хаичка к нам идет.

– Это она к Ерофеевне. К нам ей незачем, – проговорила мать.

Но Хаичка пришла к нам.

– Здравствуйте, с праздником вас, – сладко заговорила Хаичка.

– Поди здорово, – отвечала мать, с любопытством глядя на Хаичку.

– Уж есть хорошо вы живете-то, – запела Хаичка, – и изба хорошая, и храм Божий рядом.

– Ты проходи, садись, – приглашала мать. – Да, у нас хорошо, – ответила она на хвалу.

– А где же, Таня, у тебя еще-то твои? – усаживаясь, спросила Хаичка.

– Мы все тут, – улыбнулась мать, оглядывая нас. – Сергей спит в амбаре.

– Хорошо, хорошо вы живете. Сынка-то женить не думаешь?

– Да нет, рано еще, не думали.

– Ну где же рано, ровесники его давно поженились, пора и ему.

– Не знаю, мы волю с него не снимаем, как хочет сам.

– А вы не давайте зря волю-то, женить пора. Вот Дарье-то желательно Соню к тебе отдать, – прибавила она другим тоном, – и жени! Девушка сама знаешь какая. Что красавица, что умница. Другой такой во всей округе нет.

– Девка хорошая, что говорить. Я поговорю с ним, – сказала мать.

– Ты поговори, а потом мне скажешь.

– Ладно, поговорю. Давай чай пить с нами.

Хаичка отказалась от чая.

После ее ухода мать послала меня будить Сергея. Сергей уже проснулся. Дверь амбара была открыта, и он, задрав ноги на кровати, пел. «Уж и жених», – мелькнуло у меня в голове.

– Иди чай пить, – сказала я.

– Как? Обедня отошла уже? – спросил он.

– Давно, – ответила я и побежала домой.

За столом мать сказала Сергею о посещении Хаички.

– Я не буду жениться, – сказал Сергей.

Когда я пошла на улицу, мать остановила меня:

– Ты смотри, ничего никому не говори.

Хаичке мать ответила:

– Отец не хочет женить сейчас, еще, говорит, молод. Годок подождать надо.

Началась война. Сергея призвали в армию.

Худой, остриженный наголо, приехал он на побывку. Отпустили его после операции аппендицита.

– Какая тишина здесь, – говорил Сергей, стоя у окна и любуясь нашей тихой зарей.

В армии он ездил на фронт с санитарным поездом, и его обязанностью было записывать имена и фамилии раненых. Много тяжелых и смешных случаев с ранеными рассказывал он. Ему приходилось бывать и в операционной. Он говорил об операции одного офицера, которому отнимали обе ноги.

Сергей рассказывал, что это был красивый и совсем молодой офицер. Под наркозом он пел «Дремлют плакучие ивы». Проснулся он калекой…

Через несколько дней Сергей уехал в Питер.

В этот приезд Сергей написал стихотворение «Я снова здесь, в семье родной…».

После операции Сергей не мог ехать на фронт. Его оставили служить в лазарете в Царском Селе. Дважды он приезжал оттуда на побывку. Полковник Ломан, под начальством которого находился Сергей, позволял ему многое, что не полагалось рядовому солдату. Поездки в деревню, домой, тоже были поблажкой полковника Ломана. Отец и мать с тревогой смотрели на Сергея: «Уж больно высоко взлетел!» Да и Сергей не очень радовался своему положению. Поэтому его приезды домой, несмотря на внешнее благополучие, оставили что-то тревожное.

Но вот и до нашего отца дошла очередь идти в солдаты. Он приехал из Москвы домой на призыв. Простившись с нами, отец уехал в Рязань на медицинскую комиссию. В Рязани отец наш случайно оказался вместе с отцом Гриши Панфилова, который тоже был призван в армию. Отец Гриши, услышав знакомую фамилию, спросил его, не родня ли он Сережи Есенина. Встреча нашего отца с отцом Гриши Панфилова совпала с решающим моментом в жизни Сергея: ему было предложено написать стихи в честь Николая II. Это было в конце 1916 года. Канун революции. Сергей не мог писать стихи в честь царя и мучительно искал предлог для отказа. И в этот момент он получил от отца письмо, в котором тот сообщал о встрече с отцом Гриши Панфилова. С Гришей у Сергея были связаны все его свободолюбивые, революционные мечты, и это напоминание о Грише явилось «перстом указующим» в принятом Сергеем решении.

И вот в Константиново пришло письмо:

«Дорогая мамаша, свяжи, пожалуйста, мне чулки шерстяные и обшей по пяткам. Здесь в городе не достать таких. Пошли мне закрытое письмо и пропиши, что с Шуркой и как учится Катька.

Отец мне недавно прислал письмо, в котором пишет, что он лежит с отцом Гриши Панфилова. Для меня это какой-то перст указующий заколдованного круга. Пока жизнь моя течет по-старому, только все простужаюсь часто и кашляю. По примеру твоему натираюсь камфарой и кутаюсь.

Сергей Есенин».

Открытка эта была последней из Царского Села. На следующий день мать пошла в Кузьминское послать посылку. Мы долго не получали ничего от Сергея, но в начале весны 1917 года он приехал домой на все лето. Из армии он с началом революции самовольно ретировался.

Барский сад с двухэтажным домом занимал у нас часть села и подгорье почти до самой реки. Вся усадьба была огорожена высоким бревенчатым забором, и ничей любопытный глаз не мог увидеть, что делается за высокой оградой. Высокие деревья, росшие по краям ограды, делали усадьбу красивой и таинственной. В годы моего детства владельцем этой усадьбы был Иван Петрович Кулаков, хозяин богатый и строгий. Ему принадлежал лес и половина наших лугов.

«Барин», «барское», «Кулаково» – то и дело склонялось мужиками и бабами. Для детей Кулаков был страшнее черта. Красная рябина, свисавшая через забор, соблазняла и манила сорвать ее. Смельчаки залезали на забор за рябиной, но, стоило кому-нибудь крикнуть: «Кулак, Кулак, лови», отважные похитители кубарем ссыпались с забора. Мне Кулаков казался чудовищем с черными длинными руками, и, когда кричали: «Кулак, лови», у меня мороз пробегал по спине. И вдруг новость: Кулак умер. Нам с Нюшкой очень хотелось видеть хоть мертвого барина, и мы в день похорон с утра дежурили у церкви. Было холодно и скучно. Мы внимательно осмотрели могилу барина, выложенную всю кирпичом, и не могли понять, для чего могилу сделали как погреб. «Это чтобы дольше не сгнил», – объяснила мне потом мать.

После Кулакова барская усадьба перешла по наследству к его дочери Кашиной Лидии Ивановне. При молодой барыне усадьба стала гораздо интересней. Каждое лето Кашина с детьми приезжала в Константиново. Мужа с ней не было. Говорили, что муж ее очень важный генерал, но она ни за что не хочет с ним жить[4]. Молодая красивая барыня развлекалась чем только можно. В усадьбе появились чудные лошади и хмурый, уродливый наездник. Откуда-то приехал опытный садовник и зимой выращивал клубнику.

Кучер, горничная, кухарка, прачка, экономка и много разного

люда появилось в усадьбе. К молодой барыне все относились с уважением. Бабы бегали к ней с просьбой написать адрес на немецком языке в Германию пленному мужу.

Каждый день после полдневной жары барыня выезжала на своей породистой лошади кататься в поле. Рядом с ней ехал наездник.

Тимоша Данилин, друг Сергея, занимался с ее детьми.

Однажды он пригласил с собой Сергея. С тех пор они стали часто бывать по вечерам в ее доме.

Матери нашей очень не нравилось, что Сергей повадился ходить к барыне. Она была довольна, когда он бывал у Поповых. Ей нравилось, когда он гулял с учительницами. Но барыня? Какая она ему пара? Она замужняя, у нее дети.

– Ты нынче опять у барыни был? – спрашивала она.

– Да, – отвечал Сергей.

– Чего же вы там делаете?

– Читаем, играем, – отвечал Сергей и вдруг заканчивал сердито: – Какое тебе дело, где я бываю!

– Мне, конешно, нет дела, а я вот что тебе скажу: брось ты эту барыню, не пара она тебе, нечего и ходить к ней. Ишь ты, – продолжала мать, – нашла, с кем играть.

Сергей молчал и каждый вечер ходил в барский дом.

Однажды за завтраком он сказал матери:

– Я еду сегодня на яр с барыней.

Мать ничего не сказала. День был до обеда чудесный. После обеда поползли тучи, и к вечеру поднялась страшная гроза. Буря ломала деревья, в избе стало совсем темно. Дождь широкой струей хлестал по стеклам. Мать забеспокоилась. «Господи, – вырвалось у нее, – спаси его, батюшка Николай Угодник».

И, как нарочно, в этот момент послышалось за окнами: «Тонут! Помогите! Тонут!» Мать бросилась из избы. Мы остались вдвоем с Шурой. На душе было тревожно и страшно. Чтобы отвлечься, я стала сочинять стихи о Сергее и барыне:

Не к добру ветер свистал,
Он, наверно, вас искал,
Он, наверно, вас искал
Окол свешнековских скал.

Этой строфой начиналось и заканчивалось мое стихотворение.

Две средние строфы говорили о том, что Бог послал нарочно бурю, чтобы разогнать Сергея и Кашину в разные стороны.

Л. И. Кашина

Мать вернулась сердитая. Оказалось, оборвался канат и паро́м понесло к шлюзам, где он мог разбиться о щиты. Паром спасли, Сергея на нем не было. Желая развеселить мать, я прочитала свое стихотворение. Оно ей понравилось.

Настала ночь. Мать несколько раз ходила на барский двор, но Кашина еще не возвращалась. Мало того, кучер Иван, оказалось, вернулся с дороги, и Сергей с барыней поехали вдвоем.

– Если бы Иван с ними был, мужик он опытный, все бы спокойней было, – ворчала мать.

Поздно ночью вернулся Сергей.

Утром мать рассказала ему о моем стихотворении. Сергей

смеялся, хвалил меня, а через несколько дней написал стихотворение, в котором он как бы отвечал на мои стихи:

Не напрасно дули ветры,
Не напрасно шла гроза.
Кто-то тайный тихим светом
Напоил мои глаза.

Мать больше не пробовала говорить о Кашиной с Сергеем. И когда маленькие дети Кашиной, мальчик и девочка, приносили Сергею букеты из роз, только качала головой. В память об этой весне Сергей написал стихотворение Л. И. Кашиной «Зеленая прическа…».

Настала осень. Уехал Сергей, и мы опять погрузились в длинный зимний сон.

Весной этого же года я окончила нашу сельскую четырехклассную школу. Все лето я занималась с Тимошей Данилиным, который готовил трех мальчиков из нашего села для поступления в разные учебные заведения.

Сергей старался, насколько возможно, оградить меня от домашней работы, чтобы я имела время приготовить уроки. Он радовался моим успехам больше всех. Теперь я приехала в Москву. Осенью отец устроил меня в частную гимназию.

Я тосковала по дому и часто во сне видела себя дома, в деревне, и вслух говорила с матерью.

– Ты сегодня опять во сне капризничала с матерью, не хотела есть кислые сливки, – говорил отец. – Набаловала она вас, совсем испортила.

Оставшись одна, я молилась Богу: «Господи, сделай так, чтобы я вернулась домой!»

Жили мы с отцом очень скучно. Отец не знал, о чем со мной говорить, а я боялась его строгого взгляда. Наконец появился Сергей.

– Ну, ты не плачь. Я буду часто теперь ездить к вам, – говорил он. – Я знаю, трудно с отцом. А ты что-нибудь пишешь?

Я показала ему сказку о Кощее Бессмертном, написанную мною в стихах. Сергей похвалил меня. Он стал часто приходить к нам.

Ожидания Сергея сблизили нас с отцом.

– Ну вот, сегодня Сергей придет, а я масло принес, будем жарить картошку, – говорил отец, и лицо его становилось светлым.

За чаем мы все трое говорили и смеялись. Разговор был

только о деревне, о наших людях.

– Да, как волка ни корми, он все в лес тянет, – говорил отец. – Тридцать лет с лишним, как я живу в Москве, а все не дома. И ты тоже, Сергей, приехала Катька, запахло домом, деревней, – бежишь теперь к нам.

В сундуке у отца хранились вещи Сергея. Однажды отец открыл сундук и развернул чудесный ковер. На белом атласном коне сидел прекрасный юноша. Переднюю ногу коня обвила зеленая змея. Юноша занес копье над головой змеи. Ковер был сделан из шелка, атласа и бархата.

– Это называется панно, – объяснил мне отец. – Картина означает «Святой Георгий побеждает зло».

Пришел Сергей и унес с собой это панно.

– Подарок замечательной художницы, – сказал он.

Вскоре панно украли у Сергея. У отца даже слезы брызнули, когда он узнал о пропаже картины. Сергею он ничего не сказал, только горестно поник головою.

Еще у отца в сундуке лежало несколько книг Сергея. Это были Библия, Пушкин и Гоголь с хорошими иллюстрациями.

Однажды Сергей пришел в неурочное время и застал меня за игрой в куклы.

Я быстро сгребла куклы со стола, но было поздно. Сергей улыбнулся:

– Ты все еще играешь в куклы?

– Да, – ответила я, – не говори, пожалуйста, отцу.

– А что ты читаешь?

– У меня нет книг, и я ничего не читаю, – ответила я.

Через день Сергей принес мне целый узел лоскутов для кукол. Лоскутья были всех цветов, и шелк, и кружево, и бархат – все было там. И еще он принес чудесную книгу – «Сказки братьев Гримм».

Теперь из школы я бежала скорей домой. Меня ждали сказки и ленты.

В 1918 году гимназию, в которой я училась, закрыли. В нашей же школе, в Константинове, открыли пятый класс, и отец посоветовал мне учиться в пятом классе, чтобы не забыть, что знала. «А там видно будет», – сказал он.

Пятый класс вела у нас Софья Павловна Прокимнова, молодая учительница, дочь священника из соседнего села Кузьминского. Учились в пятом классе одни мальчишки. Я была единственная девочка. Потом к нам в класс пришла еще одна девочка – Редина Маня. Она была моложе всех нас, очень маленького роста.

Однажды Софья Павловна предложила нам во время каникул

устроить самодеятельный концерт для ребят. Она хорошо играла на гитаре. Вместе с ней мы разучили хоровые песни, подготовили сцену из «Мертвых душ» – приезд Чичикова к Коробочке. Мне поручили роль Коробочки.

В назначенный день нашего выступления в большом классе устроили сцену, сшили из чего-то занавес. И при открытии занавеса я одна сижу за столом в широкой черной юбке и в кофте с длинным узким рукавом. На голове у меня какой-то белый капор с кружевом. Лицо мне Софья Павловна сделала такое, что мать родная не узнала бы. Публика не скупилась на аплодисменты.

Спектакль был рассчитан только на учеников, но – боже мой! – мужики и бабы торчали на всех подоконниках. Класс был битком набит взрослыми. Ободренные успехом, мы поставили еще два спектакля.

Видя, с каким успехом проходят наши школьные спектакли, молодежь села под руководством Клавдия Петровича Воронцова решила организовать свой кружок самодеятельности. Под зрительный зал была оборудована огромная барская конюшня. Все было хорошо, но в кружок вошли только три девушки. Причем ни одна из них не хотела играть старух. Тогда кружковцы поручили эти роли мне. Моя мать очень удивилась и сначала не хотела пускать меня (мне еще не было и четырнадцати лет), но ребята ее уговорили.

Наши спектакли шли с таким успехом, что нас стали приглашать в другие села. Однажды на репетицию к нам зашел наш деревенский коммунист Мочалин Петр Яковлевич. После репетиции он похвалил нас и предложил всем кружковцам вступить в комсомол. Все согласились, но я не могла сделать этого без разговора с матерью, да и годов мне не хватало.

Мать подумала и сказала:

– Раз такое дело, иди со всеми вместе, а Богу молиться не обязательно в церкви, ты про себя молись, Бог ведь знает, что теперь делается на белом свете.

На каждое комсомольское собрание обязательно приходил Мочалин.

После собрания мы пели песни и, довольные, расходились по домам.

Наши спектакли шли своим чередом.

В октябрьские дни и Первого мая мы, комсомольцы, ходили с флагами по селу, пели «Варшавянку», частушки Демьяна Бедного:

Долой, долой монахов,
Долой, долой попов!

Залезем мы на небо,
Разгоним всех богов.

Бабы качали головами и ругались нам вслед: «Антихристы проклятые!» Мужики молча отворачивались и отходили в сторону при нашем приближении. Но нам в ту пору ничего не было страшно.

1918 год. В селе у нас творилось бог знает что.

– Долой буржуев! Долой помещиков! – неслось со всех сторон.

Каждую неделю мужики собираются на сход.

Руководил всем Мочалин Петр Яковлевич, наш односельчанин, рабочий коломенского завода. Во время революции он пользовался в нашем селе большим авторитетом. Наша константиновская молодежь тех лет многим была обязана Мочалину, да и не только молодежь.

Личность Мочалина интересовала Сергея. Он знал о нем все. Позднее Мочалин послужил ему в известной мере прототипом для образа Оглоблина Прона в «Анне Снегиной» и комиссара в «Сказке о пастушонке Пете».

В 1918 году Сергей часто приезжал в деревню. Настроение у него было такое же, как и у всех, – приподнятое. Он ходил на все собрания, подолгу беседовал с мужиками.

Однажды вечером Сергей и мать ушли на собрание, а меня оставили дома. Вернулись они вместе поздно, и мать говорила Сергею:

– Она тебя просила, что ль, заступиться?

– Никто меня не просил, но ты же видишь, что делают? Растащат, разломают все, и никакой пользы, а сохранится целиком, хоть школа будет или амбулатория. Ведь ничего нет у нас! – говорил Сергей.

– А я вот что скажу – в драке волос не жалеют. И добро это не наше, и нечего и горевать о нем.

Наутро пришла ко мне Нюшка.

– Эх ты, чего вчера на собрание не пошла? Интересно было. – И Нюшка, волнуясь, с удовольствием продолжала: – Знаешь, Мочалин говорит: надо буржуйское гнездо разорить так, чтобы духу его не было, а ваш Сергей взял слово – и давай его крыть. Это, говорит, неправильно, у нас нет школы, нет больницы, к врачу за восемь верст ездим. Нельзя нам громить это помещение. Оно нам самим нужно! Ну и пошло у них.

Через год в доме Кашиной была открыта амбулатория, а

барскую конюшню переделали в клуб.

Все наши бабы везут своим мужикам в Москву продукты.

И меня мать послала к отцу вместе с бабами. Ехать в Москву надо пароходом, о поезде думать нечего, не сядешь.

Уселись мы в самом проходе, где отдают причал, мест больше нет нигде. Это третий класс. Ветер со всех сторон. Пароход ползет как черепаха. Ночь. Люди спят кто как может, а нам не до сна. Сквозит кругом, замерзли. Сидим на своих продуктах, как совы, сгорбатились, глазами хлопаем. До Москвы еще целые сутки плыть.

День кажется невероятно долгим. Наутро следующего дня – Москва. Отец бесконечно рад моему приезду. Теперь каждый месяц я еду с кем-нибудь в Москву с продуктами. Врач советует отцу уехать из Москвы в деревню. Астма и сердце плохое.

– Последний раз съезди и скажи отцу, чтобы ехал домой. Как-нибудь проживем. Люди-то живут, – сказала мне мать.

Теперь отец дома, в Константинове. Он устроился работать в волисполком делопроизводителем. Кроме жалованья ему дают тридцать фунтов муки. С хлебом и у нас теперь плохо – неурожай.

В селе у нас организовали комитет бедноты. Председателем выбрали Ивана Владимировича Уколова. Отца выбрали секретарем комитета бедноты.

Мать наша недовольна работой отца в комитете бедноты.

– Это что же? Людям по два-три пуда даешь муки, а мы тридцать фунтов получаем?

– Мы получаем хлеб за мою работу в волости, у нас есть корова, поэтому мы считаемся середняками. Хлеб дают многодетным, беднякам, бескоровным…

Весной организовали коллективный огород на бывших землях федякинского помещика. Я работала вместе с бабами на этом огороде. Отец вел весь учет. Он следил за очередностью работы лошадей, отмечал, кто сколько дней работал, выписывал семена и распределял урожай.

– Вот это хорошее дело, – говорил он, – каждый делает, что может, на что способен. Так жить можно!

Решили купить лошадь и заняться хозяйством. Достали заветный мешочек с деньгами (керенки, что прислал Сергей), сложили кофты, сарафаны и последнее поношенное пальто отца на барашковом меху с каракулевым воротником (подарок купца Крылова со своего плеча). Все это отдали за лошадь. Лошадь привели молодую, красивую. Вскоре выяснилось, что она не любит женщин: только мать подойдет, лошадь прижимает уши и косит глазами. Значит, не подходи – укусит.

– Ох, чтоб тебя вихор поднял! – вздыхала мать.

Поехал отец в косу, хворосту на плетни привезти, лошадь наша до горы довезла, около горы встала – и ни с места. И били, и ругали. Ничто не помогало, пока не подъехала другая лошадь с возом дров. Лошадь с дровами поехала в гору, наша – за ней. Так мы у горы и ждали всегда попутчика. С пустой телегой наша лошадь бежит хоть куда, с возом она не любит сворачивать с дороги, кроме как домой.

Однажды отец послал меня отвезти в поле навоз. До нашей доли я доехала хорошо, но дальше лошадь не пошла. Я отдала ей весь хлеб, что дал мне для нее отец, я била кобылу изо всей мочи кнутом, я ревела и опять била, ничто не помогало – кобыла стоит. Били ее все прохожие мужики и бабы – кобыла ни с места.

– Сваливай, Катя, навоз у дороги, отец сам потом возьмет его, – посоветовал сосед.

Только Маня, так звали кобылу, увидела, что телега пустая, она стала послушной, и я, как на рысаке, примчала домой.

Осень. Все убрали и в поле, и в лугах. Отец с карандашом в руках сидит за тетрадью и что-то колдует.

– Ничего не выходит, – сказал он, поднявшись из-за стола.

– Чего не выходит-то? – спросила мать.

– Не хватит у нас до весны ни хлеба, ни кормов скотине. Надо срочно продавать лошадь. Вот съезжу еще за дровами – и с богом, в Рязань, на базар.

В следующую субботу я с матерью еду на телеге продавать Маню. Завтра базар. Остановились ночевать у своих деревенских. Утром мы на сенном рынке. Рынок большой, лошадей много продают.

– Ты постой тут, а я похожу, приценюсь, почем лошади, – говорит мать.

Ко мне подходят люди, спрашивают, сколько стоит лошадь, но я ничего не могу ответить до матери. Вернувшись, мать назначает цену. Есть покупатель, но он хочет попробовать лошадь, как она ходит в гору.

– Погоди немного, сейчас хозяин придет, – говорит мать покупателю.

Покупатель отходит. Мать думает вслух:

– Как же быть? Может, эта дура с пустой телегой пойдет в гору-то?

Запрягли нашу Маню, ударили кнутом, она и пошла шарахаться в разные стороны, но только не на гору.

Наконец лошадь продали.

Вечер. Отец сидит у окна, не отрывая глаз от улицы. Управится со скотиной – и опять к окну.

– Тоскует о лошади, вот голова-то! – укоризненно говорит мать, когда отец пошел в ригу.

Отец по-прежнему работает секретарем комитета бедноты, это хорошо для него, он хоть какую-то пользу приносит людям, и люди уважают его. К нам часто заходят мужики. Они ведут с отцом беседы о странной, непонятной жизни, иногда просят его написать какое-нибудь ходатайство в сельсовет.

Почтальон Поля Царькова опять прошла мимо наших окон. Значит, ничего у нее для нас нет.

– Хоть бы ты, отец, в Москву к Сергею съездил, что же это – ни слуху ни духу нет от него? – сказала мать.

– Легко сказать – в Москву. Поезда переполнены, а Сергей как ветер, поймаешь ли его в Москве, – говорит отец.

– Поймаешь не поймаешь, ехать надо, – ответила мать. – Может, он больной валяется, а мы тут прохлаждаемся.

Отец уехал в Москву.

Прошло три дня. По пыльной дороге, следом за чьей-то тощей клячей, сгорбившись, шагал наш отец домой.

– Пресвятая Богородица, что же это? Ай что с Сергеем? – испуганно говорит мать, уставясь в окно.

Мы с Шурой тоже прилипли у окна. Никто из нас не вышел отцу навстречу. Лошадь свернула с дороги к нашему дому. Мать как угорелая побежала к отцу.

– Сергей уезжал из Москвы, потому и не отвечал нам, – говорил отец, – а его письмо, должно быть, пропало на почте.

На следующий день мать допрашивала отца:

– Мерингофа-то ты видал?

– Видал, – отвечал отец. – Ничего молодой человек, только лицо длинное, как морда лошади. Кормится он, видно, около нашего Сергея.

В конце лета 1920 года Сергей приехал домой. Это был самый длительный перерыв между его приездами в Константиново.

После бурных дней 1918 года у нас стало тихо, но, как всегда после бури, вода не сразу становится чистой, так и у людей еще много мутного было на душе. Прекратилась торговля, нет спичек, гвоздей, керосина, ниток, ситца. Живи как хочешь. Все обносилось, а купить негде.

Здоровье отца пошатнулось крепко, душит астма. Он теперь не работает в учреждении, ухаживает за своей скотиной и делает все, что придется, по общественным делам.

За чаем Сергей спрашивает отца:

– Сколько надо присылать денег, чтобы вы по-человечески

жили?

– Мы живем, как и все люди, спасибо за все, что присылал, если у тебя будет возможность, пришли сколько сможешь, – ответил отец.

Как на грех, привязался дождь. Вторые сутки хлещет как из ведра. После чая Сергей долго стоял у окна, по стеклу которого струилась дождевая вода. Потом он пошел к Поповым. Отца Ивана (священника) разбил паралич. Исчезли со стола медовые лепешки, замолкли песни, как вихрем унесло родных и гостей.

Дедушку Сергей застал на печке. Он хворает и ругает власть:

– Безбожники, это из-за них Господь людей карает. Консомол распустили, озорничают они над Богом, вот и живете, как кроты.

У Софроновых подряд умерли дед Вавила и дед Мысей. Мрут люди. У Ерофевны Ванятку убили на фронте. Тимоша Данилин тоже убит на фронте.

На другой день Сергей опять ходил к Поповым и долго беседовал с тетей Капой, она теперь сама топит печку и убирает по дому, но не унывает.

– Не все коту масленица, будет и Великий пост. Вот мы и дожили до поста, – шутила она. – Никто из прежних людей у нас не бывает. Все друзья-приятели до черного дня. Тяжело сейчас всем, не до нас!

На третий день, перед отъездом, Сергей сказал мне, а скорее самому себе:

– Толя говорил, что я ничего не напишу здесь, а я написал стихотворение.

В этот приезд Сергей написал стихотворение «Я последний поэт деревни…».

После обеда я пошла с отцом провожать Сергея на пароход. Шли подгорьем, вдоль берега Оки. Прыгая через лужи, мы смеялись. День прояснился, и на душе стало светло…

Вскоре после отъезда Сергея и я распрощалась с Константиновым. Сергей взял меня к себе в Москву учиться.

1957–1965

А. А. Есенина
«Это все мне родное и близкое»

Я родилась в 1911 году. Мое появление на свет было не особенно обременительным, так как из всех моих старших братьев и сестер осталось в живых только двое – пятнадцатилетний Сергей и пятилетняя Катя.

Из своего детства я помню лишь отдельные эпизоды, примерно лет с четырех.

Я рано научилась петь и пела все, что пела наша мать, а песни ее были самые разнообразные. Очень ясно запомнился мне приезд Сергея в 1915 году. С ним был один из его товарищей, имя которого казалось мне необыкновенным, – Леонид. Я никак не могла решиться выговорить его и обращалась к Леониду: «Эй, ты». Мать делала мне замечания, смеялся Сергей, улыбался Леонид.

В этот приезд свой Сергей привез мне огромный разноцветный мяч в сетке.

Когда я появилась с ним на улице, вся соседская детвора окружила меня и стала просить поиграть. Но где там поиграть! Я сама-то не решалась вынуть его из сетки.

Вышли из дому Сергей и Леонид. Брат, улыбаясь, говорит: «Давай поиграем». Я отдаю ему мяч и с ужасом смотрю, как он забросил его высоко-высоко. Мяч становится маленьким и каким-то темным, летит все выше, и я боюсь, что он не вернется.

Помню приезд Сергея в мае – июне 1917 года. Была тихая, теплая, лунная ночь.

Дома на селе, освещенные полной луной, казались какими-то обновленными, а на белой церковной колокольне четко отпечатались густые узорные тени от ветвей берез. Все спали. Не было видно ни одного освещенного окна, а мы еще сидели за самоваром.

Напившись чая, Сергей вышел погулять и остановился у раскрытого окна. Он был в белой рубашке и серых брюках. С одной стороны его освещала керосиновая лампа, стоявшая на подоконнике, а с другой стороны – луна. В барском саду громко пел соловей. В ночной тишине казалось, он совсем рядом. Захваченный чудесной песней, Сергей стал ему подсвистывать.

Эта картина мне хорошо запомнилась.

До 1921 года Сергей приезжал домой каждое лето, но воспоминания о нем у меня слились воедино. Помню, как к его приезду (если он предупреждал) в доме у нас все чистилось и

мылось. Брат был самым дорогим гостем. В нашей тихой, однообразной жизни с его приездом сразу все менялось. Даже сам приезд его был необычным, и не только для нас, а для всех односельчан. Сергей любил подъехать к дому не на едва семенящей лошадке, как приезжали обычно другие, а на лихом извозчике, как тогда говорили, на «лихаче», а то и на паре. Приезжал Сергей, и в доме сразу нарушался обычный порядок: на полу – раскрытые чемоданы, на окнах – книги. Даже воздух в избе становился другим.

На следующий день происходило переселение. «Зал» (большая передняя комната) отводился Сергею для работы, а в амбаре он спал. На его столе, за которым он работал, лежали книги, бумага, карандаши (Сергей редко писал чернилами), стояла настольная лампа с зеленоватым абажуром, пепельница, появлялись букеты цветов.

Остались в моей памяти некоторые песни, которые он, устав сидеть за столом во время работы, напевал, расхаживая по комнате, заложив руки в карманы брюк или скрестив их на груди. Он пел «Дремлют плакучие ивы», «Выхожу один я на дорогу», «Горные вершины», «Вечерний звон».

Помню, как ходил Сергей: легкой, слегка покачивающейся походкой, немного наклонив свою кудрявую голову. Красивый, скромный, тихий, но вместе с тем очень жизнерадостный человек, он одним своим присутствием вносил в дом праздничное настроение.

К отцу и матери он относился всегда с большим уважением. Мать звал коротко – «ма», отца же называл папашей. И мне было как-то странно слышать от Сергея это «папаша», потому что так называли отцов деревенские жители, и даже мы с Катей звали отца папой.

10 мая 1922 года Сергей уехал за границу, а в августе этого же года сгорел наш дом.

Часты и страшны были пожары в наших местах. Усадебные участки очень малы, дома тесно прижимались друг к другу; кое-где можно было увидеть два дома под одной крышей. Крыши преимущественно соломенные, поэтому пожары уничтожали иной раз по нескольку десятков домов сразу.

В сухую погоду крестьяне всегда торопятся с уборкой хлеба, и почти все трудоспособное население работает в поле. В такие дни на селе становится тихо и безлюдно.

И вот 3 августа 1922 года в жаркий солнечный день произошел один из самых больших и страшных пожаров, которые мне приходилось видеть.

Нерадивый хозяин, сгружая в ригу снопы, обронил искру от

самосада. В течение нескольких минут его рига превратилась в гигантский костер. День был ветреный, и огонь распространялся с такой быстротой, что многие, прибежав с поля, застали свои дома уже догорающими.

А на следующее утро, с красными глазами от слез и едкого дыма, который курился еще над обуглившимися бревнами, бродили по пожарищам измученные и похудевшие за одну ночь погорельцы.

В это утро по своему пожарищу бродили и мы. Вместо нашего дома остался лишь битый кирпич, кучи золы и груды прогоревшего до дыр, исковерканного и ни на что не пригодного железа.

Мы стаскивали в одну кучу вынесенные из дому наполовину обгоревшие вещи, среди которых были книги и рукописи Сергея (часть их находится сейчас в Институте мировой литературы).

В доме, который сгорел, были проведены самые благополучные и спокойные годы жизни нашей семьи.

Вспоминая нашу прошлую жизнь, мы всегда представляем ее себе именно в этом доме.

Этот дом очень любил наш отец. Выстроенный на деньги, заработанные тяжелым трудом, дом был его единственной собственностью, куда он, прожив всю жизнь в людях, старался вложить каждую копейку.

Более тридцати лет, с тринадцатилетнего возраста до самой революции, отец проработал мясником у купца. Тяжел труд мясника. Нужно обладать большой физической силой, чтобы поднимать мясные туши и целыми днями махать десятифунтовой тупицей, разрубая эти туши на куски.

Во время революции лавка купца Крылова, в которой много лет работал наш отец, перешла в государственную собственность, и отец остался в ней работать продавцом. Но наступила гражданская война. Начался голод, мяса не стало, и лавку закрыли. В городе отцу больше нечего было делать, и он возвратился домой, в деревню.

С молодых лет отец страдал астмой. Домой он вернулся совсем больным человеком.

Нелегко ему было и в деревне. Прожив всю жизнь в городе, приезжая домой только в отпуск, он не знал крестьянской работы, а привыкать к ней в его возрасте было уже нелегко.

Отец наш был худощавый, среднего роста. Светлые волосы и небольшая рыжеватая борода были аккуратно подстрижены и причесаны. В голубых выразительных глазах отца всегда можно было прочитать его настроение. Он не был ласков, редко уделял нам внимание, разговаривал с нами, как со взрослыми, и не

допускал никаких непослушаний. Но зато когда у отца было хорошее настроение и он улыбался, то глаза его становились какими-то теплыми и в их уголках собирались лучеобразные морщинки. Улыбка отца была заражающей. Посмотришь на него – и невольно становится весело и тебе.

Иногда отец пел. Он обладал хорошим слухом, и мальчиком лет двенадцати пел дискантом в церковном хоре на клиросе. Теперь у отца был слабый, но очень приятный тенор. Больше всего я любила слушать, когда он пел песню «Паша, ангел непорочный, не ропщи на жребий свой…»

Слова из этой песни у Сергея вошли в «Поэму о 36». В песне поется:

Может статься и случиться,
Что достану я киркой,
Дочь носить будет сережки,
На ручке перстень золотой…

У Сергея эти слова вылились в следующие строки:

Может случиться
С тобой
То, что достанешь
Киркой,
Дочь твоя там,
Вдалеке,
Будет на левой
Руке
Перстень носить
Золотой.

В 1922–1923 годах Сергей был за границей. Без его денежной помощи родители наши построить новый дом не могли. Лишение отцовского заработка, его болезнь и неприспособленность к крестьянской жизни, голод 1920–1921 годов и, наконец, пожар привели наше хозяйство к сильному упадку. А Сергей из-за рубежа не мог помочь нам. В письме к Кате он писал: «Во-первых, Шура пусть этот год будет дома, а ты поезжай учиться. Я тебе буду высылать пайки, ибо денег присылать очень трудно…» И в конце письма: «Отцу и матери тысячи приветов и добрых пожеланий, им я буду высылать тоже посылки…»

Отец с матерью, получив страховку за сгоревший дом, купили старую маленькую шестиаршинную избушку и поставили ее в

огороде, с тем чтобы до постройки нового дома иметь хоть какой-нибудь, но свой угол. В этой избушке мы прожили до конца 1924 года, так как строиться начали только после приезда Сергея из-за границы.

Все здесь было бедно и убого. Почти половину избы занимала русская печь. Небольшой стол для обеда, три стула, оставшиеся после пожара, и кровать. Но стоило распахнуть маленькое оконце – и перед глазами вставала чудесная картина: кругом яблоневые и вишневые сады.

Своего яблоневого сада у нас не было. В 1921 году отец купил и посадил несколько молодых яблонек, но во время пожара они все погибли, за исключением одной, которая стояла теперь перед окнами домика. У соседей были прекрасные многолетние сады с раскидистыми яблонями, свешивающими свои ветви в наш огород. У нас же по всему участку росли ползучие вишни, которые доставляли много хлопот нашим родителям, так как им нужна была земля под картошку. Нам, детям, много огорчений приносила вырубка сада и вспахивание его сохой или плугом. В стихотворении «Письмо к сестре» Сергей описывает эти переживания:

Ах, эти вишни!
Ты их не забыла?
И сколько было у отца хлопот,
Чтоб наша тощая
И рыжая кобыла
Выдергивала плугом корнеплод.

Несколько лет в этом маленьком домике мы жили втроем: отец, мать и я. Катя жила и училась в Москве. Жизнь у нас шла тихо и однообразно, особенно зимой. Рано ложились спать, рано вставали и принимались за те же дела, что и в предыдущие дни: топили печь, ухаживали за скотом, убирали дом, носили воду. Из-за того, что мы жили на огороде, редко кто из соседей заходил к нам, еще реже мои родители ходили к кому-нибудь из них.

Наша мать была неграмотная и всю жизнь об этом жалела. Уже в пожилом возрасте она пыталась ходить в ликбез, но усталые руки плохо слушались, и, несмотря на большое желание, научилась она только расписываться и едва читать по складам.

Когда мы учились, она следила за тем, чтобы мы делали уроки, но, если мы читали художественную литературу, она ворчала: «Опять пустоту листаешь! Читала бы нужную книжку, а то ерундой занимаешься». И сама же бессознательно прививала нам любовь к литературе. С младенческих лет мы слышали от нее

прекрасные сказки, которые она рассказывала нам артистически, а подрастая, узнавали, что песни, которые она пела, зачастую были переложенные на музыку стихи Пушкина, Лермонтова, Никитина и других поэтов.

В мае 1924 года Сергей вновь приехал в Константиново.

Теплый воскресный день уже подходил к концу. Группой в несколько человек мы спускались с горы к перевозу, к коровам.

На полдороге к реке нас догнали соседки, и одна из них, обращаясь ко мне, сказала:

– Шура, ваш Сергей приехал. На паре!

Вбежав в дом, я застала радостную суматоху. Мать уже хлопотала у самовара. Так всегда: едва поздоровавшись с приехавшими, она торопится ставить самовар.

Сергей и Катя приехали не одни. Вместе с ними был мужчина лет тридцати пяти, полный, круглолицый, с маленькими смеющимися глазами – Александр Михайлович Сахаров. Кто он, я узнаю позже, а сейчас мне не до него. Я так рада приезду Сергея и Кати, что вижу только их и бросаюсь им на шею.

– А ну-ка, покажись, покажись! Ух, какая ты стала! – восклицает Сергей и, немного отступив, улыбаясь, начинает меня рассматривать и удивляться.

– Вот видишь, какая вымахала, – говорит Катя.

По-видимому, у них был какой-то свой разговор обо мне.

На мое счастье, меня выручает мать, поручая принести из сеней углей для самовара, достать чистое полотенце.

Катя тоже занята делами. Она распаковывает чемоданы, накрывает на стол.

Пока закипает самовар, мужчины сидят, курят, делятся новостями. Новостей много, есть что рассказать и о чем расспросить друг друга. Отца интересует жизнь в Москве, за границей, Сергея – жизнь односельчан.

Со времени его последнего приезда сильно изменился облик села, и особенно изменилась жизнь в нашей семье.

Никогда еще не жили мы так бедно, как теперь, после голода и пожара, и отец с матерью как-то неловко чувствуют себя перед незнакомым приехавшим гостем.

Мать мучает вопрос: где же уложить спать гостя? Но Сергей счастлив, что снова дома, среди родных, и его не смущают ни эта бедность, ни теснота. Лишь позже с большой болью он пишет в стихотворении «Возвращение на родину»:

Как много изменилось там,
В их бедном, неприглядном быте.

Какое множество открытий
За мною следовало по пятам.

Отцовский дом
Не мог я распознать…

В разговорах за чаем не заметили, как прошел вечер. И задача матери решилась легко: мужчины решили спать в риге на сене.

Забрав все овчинные шубы и ватные поддевки, Сахаров, Сергей и отец ушли на ночлег. И, читая строки из поэмы «Анна Снегина», я вспоминаю наши вишневые заросли, маленькую избушку и тот теплый, тихий майский вечер, в который мы были так счастливы.

В этот свой приезд Сергей прожил дома всего лишь несколько дней. Вместе с Сахаровым он уехал в Москву, а оттуда в Ленинград. Июнь и июль Сергей жил в Ленинграде, а в начале августа он снова приехал в Константиново.

Теперь Сергей спал в амбаре. Ему нужно было работать, а в риге нельзя было курить, опасно зажигать лампу. Работал Сергей очень много. Я помню, как часами, почти не разгибаясь, сидел он за столом у раскрытого окна нашей маленькой хибарки. Условия для работы были очень плохие. По существу, их не было совсем. Мы старались не мешать Сергею, но так как дом наш был слишком мал, а амбар служил кладовой, где хранили и платье, и продукты, то поневоле нам приходилось его беспокоить.

Несмотря на трудности, он упорно работал над «Поэмой о 36».

Здесь же им были написаны стихотворения «Отговорила роща золотая», «Возвращение на родину».

Работа, работа, работа… Лишь изредка Сергей устраивает себе отдых, ходит ловить рыбу на Оку. Для этой цели он привез с собой много удочек, поразивших меня своим видом и колокольчиками, привязанными к тонкому кончику каждой из удочек. При малейшем прикосновении колокольчики издавали нежный, серебряный звон.

Как-то я попросила взять меня на рыбалку.

– А ты что, тоже хочешь рыбу ловить? – удивленно спросил он и засмеялся. – Ну что ж, пойдем.

От правил заправских рыбаков мы отступали. Мы не вставали на заре и не ждали вечернего клева. Вечерами Сергей чаще всего работал, очень поздно ложился спать и поэтому поздно вставал. Уходили мы из дому часов в девять-десять, добирались до места и начинали рыбачить уже почти в полдень. Не могли мы

похвастаться и хорошим уловом.

Часто в свободные вечера мы втроем выбирались со своего огорода, шли на село, за церковь, на гору. Хорошо на горе тихим лунным вечером! На западе частыми зарницами освещается темное ночное небо, внизу серебрится река, а за покрытыми туманом лугами чернеет вдали лес.

Особенно мы любили смотреть вечером на проходящие пассажирские пароходы. На темной свинцовой поверхности воды пароходные огни отражаются, как в зеркале. Пароход, идущий вдали, то скрывается за кустами, растущими на берегах, то за поворотом Оки или за горами, то вновь появляется, и мерный стук его колес становится все слышнее и слышнее. Перед Кузьминским шлюзом, пройдя наш перевоз, пароход подает свисток, звук которого как-то торжественно разносится по лугам, по широкой реке, по береговым ущельям и где-то вдали замирает.

Глядя на уходящий пароход, испытываешь такое же манящее чувство, как при виде улетающего вдаль косяка журавлей.

Когда пароход войдет в шлюз и огни его сольются с мигающими огнями шлюза, мы уходим на село.

После долгого трудового дня спокойно спит село. Лишь неугомонная молодежь, собравшись около гармониста, где-то в другом конце села поет «страдания», да ночной сторож лениво стучит колотушкой.

Недолго ходим мы по селу молча или разговаривая. Привыкшим жить и работать с песней трудно не петь в такой вечер, и обычно Сергей или Катя начинают тихонько, себе под нос, напевать какую-либо мелодию. А уже если запоет один, то как же умолчать другому! Каждый из нас знает, что́ поет другой, и невольно начинает подпевать.

Поем мы, как говорят у нас в деревне, складно.

Ближе к полночи расходимся спать, но Сергей еще долго читает. А утром снова каждый за своими делами.

Иногда, оторвавшись от работы, Сергей обсуждал с родителями дальнейшую их жизнь. Выяснял, что им нужно, что требуется от него. Необходимо было решить, что же делать со мной, так как я дважды закончила от нечего делать четвертый класс и год уже не училась.

Однажды ему пришла в голову мысль отдать меня в балетную школу Дункан, вероятно, потому, что там был интернат. Он долго вертел меня из стороны в сторону, рассматривая мои ноги.

Мать не возражала. Ей было трудно разобраться, хорошо это или плохо, так как сам Сергей пошел не по тому пути, который ему указывали, а по другому, не знакомому ей.

В октябрьское утро 1924 года отец привез меня в Москву учиться.

Осенью 1924 года Сергей жил на Кавказе, а Катя временно поселилась у Гали Бениславской в Брюсовском переулке, так как комната в Замоскворечье, которую она снимала у бывших сослуживцев нашего отца, была занята. В этой комнате мы с Катей поселились лишь осенью 1925 года.

Два больших восьмиэтажных корпуса А и Б, носящие название «„дома“ Правды», стояли во дворе дома за номером 2/14.

Квартира, в которой жила Галя, находилась на седьмом этаже. Из широкого венецианского окна Галиной комнаты в солнечные дни вдалеке виднелись Нескучный сад, лесная полоса Воробьевых гор, синевой отливала лента Москвы-реки и золотились купола Новодевичьего монастыря.

Соседи у Гали были все молодые и всем интересующиеся. Очень любили здесь стихи и декламировали их, что называется, на ходу. Например, кто-то куда-то торопится, запаздывает и вдруг начинает читать строчки из полюбившейся всем тогда «Повести о рыжем Мотэле» Иосифа Уткина:

И куда они торопятся,
Эти странные часы.
Ой, как
Сердце в них колотится.
Ой, как косы их усы…

Или, рассказывая о каких-либо неудачах, добавляли строчки из той же поэмы:

Так что же.
Прикажете плакать?
Нет, так нет…

Но больше и чаще всего звучали в нашей квартире стихи Сергея. В это время он то и дело присылал нам с Кавказа все новые и новые свои стихи. Ему в ту пору на Кавказе работалось, по его словам, как никогда хорошо.

25 декабря 1924 года Галя писала Сергею: «От Вас получили из Батуми 3 письма сразу. Стихотворение „Письмо к женщине“ – я с ума сошла от него. И до сих пор брежу им – до чего хорошо!..»

Галина Артуровна Бениславская, или просто Галя, как звали ее мы, была молодая, среднего роста, с густыми длинными

черными косами и черными густыми сросшимися бровями над большими зеленовато-серыми глазами.

Жили мы мирно, и каждый из нас занимался своими делами.

Вечерами Галя приносила иногда домой из редакции «Бедноты», где она работала, много писем, присланных читателями-крестьянами. Писем этих было так много, что они не умещались на нашем столе, и Галя располагалась с ними на полу, а я с удовольствием помогала ей читать их. Прочитав письмо, я коротко пересказывала Гале содержание его, и она синим или красным карандашом в верхнем углу ставила номер отдела, в который оно направлялось.

Зимой из Ленинграда к Гале приезжала в гости ее тетя, Нина Поликарповна, у которой Галя воспитывалась. Нина Поликарповна привезла в подарок Гале красивую деревянную коробку, старинную тюлевую штору и маленький пузатый самовар.

Все эти вещи нам очень пригодились.

Коробку сразу же приспособили под косметические принадлежности. А когда в конце февраля 1925 года Сергей приехал с Кавказа, пошел в ход и самовар. За этим самоваром Сергей сфотографирован с нашей матерью. Снимок был сделан у нас в Брюсовском переулке в марте 1925 года. Мать тогда приезжала навестить нас, и Сергей во время их мирного чаепития читал ей поэму «Анна Снегина».

Мать, как всегда, слушала чтение Сергея с затаенным дыханием, никогда не перебивая его, ни о чем не расспрашивая. Неграмотная, она отлично понимала и глубоко чувствовала стихи сына и многие из них запоминала при его чтении наизусть.

Гале очень нравилась эта семейная жизнь. Только теперь она поняла, что такое семья для Сергея, у которого очень сильно было чувство кровного родства. Его всегда тянуло к нам, к своей семье, к домашнему очагу, к теплу родного дома, к уюту.

Е. А. Есенина и А. А. Есенина

Сергея всегда тяготила семейная неустроенность, отсутствие своего угла, которого он, в сущности, так и не имел до конца

своей жизни…

Зато много было у Сергея рано свалившихся на него забот о нас, близких ему людях.

Отец, переехавший после революции жить в деревню, не мог прокормить себя и свою семью. К этому еще голод, затем пожар в 1922 году. Жилось нам трудно, и забота о нас легла на плечи Сергея.

Кроме того, с переездом в деревню отца Сергею пришлось взять на свое иждивение Катю, которая в это время училась в Москве, быть ее наставником. А ведь этому «наставнику» и самому-то было 23–25 лет! Но он исключительно добросовестно о ней заботился.

Сергей на Кавказе очень много работает, и в то же время он думает и беспокоится о нас. 12 декабря он пишет Гале: «…Я очень соскучился по Москве, но как подумаю о холоде, прихожу в ужас. А здесь тепло, светло, но нерадостно, потому что я не знаю, что со всеми вами. Напишите, как, где живет Шура. Как Екатерина и что слышно с домом…»

И так все время. Бесконечные заботы о нас с сестрой, о деньгах, которыми он должен был обеспечить всех близких. Почти в каждом письме к Гале давались указания, где можно и нужно получить для нас деньги, или высылались новые стихи, с тем чтобы их напечатать где-либо и получить за них для нас гонорар.

В том же 1924 году Сергей взял из деревни в Москву и нашего двоюродного брата Илью. Илье было лет 20, родители у него умерли, и в деревне жить ему было трудно. Теперь Илья учился в рыбном техникуме, жил в общежитии, но больше всего находился у нас, прижился в нашей семье, был привязан к Сергею и стал, в сущности, членом нашей семьи. В общежитие он уходил ночевать, да и то только потому, что у нас в Брюсовском уже некуда было положить лишнего человека – даже на полу.

Словом, все мы являлись для Сергея обузой немалой. Но он безропотно нес этот крест. И если, случалось, срывался, то в таких случаях, как правило, роль громоотвода выполняла Катя. Она была для него своим, близким человеком, занималась издательскими делами Сергея.

Характер у Сергея был неровный, вспыльчивый. Но, вспылив, он тотчас же отходил – сердиться долго не мог.

В нашем доме не терпели таких уменьшительно-ласкательных слов, как «милочка», «душенька», а слово «голубушка» чаще произносилось в минуты раздражения. Но вот подойдет Сергей и мимоходом, молча положит руку тебе на плечо или на шею, и от прикосновения этой руки становилось так

тепло, как не было нам тепло ни от какого ласкательного слова.

Сергей был всегда подтянутым, собранным, опрятным. Любил хорошо, со вкусом одеться. Любил чистоту и порядок в доме, на своем рабочем столе. Впрочем, если говорить в прямом смысле, то рабочего стола у него не было. В нашей маленькой комнате в Брюсовском переулке он писал стихи за ломберным или за обеденным столом.

Сергей был человеком общительным, любил людей, и около Сергея их всегда было много.

Редкий день проходил у нас без посторонних людей. В конце февраля 1925 года Сергей приехал в Москву с Кавказа всего лишь на один месяц, но за этот месяц у нас перебывало столько людей, сколько к другому не придет и за год.

В основном это были поэты и писатели, с которыми Сергей дружил в последние годы: Петр Орешин, Всеволод Иванов, Борис Пильняк, Василий Наседкин, Иван Касаткин, Владимир Кириллов и многие-многие другие писатели, издатели, художники, артисты.

Вокруг Сергея всегда царило оживление. И все окружающие его близкие ему люди невольно жили его интересами, а подчас и настроениями. Захотелось Сергею в театр – и все, кто был около него в эту минуту, охотно шли за ним.

По вечерам у нас часто читались стихи, шли жаркие споры о литературе. Пелись хором песни.

Почти все песни, которые мы пели, были грустные, протяжные. Очень любил Сергей песню «Прощай жизнь, радость моя…» и часто заставлял нас с сестрой петь ее. Была у него еще одна любимая песня – «Это дело было летнею порою».

Знатоки и любители русской народной песни находились и среди наших гостей. Среди них выделялся своим глуховатым тенором Василий Наседкин. Как сейчас, вижу его, подперевшего щеку рукою, полузакрывшего глаза. И, как сейчас, слышу негромкую, полную то тревожной, то светлой печали протяжную песню оренбургских казаков «Молодка, молодка, молоденькая…».

Сергей был очень подвижным человеком, был горазд на всевозможные выдумки, умел и любил шутить.

В одной квартире с нами жила молодая одинокая женщина-врач. Она часто проводила со мной целые вечера за раскрашиванием картинок. Рисовать мы с ней обе не умели и обычно сводили контуры с какой-нибудь картинки из книги, а потом раскрашивали красками. Раскрашивали же мы довольно неплохо.

Из нашей комнаты в ее вела дверь, завешенная огромным шелковым шарфом. С этим шарфом когда-то танцевала Дункан.

Как-то раз, придя из школы, я увидела, что к шарфу,

висевшему на двери, приколоты все мои рисунки и длинный лист бумаги с надписью синим карандашом: «Выставка А. Есениной», а ниже, на другом листе, красным карандашом извещалось: «Все продано».

Оказалось, что, пока я была в школе, Сергей нашел все мои рисунки и устроил эту выставку.

Надписи к этой «выставке» у меня сохранились.

Очень много Сергей читал. Он внимательно следил за всеми литературными новинками. На ломберном столике, на тумбочке у нас всегда лежали помимо книг последние номера журналов «Красная новь», «Красная нива», «Прожектор», альманах «Круг».

Иногда к нему приходили начинающие поэты, и он охотно и живо подолгу с ними разговаривал.

Были у нас и трудные дни. То случалось в пору, когда Сергей встречался со своими «друзьями». Катя и Галя всячески старались оградить Сергея от них и в дом их не пускали, но они разыскивали Сергея в издательствах, в редакциях, и, как правило, такие встречи оканчивались выпивками.

В середине июня 1925 года Сергей женился на Софье Андреевне Толстой-Сухотиной – внучке Льва Николаевича Толстого – и переехал к ней на квартиру в Померанцевом переулке.

С переездом Сергея к Софье Андреевне сразу же резко изменилась окружающая его обстановка. После квартиры в Брюсовском переулке здесь ему было неуютно и нерадостно.

И чуть ли не в первые дни женитьбы он пишет Вержбицкому: «С новой семьей вряд ли что получится, слишком все здесь заполнено „великим старцем“, его так много везде: и на столах, и в столах, и на стенах, кажется, даже на потолках, – что для живых людей места не остается. И это душит меня…» Сергей очень любил уют, «уют свой, домашний», где каждую вещь можно передвинуть и поставить, как тебе нужно, не любил завешанных портретами стен. В этой же квартире, казалось, вещи приросли к своим местам и давили своей многочисленностью.

В первой половине июля 1925 года Сергей уехал в деревню, или, как мы говорили, домой[5]. Дома он прожил около недели. В это время шел сенокос, стояла тихая, сухая погода, и Сергей почти ежедневно уходил из дому то на сенокос к отцу, где помогал ему косить, то уезжал с рыбацкой артелью километров за пятнадцать от нашего села ловить рыбу. Эта поездка с рыбаками и послужила поводом к написанию стихотворения «Каждый труд благослови, удача», которое было написано там же, в деревне, в нашем амбаре, приютившемся в вишневом саду.

Находясь в этот последний свой приезд в деревне, Сергей написал и стихотворение «Видно, так заведено навеки…», относящееся к событиям, связанным с его жизнью с С. А. Толстой.

Кольцо, о котором говорится в стихотворении, действительно Сергею на счастье вынул попугай незадолго до его женитьбы на Софье Андреевне. Шутя Сергей подарил это кольцо ей. Это было простое медное кольцо очень большого размера.

В конце июля Сергей и Соня уехали на Кавказ и вернулись в начале сентября.

Но не таким вернулся Сергей с Кавказа, каким он приехал оттуда весной. Тогда он был бодрым, помолодевшим, отдохнувшим, несмотря на то что много работал. Трудно перечесть все, что им было написано за несколько месяцев пребывания на Кавказе. Но работа не утомила его, а, наоборот, прибавила ему энергии, окрылила его. Теперь же он вернулся таким же, каким и уехал: усталым, нервным, крайне раздраженным.

В квартире стояла какая-то настороженная тишина. Вечера мы проводили одни, без посторонних людей: Сергей, Соня, Катя, я и Илья. Иногда к нам заходил Василий Федорович Наседкин. В то время он ухаживал за Катей. Его любил Сергей, и Наседкин был у нас своим человеком. Даже 18 сентября, в день регистрации брака Сергея и Сони, у нас не было никого посторонних. Были все те же Илья и Василий Федорович.

Осенью 1925 года Сергей очень много работал. Он уставал и нервничал. Отношения с Соней у него в это время не ладились. И он был рад, когда мы, сестры, приходили к нему. С Катей он мог посоветоваться, поделиться своими радостями и горестями, а ко мне он относился как к ребенку, ласково и нежно.

В один из сентябрьских дней Сергей предложил Соне и мне покататься на извозчике. День был теплый, тихий.

Лишь только мы отъехали от дома, как мое внимание привлекли кошки. Уж очень много их попадалось на глаза. Столько кошек мне как-то не приходилось встречать раньше, и я сказала об этом Сергею. Сначала он только улыбнулся и продолжал спокойно сидеть, погруженный в какие-то размышления, но потом вдруг громко рассмеялся. Мое открытие показалось ему забавным, и он тотчас же превратил его в игру, предложив считать всех кошек, попадавшихся нам на пути.

Путь от Остоженки до Театральной площади довольно длинный, особенно когда едешь на извозчике. И мы принялись считать. Это занятие нас всех развеселило, а Сергей увлекся им, пожалуй, больше, чем я. Завидев кошку, он вскакивал с сиденья и, указывая рукой на нее, восклицал: «Вон, вон еще одна!»

Мы так беззаботно и весело хохотали, что даже угрюмый извозчик добродушно улыбался.

Когда мы доехали до Театральной площади, Сергей предложил зайти пообедать. И вот я первый раз в ресторане. Швейцары, ковры, зеркала, сверкающие люстры – все это поразило и ошеломило меня. Я увидела себя в огромном зеркале и оторопела: показалась такой маленькой, неуклюжей, одета по-деревенски и покрыта красивым, но деревенским платком. Но со мной Соня и Сергей. Они ведут себя просто и свободно. И, уцепившись за них, я шагаю к столику у колонны. Сидя за столом и видя мое смущение, Сергей все время улыбался, и, чтобы окончательно смутить меня, проговорил: «Смотри, какая ты красивая, как все на тебя смотрят…»

Я огляделась по сторонам и убедилась, что он прав. Все смотрели на наш столик. Тогда я не поняла, что смотрели-то на него, а не на меня, и так смутилась, что уж и не помню, как мы вышли из ресторана.

А на следующий день Сергей написал и посвятил мне стихи: «Ах, как много на свете кошек, нам с тобой их не счесть никогда…» и «Я красивых таких не видел…».

Однажды Сергей встретил меня с довольной улыбкой и сразу же потащил в коридор к вешалке.

– Пойди посмотри, какое я пальто купил, – говорил он, натягивая пальто на себя.

Я осмотрела Сергея со всех сторон, и пальто мне не понравилось. Я привыкла видеть брата в пальто свободного покроя, а это было двубортное, с хлястиком на спине. Пальто такого фасона только входили в моду, но именно фасон-то мне и не нравился.

– Ну и пальто! Ты же в нем похож на милиционера, – не задумываясь, высказала я свое удивление.

– Вот дурная! Ты же ничего не понимаешь, – с досадой ответил он.

Разочарованный, Сергей вернулся в комнату и о пальто не сказал больше ни слова.

С этим пальто у меня связано еще одно воспоминание. Это было уже в октябре. Все чаще и чаще шли дожди. В такую пору я однажды явилась к Сергею в сандалиях. У него были Сахаров и Наседкин. Я почувствовала себя неудобно и тихонько уселась на диване, стараясь убрать под него ноги.

Но мое необычное поведение не ускользнуло от внимания Сергея, и он, приглядываясь ко мне, понял, почему я притихла.

– Подожди, подожди. Почему ты ходишь в сандалиях? Ведь уже холодно!

Пришлось сознаться, что ботинки, которые мне купили весной, стали малы.

– Так чего ж ты молчала? Надо купить другие.

И, словно обрадовавшись появившейся причине выбраться из дому, он предложил пойти всем вместе и купить мне ботинки.

Возражений не было, мы отправились в магазин «Скороход» в Столешниковом переулке. Из магазина я вышла уже в новых «румынках» на среднем каблуке. Довольная такой обновкой, я шла не чуя под собой ног.

Настроение было у всех хорошее, никому не хотелось возвращаться сразу домой, и мы решили немножко погулять. Спускаясь вниз по Столешникову переулку, все подшучивали надо мной, расхваливая мои ботинки. Катя с Сахаровым разыгрывали влюбленных. Так с шутками и смехом мы дошли до фотографии Сахарова и Орлова, и тут кто-то предложил зайти сфотографироваться. В таком настроении мы и засняты. Сахаров обнимает Катю, а мы с Сергеем играем в «сороку».

На одном из снимков Сергей в шляпе и в том пальто, о котором шла речь выше. Эти снимки оказались последними в жизни Сергея.

В 1925 году мне было четырнадцать лет, но в семье меня все считали еще ребенком. Такое отношение ко мне было и у Сергея. Я помню, как, написав поэму «Черный человек» и передавая рукопись Кате, он сказал ей: «Шуре читать эту вещь не нужно».

Оберегая меня, мне многого не говорили, скрывая от меня разные неприятности, и я многого не знала. Не знала я и того, что между Сергеем и Соней идет разлад. Когда я приходила к ним, в доме было тихо и спокойно, только скучно. Видела, что Сергей чаще стал уходить из дому, возвращался нетрезвым и придирался к Соне. Но я не могла понять, почему он к ней придирается, так как обычно в таком состоянии Сергей придирался к людям, которые его раздражали, и для меня было большой неожиданностью, когда, после долгих уговоров сестры, Сергей согласился лечь в клинику лечиться, но запретил Соне приходить к нему.

26 ноября Сергей лег в клинику для нервнобольных, помещавшуюся на Б. Пироговской улице, в Божениновском переулке. Ему отвели отдельную хорошую светлую комнату на втором этаже, перед окном которой стояли в зимнем уборе большие деревья. Ему разрешили ходить в своей пижаме, получать из дома обеды. Иногда обеды ему носила Катя, но в основном это была моя обязанность.

В клинике с первых же дней Сергей начал работать. Без работы, без стихов он не мог жить.

В один из воскресных дней зашли навестить Сергея Анатолий Мариенгоф и его жена Никритина, артистка Камерного театра. Я впервые видела их, так как долгое время Сергей с Мариенгофом были в ссоре и лишь незадолго до того они помирились. Сергей не ждал их прихода и был смущен и немного нервничал. Разговор у них как-то не вязался, и Сергей вдруг стал жаловаться на больничные порядки, говорил, что он хочет работать, а в такой обстановке работать очень трудно.

Условия в клинике действительно были для него тяжелы. Здесь всю ночь не гасили свет в комнатах и двери палат всегда были распахнуты настежь. Особенно тяжелы для Сергея были дни посещений, так как его комната была рядом с входной дверью в отделение и все навещающие больных проходили мимо его комнаты и заглядывали к нему.

Лечение в клинике было рассчитано на два месяца, но уже через две недели Сергей сам себе наметил, что не пробудет здесь более месяца. Здесь же он принял решение не возвращаться к Толстой и уехать из Москвы в Ленинград.

7 декабря он послал телеграмму ленинградскому поэту В. Эрлиху: «Немедленно найди две-три комнаты. 20 числах переезжаю жить Ленинград. Телеграфируй. Есенин».

По его планам, в эти две-три комнаты вместе с ним должны были переехать и мы с Катей.

19 декабря Катя и Наседкин зарегистрировали свой брак в загсе и сразу же сообщили об этом Сергею. Сергей был обрадован такой вестью. Он был привязан к Василию Федоровичу и сам всегда советовал сестре выйти за него замуж.

И тогда же ими всеми вместе было принято решение, что и Наседкин поедет в Ленинград и будет жить вместе с нами. Там же, в Ленинграде, было решено отпраздновать их свадьбу.

Под предлогом каких-то дел 21 декабря Сергей ушел из клиники. Случаи, когда по делам Сергея выпускали из клиники, были и раньше, но он в тот же день возвращался обратно. На этот раз он не вернулся. Не пришел он и домой. Дома было тревожно, ждали его каждую минуту.

Два дня Сергей ходил по редакциям и издательствам по делам и проститься с друзьями. Вечерами же был в клубе дома Герцена.

23 декабря под вечер мы сидели втроем у Сони: она, Наседкин и я. Часов в 7 вечера пришел Сергей с Ильей. Он был злой. Ни с кем не здороваясь и не раздеваясь, он сразу же прошел в другую комнату, где были его вещи, и стал торопливо все складывать. Уложенные вещи Илья с помощью извозчиков вынес из квартиры. Сказав всем сквозь зубы «до свиданья», вышел из

квартиры и Сергей, захлопнув за собой дверь.

Мы с Соней сразу же выбежали на балкон. Был тихий, теплый вечер. Большими хлопьями, лениво кружась, падал пушистый снежок. Сквозь него было видно, как у парадного подъезда Илья и два извозчика устанавливали на санки чемоданы. Снизу отчетливо доносились голоса отъезжающих.

Я видела, как уселся Сергей на вторые санки. И вдруг у меня к горлу подступили спазмы. Не знаю, как теперь мне объяснить тогдашнее мое состояние, но я почему-то вдруг крикнула:

– Прощай, Сергей!

Подняв голову, он вдруг улыбнулся мне своей светлой, милой улыбкой и помахал рукой.

Пушистый снежок тихо падал и падал, запорашивая шапку и меховой воротник распахнутой шубы Сергея.

Таким я видела Сергея в последний раз.

1965

А. Р. Изряднова
Воспоминания

Познакомилась я с С. А.Есениным в 1913 году, когда он поступил на службу в типографию товарищества И. Д. Сытина в качестве подчитчика (помощника корректора). Он только что приехал из деревни, но по внешнему виду на деревенского парня похож не был. На нем был коричневый костюм, высокий накрахмаленный воротник и зеленый галстук. С золотыми кудрями он был кукольно красив, окружающие по первому впечатлению окрестили его вербочным херувимом. Был очень заносчив, самолюбив, его невзлюбили за это. Настроение было у него угнетенное: он поэт, а никто не хочет этого понять, редакции не принимают в печать. Отец журит, что занимается не делом, надо работать, а он стишки пишет. Был у него друг, Гриша Панфилов (умер в 1914 году), писал ему хорошие письма, ободрял его, просил не бросать писать.

Ко мне он очень привязался, читал стихи. Требователен был ужасно, не велел даже с женщинами разговаривать – они нехорошие. Посещали мы с ним университет Шанявского. Все свободное время читал, жалованье тратил на книги, журналы, нисколько не думая, как жить.

Первые стихи его напечатаны в журнале для юношества «Мирок» за 1913–1914 годы[6].

В типографии Сытина работал до середины мая 1914 года. «Москва неприветливая – поедем в Крым». В июне он едет в Ялту, недели через две должна была ехать и я, но так и не смогла поехать. Ему не на что было там жить. Шлет мне одно другого грознее письма; что делать, я не знала. Пошла к его отцу просить, чтобы выручил его, отец не замедлил послать ему денег, и Есенин через несколько дней в Москве. Опять безденежье, без работы, живет у товарищей.

В сентябре поступает в типографию Чернышева-Кобелькова, уже корректором. Живем вместе около Серпуховской заставы, он стал спокойнее. Работа отнимает очень много времени: с восьми утра до семи часов вечера, некогда стихи писать. В декабре он бросает работу и отдается весь стихам, пишет целыми днями. В январе печатаются его стихи в газете «Новь», журналах «Парус», «Заря» и других.

В конце декабря у меня родился сын. Есенину пришлось много канителиться со мной (жили мы только вдвоем). Нужно было меня отправить в больницу, заботиться о квартире. Когда я

вернулась домой, у него был образцовый порядок: везде вымыто, печи истоплены и даже обед готов и куплено пирожное: ждал. На ребенка смотрел с любопытством, все твердил: «Вот я и отец». Потом скоро привык, полюбил его, качал, убаюкивая, пел над ним песни. Заставлял меня, укачивая, петь: «Ты пой ему больше песен». В марте поехал в Петроград искать счастья. В мае этого же года приехал в Москву, уже другой. Был все такой же любящий, внимательный, но не тот, что уехал. Немного побыл в Москве, уехал в деревню, писал хорошие письма. Осенью опять заехал: «Еду в Петроград». Звал с собой… Тут же говорил: «Я скоро вернусь, не буду жить там долго».

В январе 1916 года приехал с Клюевым. Сшили они себе боярские костюмы – бархатные длинные кафтаны; у Сергея была шелковая голубая рубаха и желтые сапоги на высоком каблуке, как он говорил: «Под пятой, пятой хоть яйцо кати». Читали они стихи в лазарете имени Елизаветы Федоровны, Марфо-Марьинской обители и в «Эстетике». В «Эстетике» на них смотрели как на диковинку…

В сентябре 1925 года пришел с большим белым свертком в 8 часов утра, не здороваясь, обращается с вопросом:

– У тебя есть печь?

– Печь, что ли, что хочешь?

– Нет, мне надо сжечь.

Стала уговаривать его, чтобы не жег, жалеть будет после, потому что и раньше бывали такие случаи: придет, порвет свои карточки, рукописи, а потом ругает меня – зачем давала. В этот раз никакие уговоры не действовали, волнуется, говорит: «Неужели даже ты не сделаешь для меня то, что я хочу?»

Повела его в кухню, затопила плиту. И вот он в своем сером костюме, в шляпе стоит около плиты с кочергой в руке и тщательно смотрит, как бы чего не осталось несожженным. Когда все сжег, успокоился, стал чай пить и мирно разговаривать. На мой вопрос, почему рано пришел, говорит, что встал давно, уже много работал.

…Видела его незадолго до смерти. Сказал, что пришел проститься. На мой вопрос: «Что? Почему?» – говорит: «Смываюсь, уезжаю, чувствую себя плохо, наверное, умру». Просил не баловать, беречь сына.

<1926>

Т. С. Есенина
Зинаида Николаевна Райх

Имя Зинаиды Николаевны Райх редко упоминается рядом с именем Сергея Есенина. В годы революции личная жизнь поэта не оставляла прямых следов в его творчестве и не привлекала к себе пристального внимания.

Актриса Зинаида Райх хорошо известна тем, кто связан с историей советского театра, ее сценический путь прослеживается месяц за месяцем. Но до 1924 года такой актрисы не существовало (свою первую роль она сыграла в возрасте 30 лет). Образ молодой Зинаиды Николаевны Есениной, жены поэта, трудно восстановить документально. Ее небольшой личный архив пропал в годы войны. До того возраста, когда охотно делятся воспоминаниями, Зинаида Николаевна не дожила. Я не много знаю из рассказов матери.

Мать была южанкой, но к моменту встречи с Есениным уже несколько лет жила в Петербурге, сама зарабатывала на жизнь, посещала Высшие женские курсы. Вопрос «кем быть?» не был еще решен. Как девушка из рабочей семьи, она была собранна, чужда богеме и стремилась прежде всего к самостоятельности.

Дочь активного участника рабочего движения, она подумывала об общественной деятельности, среди ее подруг были побывавшие в тюрьме и ссылке. Но в ней было и что-то мятущееся, был дар потрясаться явлениями искусства и поэзии. Какое-то время она брала уроки скульптуры. Читала бездну. Одним из любимых ее писателей был тогда Гамсун, что-то было близкое ей в странном чередовании сдержанности и порывов, свойственном его героям.

Она и всю жизнь потом, несмотря на занятость, много и жадно читала, а перечитывая «Войну и мир», кому-нибудь повторяла: «Ну как же это он умел превращать будни в сплошной праздник?»

Весной 1917 года Зинаида Николаевна жила в Петрограде одна, без родителей, работала секретарем-машинисткой в редакции газеты «Дело народа». Есенин печатался здесь. Знакомство состоялось в тот день, когда поэт, кого-то не застав, от нечего делать разговорился с сотрудницей редакции.

А когда человек, которого он дожидался, наконец пришел и пригласил его, Сергей Александрович, со свойственной ему непосредственностью, отмахнулся:

– Ладно уж, я лучше здесь посижу…

Зинаиде Николаевне было 22 года. Она была смешлива и жизнерадостна.

Есть ее снимок, датированный 9 января 1917 года. Она была женственна, классически безупречной красоты, но в семье, где она росла, было не принято говорить об этом, напротив, ей внушали, что девушки, с которыми она дружила, «в десять раз красивее».

Со дня знакомства до дня венчания прошло примерно три месяца. Все это время отношения были сдержанными, будущие супруги оставались на «вы», встречались на людях. Случайные эпизоды, о которых вспоминала мать, ничего не говорили о сближении.

В июле 1917 года Есенин совершил поездку к Белому морю («Небо ли такое белое или солью выцвела вода?»), он был не один, его спутниками были двое приятелей (увы, не помню их имен[7]) и Зинаида Николаевна. Я никогда не встречала описаний этой поездки.

Уже на обратном пути, в поезде, Сергей Александрович сделал матери предложение, сказав громким шепотом:

– Я хочу на вас жениться.

Ответ: «Дайте мне подумать» – его немного рассердил. Решено было венчаться немедленно. Все четверо сошли в Вологде. Денег ни у кого уже не было. В ответ на телеграмму: «Вышли сто, венчаюсь» – их выслал из Орла, не требуя объяснений, отец Зинаиды Николаевны. Купили обручальные кольца, нарядили невесту. На букет, который жениху надлежало преподнести невесте, денег уже не было. Есенин нарвал букет полевых цветов по пути в церковь – на улицах всюду пробивалась трава, перед церковью была целая лужайка[8].

Вернувшись в Петроград, они некоторое время жили врозь, и это не получилось само собой, а было чем-то вроде дани благоразумию. Все-таки они стали мужем и женой, не успев опомниться и представить себе хотя бы на минуту, как сложится их совместная жизнь. Договорились поэтому друг другу «не мешать». Но все это длилось недолго, они вскоре поселились вместе, больше того, отец пожелал, чтобы Зинаида Николаевна оставила работу, пришел вместе с ней в редакцию и заявил:

– Больше она у вас работать не будет.

Мать всему подчинилась. Ей хотелось иметь семью, мужа, детей. Она была хозяйственна и энергична.

Душа Зинаиды Николаевны была открыта навстречу людям. Помню ее внимательные, все замечающие и все понимающие глаза, ее постоянную готовность сделать или сказать приятное, найти какие-то свои, особые слова для поощрения, а если они не

находились – улыбка, голос, все ее существо договаривали то, что она хотела выразить. Но в ней дремали вспыльчивость и резкая прямота, унаследованные от своего отца.

Первые ссоры были навеяны поэзией. Однажды они выбросили в темное окно обручальные кольца (Блок – «Я бросил в ночь заветное кольцо») и тут же помчались их искать (разумеется, мать рассказывала это с добавлением: «Какие же мы были дураки!»). Но по мере того как они все ближе узнавали друг друга, они испытывали порой настоящие потрясения. Возможно, слово «узнавали» не все исчерпывает – в каждом время раскручивало свою спираль. Можно вспомнить, что само время все обостряло.

С переездом в Москву кончились лучшие месяцы их жизни. Впрочем, вскоре они на некоторое время расстались. Есенин отправился в Константиново, Зинаида Николаевна ждала ребенка и уехала к своим родителям в Орел…

Я родилась в Орле, но вскоре мать уехала со мной в Москву, и до одного года я жила с обоими родителями. Потом между ними произошел разрыв, и Зинаида Николаевна снова уехала со мной к своим родным. Непосредственной причиной, видимо, было сближение Есенина с Мариенгофом, которого мать совершенно не переваривала. О том, как Мариенгоф относился к ней, да и вообще к большинству окружающих, можно судить по его книге «Роман без вранья».

Спустя какое-то время Зинаида Николаевна, оставив меня в Орле, вернулась к отцу, но вскоре они опять расстались…

Осенью 1921 года она стала студенткой Высших театральных мастерских. Училась не на актерском отделении, а на режиссерском, вместе с С. М. Эйзенштейном, С. И. Юткевичем.

С руководителем этих мастерских – Мейерхольдом – она познакомилась, работая в Наркомпросе. В прессе тех дней его называли вождем «Театрального Октября». Бывший режиссер петербургских императорских театров, коммунист, он тоже переживал как бы второе рождение. Незадолго перед этим он побывал в Новороссийске в белогвардейских застенках, был приговорен к расстрелу и месяц провел в камере смертников.

Летом 1922 года два совершенно незнакомых мне человека – мать и отчим – приехали в Орел и увезли меня и брата от деда и бабки. В театре перед Всеволодом Эмильевичем многие трепетали. Дома его часто приводил в восторг любой пустяк – смешная детская фраза, вкусное блюдо. Всех домашних он лечил – ставил компрессы, вынимал занозы, назначал лекарства, делал перевязки и даже инъекции, при этом сам себя похваливал и любил себя называть «доктор Мейерхольд».

Из тихого Орла, из мира, где взрослые говорили о вещах, понятных четырехлетнему ребенку, мы с братом попали в другой мир, полный загадочного кипенья. Я принадлежала к тому многочисленному сонму девочек, которые непрестанно подпрыгивают и мечтают о балете. Но, несмотря на все свое легкомыслие, тосковала по Орлу и не переставала удивляться людям, которые могут часами говорить о непонятном. Мать была из их числа, я к ней еще не привыкла и ничем с ней не делилась. А «почемучный» возраст брал свое, и, не решаясь ежесекундно почемукать, я решила своими силами выяснить, о чем Мейерхольд подолгу говорил со своими помощниками. Как-то я заранее приготовила себе скамеечку, чтобы спокойно посидеть и уловить начало разговора, – я вообразила, что тогда сумею распутать всю нить. Увы, в самый ответственный момент меня что-то отвлекло, и опыт не удался.

Внутренняя лестница вела из нашей квартиры в нижний этаж, где располагались и театральное училище и общежитие. Можно было спуститься вниз и поглазеть на занятия по биомеханике. Временами вся наша квартира заполнялась десятками людей, и начиналась читка или репетиция. За обедом мать заливалась смехом, вспоминая какую-нибудь реплику из пьесы. Она была вся в приподнятом настроении, с утра до ночи на ногах – каждая минута ее была чем-то заполнена. К нам вскоре перебралась родня из Орла, в доме всегда кто-то подолгу гостил, Зинаида Николаевна возглавила хозяйство многолюдного дома, налаживала режим. Квартира, лишенная поначалу самого необходимого, стала быстро приобретать жилой вид. Мать успевала даже сочинить для детей специальное «меню» и вывесить его в детской. Рано выучившись читать и вечно страдая отсутствием аппетита, я с тоской глядела на это «меню» и, прочитав строчку вроде: «8 час. вечера – чай с печеньем», заранее принималась пищать: «Я не хочу печенья». В Москве нас быстро избаловали. Позднее нам наняли учителей и стали приучать к дисциплине. А покуда мы полдня проводили с нянькой на бульваре.

Адрес наш, по старой памяти, звучал еще так: «Новинский бульвар, тридцать два, дом бывший Плевако». В свое время и наш дом и несколько соседних строений были собственностью знаменитого адвоката. Когда в 1927 году у нас случился пожар, об этом написала «Вечерняя Москва», и мы узнали из газеты, что дом наш построен еще до наполеоновского нашествия и был одним из уцелевших в пожар 1812 года. Входная деревянная лестница изгибалась винтом, комнаты были разной высоты – из

одной в другую вела либо одна, либо несколько ступенек. Маленькие окна сложным способом предохранялись от ледяных узоров – между рамами ставили на зиму зловещий стакан с серной кислотой, под подоконником висела бутылочка – в нее опускали конец бинта, вбиравшего стекающую с окон влагу.

Напротив, на другой стороне бульвара, стояло очень похожее здание с мемориальной доской – в нем жил Грибоедов. Кто из его современников бродил по нашим комнатам – такими вопросами в двадцатые годы как-то не задавались.

Новинский был оживленным местом – неподалеку шумел Смоленский рынок с огромной барахолкой, где престарелые дамы в шляпках с вуалью распродавали свои веера, шкатулочки и вазочки. По бульвару ходили цыгане с медведями, бродячие акробаты. Приезжие крестьяне, жмурясь от страха, перебегали через трамвайную линию – в лаптях, домотканых армяках, с котомками за плечами.

На бульваре мы нежданно-негаданно познакомились со своим сводным братом – Юрой Есениным. Он был старше меня на четыре года. Его как-то тоже привели на бульвар, и, видно, не найдя для себя другой компании, он принялся катать нас на санках. Мать его, Анна Романовна Изряднова, разговорилась на лавочке с нянькой, узнала, «чьи дети», и ахнула: «Брат сестру повез!» Она тут же пожелала познакомиться с нашей матерью. С тех пор Юра стал бывать у нас, а мы – у него.

Анна Романовна принадлежала к числу женщин, на чьей самоотверженности держится белый свет. Глядя на нее, простую и скромную, вечно погруженную в житейские заботы, можно было обмануться и не заметить, что она была в высокой степени наделена чувством юмора, обладала литературным вкусом, была начитанна. Все связанное с Есениным было для нее свято, его поступков она не обсуждала и не осуждала. Долг окружающих по отношению к нему был ей совершенно ясен – оберегать. И вот – не уберегли. Сама работящая, она уважала в нем труженика – кому, как не ей, было видно, какой путь он прошел всего за десять лет, как сам себя менял внешне и внутренне, сколько вбирал в себя – за день больше, чем иной за неделю или за месяц.

Они с матерью симпатизировали друг другу. С годами Анна Романовна становилась человеком все более близким нашей семье. С сыном своим она рассталась в конце тридцатых годов и, не зная о его гибели, десять лет ждала его – до последнего своего вздоха.

Есенин не забывал своего первенца, иногда приходил к нему. С осени 1923 года он стал навещать и нас.

Зрительно я помню отца довольно отчетливо.

В детскую память врезаются не повседневность, а события исключительные. Я, например, сама для себя родилась в тот день, когда мне в полуторагодовалом возрасте прищемили палец дверью. Боль, вопль, суматоха – все озарилось, зашевелилось, и я стала существовать.

С приходом Есенина у взрослых менялись лица. Кому-то становилось не по себе, кто-то умирал от любопытства. Детям все это передается.

Первые его появления запомнились совершенно без слов, как в немом кино.

Мне было пять лет. Я находилась в своем естественно-прыгающем состоянии, когда кто-то из домашних схватил меня. Меня сначала поднесли к окну и показали на человека в сером, идущего по двору. Потом молниеносно переодели в парадное платье. Уже одно это означало, что матери не было дома – она не стала бы меня переодевать.

Помню изумление, с каким наша кухарка Марья Афанасьевна смотрела на вошедшего. Марья Афанасьевна была яркой фигурой в нашем доме. Глуховатая, она постоянно громко разговаривала сама с собой, не подозревая, что ее слышат. «Вы котлеты пережарили», – скажет ей мать в ухо. Она удалялась, ворча под общий хохот:

– Пережарила… Сама ты пережарила! Ничего. Сожрут. Актеры все сожрут.

Старуха, очевидно, знала, что у хозяйских детей есть родной отец, но не подозревала, что он так юн и красив.

Есенин только что вернулся из Америки. Все у него с головы до ног было в полном порядке. Молодежь тех лет большей частью не следила за собой – кто из бедности, кто из принципа.

Глаза одновременно и веселые и грустные. Он рассматривал меня, кого-то при этом слушая, не улыбался. Но мне было хорошо и от того, как он на меня смотрел, и от того, как он выглядел.

Когда он пришел в другой раз, его не увидели из окна. Дома была и на звонок пошла открывать Зинаида Николаевна.

Прошли уже годы с тех пор, как они расстались, но им доводилось иногда встречаться. В последний раз они виделись перед отъездом отца за границу, и эта встреча была спокойной и мирной.

Но сейчас поэт был на грани болезни. Зинаида Николаевна встретила его гостеприимной улыбкой, оживленная, вся погруженная в настоящий день. В эти месяцы она репетировала свою первую роль.

Он резко свернул из передней в комнату Анны Ивановны, своей бывшей тещи.

Я видела эту сцену.

Кто-то зашел к бабушке и вышел оттуда, сказав, что «оба плачут». Мать увела меня в детскую и сама куда-то ушла. В детской кто-то был, но молчал. Мне оставалось только зареветь, и я разревелась отчаянно, во весь голос.

Отец ушел незаметно.

З. Н. Райх

И сразу вслед за этим возникает другая сцена, вызывающая совершенно другое настроение. На тахте сидят трое. Слева курит папиросу Всеволод Эмильевич, посередине облокотилась на подушки мать, справа сидит отец, поджав одну ногу, опустив глаза, с характерным для него взглядом не вниз, а вкось. Они говорят о чем-то таком, что я уже отчаялась понимать.

В шесть лет меня стали учить немецкому, заставляли писать. Я уже знала, что Есенину принадлежат стихи «Собрала пречистая журавлей с синицами в храме…»[9], что он пишет другие стихи и что жить с нами вовсе не должен.

У нас появилась первая «бонна» – Ольга Георгиевна. До революции она работала в той же должности ни больше ни меньше как у князей Трубецких, в том великолепном особняке, который стоял на Новинском рядом с нашим домом и где потом расположилась Книжная палата.

Ольга Георгиевна была суховата, грубовата и начисто лишена чувства юмора. А по ночам она рыдала над детскими книгами. Как-то я проснулась от ее всхлипываний. Над книгой она держала полотенце, мокрое от слез, и бормотала: «Господи, как безумно жаль мальчишек».

Детской нам служила просторная комната, где мебель почти не занимала места, посередине лежал красный ковер, на нем валялись игрушки и возвышались сооружения из стульев и табуреток.

Помню, мы с братом играем, а возле сооружений сидят Есенин и Ольга Георгиевна. Так было раза два. Ему не по себе рядом с ней, он нехотя отвечает на ее вопросы и не пытается себя насиловать и развлекать нас. Он оживился, лишь когда она стала расспрашивать о его планах. Он рассказал, что собирается ехать в Персию, и закончил громко и вполне серьезно:

– И там меня убьют.

Только в ресницах у него что-то дрожало. Я тогда не знала, что в Персии убили Грибоедова и что отец втихомолку издевается над княжеской бонной, которая тоже этого не знала и, вместо того чтобы шуткой ответить на шутку, поглядела на него с опаской и замолчала.

Один только раз отец всерьез занялся мной. Он пришел тогда не один, а с Галиной Артуровной Бениславской. Послушал, как я читаю. Потом вдруг принялся учить меня… фонетике. Проверял, слышу ли я все звуки в слове, особенно напирал на то, что между двумя согласными часто слышен короткий гласный звук. Я спорила и говорила, что, раз нет буквы, значит, не может быть никакого звука.

Как-то до Зинаиды Николаевны дошли слухи, что Есенин

хочет нас «украсть». Либо сразу обоих, либо кого-нибудь одного. Я видела, как отец подшучивал над Ольгой Георгиевной, и вполне могу себе представить, что он кого-то разыгрывал, рассказывая, как украдет нас. Может быть, он и не думал, что этот разговор дойдет до Зинаиды Николаевны. А может быть, и думал…

И однажды, забежав к матери в спальню, я увидела удивительную картину. Зинаида Николаевна и тетка Александра Николаевна сидели на полу и считали деньги. Деньги лежали перед ними целой горкой – запечатанные в бумагу, как это делают в банке, столбики монет. Оказывается, всю зарплату в театре выдали в тот раз трамвайной мелочью.

– На эти деньги, – возбужденно прошептала мать, – вы с Костей поедете в Крым.

Я, конечно, гораздо позже узнала, что шептала она во имя конспирации. И нас действительно срочно отправили в Крым с Ольгой Георгиевной и теткой – прятать от Есенина. В доме было много женщин, и было кому сеять панику. В те годы было много разводов, право матери оставаться со своими детьми было новшеством, и случаи «похищения» отцами своих детей передавались из уст в уста.

В 1925 году отец много работал, не раз болел и часто покидал Москву. Кажется, он был у нас всего два раза.

Ранней осенью, когда было еще совсем тепло и мы бегали на воздухе, он появился в нашем дворе, подозвал меня и спросил, кто дома. Я помчалась в полуподвал, где находилась кухня, и вывела оттуда бабушку, вытиравшую фартуком руки, – кроме нее, никого не было.

Есенин был не один, с ним была девушка с толстой темной косой.

– Познакомьтесь, моя жена, – сказал он Анне Ивановне с некоторым вызовом.

– Да ну, – заулыбалась бабушка, – очень приятно…

Отец тут же ушел, он был в состоянии, когда ему было совершенно не до нас. Может, он приходил в тот самый день, когда зарегистрировал свой брак с Софьей Андреевной Толстой?

В декабре он пришел к нам через два дня после своего ухода из клиники, в тот самый вечер, когда поезд вот-вот должен был увезти его в Ленинград. Спустя неделю, спустя месяцы и даже годы родные и знакомые несчетное число раз расспрашивали меня, как он тогда выглядел и что говорил, потому и кажется, что это было вчера.

В тот вечер все куда-то ушли, с нами оставалась одна Ольга Георгиевна. В квартире был полумрак, в глубине детской горела лишь настольная лампа, Ольга Георгиевна лечила брату синим

светом следы диатеза на руках. В комнате был еще десятилетний сын одного из работников театра, Коля Буторин, он часто приходил к нам из общежития – поиграть. Я сидела в «карете» из опрокинутых стульев и изображала барыню. Коля, угрожая пистолетом, «грабил» меня. Среди наших игрушек был самый настоящий наган. Через тридцать лет я встретила Колю Буторина в Ташкенте, и мы снова с ним все припомнили.

На звонок побежал открывать Коля и вернулся испуганный:

– Пришел какой-то дядька, во-от в такой шапке.

Вошедший уже стоял в дверях детской, за его спиной.

Коля видел Есенина раньше и был в том возрасте, когда это имя уже что-то ему говорило. Но он не узнал его. Взрослый человек – наша бонна – тоже его не узнала при тусклом свете, в громоздкой зимней одежде. К тому же все мы давно его не видели. Но главное было в том, что болезнь сильно изменила его лицо. Ольга Георгиевна поднялась навстречу, как взъерошенная клушка:

– Что вам здесь нужно? Кто вы такой?

Есенин прищурился. С этой женщиной он не мог говорить серьезно и не сказал: «Как же это вы меня не узнали?»

– Я пришел к своей дочери.

– Здесь нет никакой вашей дочери!

Наконец я его узнала по смеющимся глазам и сама засмеялась. Тогда и Ольга Георгиевна вгляделась в него, успокоилась и вернулась к своему занятию.

Он объяснил, что уезжает в Ленинград, что поехал уже было на вокзал, но вспомнил, что ему надо проститься со своими детьми.

– Мне надо с тобой поговорить, – сказал он и сел, не раздеваясь, прямо на пол, на низенькую ступеньку в дверях. Я прислонилась к противоположному косяку. Мне стало страшно, и я почти не помню, что он говорил, к тому же его слова казались какими-то лишними – например, он спросил: «Знаешь ли ты, кто я тебе?»

Я думала об одном – он уезжает и поднимется сейчас, чтобы попрощаться, а я убегу туда – в темную дверь кабинета.

И вот я бросилась в темноту. Он быстро меня догнал, схватил, но тут же отпустил и очень осторожно поцеловал руку. Потом пошел проститься с Костей.

Дверь захлопнулась. Я села в свою «карету», Коля схватил пистолет…

В гробу у отца было снова совершенно другое лицо.

Мать считала, что, если бы Есенин в эти дни не оставался один, трагедии могло не быть. Поэтому горе ее было

безудержным и безутешным и «дырка в сердце», как она говорила, с годами не затягивалась…

1971

Н. Д. Вольпин
Свидание с другом

От автора

Сохранить для младших современников, передать в будущее ценителям поэзии Сергея Есенина его живые слова, его суждения, пронесенные памятью сквозь всю мою долгую жизнь со дней далекой юности, – такова была моя задача. Задача и долг.

Поначалу я думала обойти молчанием все личное мое, отступить в глухую тень, показать только поэта. Но в ходе работы поняла: это неосуществимо. Да и не нужно: ни к кому не обращенные, повисшие в пустоте, слова останутся мертвы и непонятны. Да и как уйдешь от себя самой?

Знаю: возникающий в моих записях образ поэта далек от привычного канона сегодняшней Есенинианы. Но, может быть, тем лучше?

Впрочем, надо помнить: в записях моих Сергей Есенин встает более молодым, чем тот, изучаемый… С последней нашей встречи ему оставалось жить шестнадцать месяцев. Шестнадцать месяцев роста и жадного творчества.

А эта книга… Пусть ее примут какой она есть. Перестраивать ее у меня уже не достанет ни сил, ни отпущенного срока жизни.

Москва, январь 1984

Часть первая
Береги огонь
(1919–1920)

Я все о том же. Все в котомке
Воспоминаний горький хлеб.

Белый и «зеленые»

Итак, наша молодежная группа при Союзе поэтов оформлена. Назвались «Зеленой мастерской». «Сейчас, – поясняет Яков Полонский, – иначе нельзя: куда-нибудь в Малаховку и то не проедешь. А тут – выписал командировку, пришлепнул печать и езжай хоть в Кемь!»

В группе, кроме самого Полонского, студента-медика, трогательно влюбленного в поэзию (он и сам пишет стихи, даже выпустил в свет сборничек «Вино волос»), числятся: молчаливый и зябкий Захар Хацревин (для меня он брат двух прехорошеньких девочек-малышек, учившихся, как и я, в гимназии Н. П. Хвостовой), талантливая Наталья Кугушева (в прошлом княжна Кугушева) – горбатенькая, с красивым лицом, длинными стройными ногами (они показывали, какой ее задумала природа), синими печальными глазами и чуть приглушенным чарующим голосом. Через четыре года она выйдет замуж за прозаика из «Кузницы» Михаила Сивачева (кузнец и княжна!). А в 1957 году я с горечью узнаю, что давняя моя подруга, уже овдовев, лишилась зрения. Назовем еще Евгения Кумминга (тоже брат «хвостовки»): весьма деловитый и, как мы полагали, безусловно одаренный юноша. И, наконец, тот, кого назвать бы в первую голову, кто прочнее нас всех войдет в литературу: младший друг Кумминга и его подопечный – Веня Зильбер. В группе он всех моложе. Веню мы снисходительно поучали, разбирая его стихи, что у него несомненно есть обнадеживающие задатки, но… не поэта: пусть пытает силы в драматургии, в прозе… И судили мы правильно. В дальнейшем наш Веня покажет себя и как литературовед – В. Зильбер, и как прозаик – Вениамин Каверин. А его самонадеянный покровитель Кумминг года два спустя смоется за границу, и в начале двадцать второго года я прочту на страницах белоэмигрантской газеты подписанный его именем рассказец, даже для этого издания несосветимо пошлый! Делец взял верх над поэтом и драматургом, каким мы его мнили.

Шла осень девятнадцатого года. Холод и голод. Мне передан

приказ по группе: сегодня читаем в «Литературном особняке». Явка обязательна – придет послушать молодых сам Андрей Белый!

Собиралась наша «Мастерская» чаще всего на квартире у Полонского (и тогда нас робко слушала его сестра-подросток, с годами пришедшая в литературу как редактор, и совсем юная ее подруга Сусанна Жислина – в дальнейшем известная фольклористка). Реже у меня, и тогда нас приходил послушать старый друг моей семьи Яков Яковлевич Рогинский – антрополог, в ту пору только лишь начавший свой славный путь в науке. Иногда мы всей группой выступаем по разным клубам, литкружкам.

И вот приказ: явиться в «Литературный особняк». Это где-то на Поварской или Молчановке… или в Борисоглебском? Точней не помню. Я пришла, не захватив тетрадки. Читаю всегда на память. Едва ли не последней. В группе меня считают сильной, вот и приберегли «под занавес». Белый слушает очень внимательно. Я читаю свою «урбанистическую рапсодию» («С седьмого этажа»). Поэт слушает, помечая что-то на листике. Волнуюсь. Даже мой слабый голос окреп – от возбуждения: мы-де еще поспорим! Ваше дело – критика, наше – отпор! Эх, услышать бы что-нибудь ценное, по существу… Пусть разругает в разнос. Нет, исправлять не стану. Но… для дальнейшей бы работы!

Разноса не было. Андрей Белый, когда разговоры кончились, подошел ко мне и… поцеловал мне руку. Сказал, как рублем подарил:

– Спасибо! Такого пятистопного ямба я не слышал и у зрелых наших поэтов. Понимаете… ведь пятистопник в русской поэзии разработан куда меньше, чем четырехстопный ямб. Уже и то приятно, что ни разу не сбились на шестистопник. Но главное… У вас на полсотни строк («сорок четыре», – уточнила я) в одиннадцати встретилось ускорение[10], на третьей стопе – самый редкий прием! А эти ваши хориямбы на многосложных словах!

Я стою растерянная. Решив (и справедливо), что я незнакома с его терминологией (о его анализах в книге «Символизм» знаю только по пересказу подруги), Белый процитировал из прочитанного мною (бог ты мой, ведь записал же!):

> «Город затих. Шестой этаж и выше.

Или это:

> Огненно музыка росла волнами…

Тут и хориямб и ускорение на третьей стопе!
Или вот это:

Простерлось комнате… – как там у вас дальше?»

Забегая вперед, расскажу: полгода спустя, прочитав у меня в тетради мой «Седьмой этаж», Сергей Есенин остановился на этом же двустишии:

Простерлось комнате, ложась на крыши
Плавучей ночи лунное крыло, —

и сказал:
– А вот это образ! Зримый образ!
Каждый отметил свое. С позиций своей школы. Однако ни тот ни другой ничего не сказал «зеленой» поэтессе по самой сути! Вескую критику от старшего поэта я услышала (впервые за весь год!) только раз: от Вячеслава Иванова – летом 1920 года, когда шел набор в Литературную студию (развернувшуюся далее в Литературный институт). На вступительном коллоквиуме я, вообразив, что мой судья – строгий классицист, прочитала давнее свое квазиреволюционное стихотворение с крепко проработанной строфой, но по содержанию поверхностное, трафаретное. И выслушала заслуженную отповедь.

Первое знакомство. Молочный брат

В Союзе поэтов – то есть в кафе почти насупротив Главного телеграфа, но несколько ближе к центру (в те годы – Тверская, 18, бывшее кафе «Домино») – отмечается вторая годовщина Октября. Я пришла, прихватив кое-кого из друзей «не-поэтов» – уж очень напрашивались.

Идут выступления. Имена почти неизвестные. Кто-то из распорядителей подходит к столику в зале.

– Сергей, выступишь?

– Да нет, неохота…

– Нехорошо. Ты же на афише.

– А меня не спрашивали… Так и Пушкина можно поставить в программу.

Из молодежи почти никто не выходит читать. Да и мало у кого нашлись бы соответственные стихи, не читанные многажды с этой эстрады. Я набралась храбрости и, едва одолев смущение, подошла к неизвестному мне до того светловолосому завсегдатаю

«Домино» (как в шутку называла я Кафе поэтов).

– Вы Есенин? Прошу вас от имени моих друзей… и от себя. Мы вас никогда не слышали, а ведь читаем, знаем наизусть…

Поэт встал, учтиво поклонился.

– Для вас – с удовольствием!

И взошел на эстраду.

Тут же уместно пояснить. Незадолго до того, недели за две, я с этой же эстрады читала стихи (к сожалению, не помню, что именно я тогда прочла), и после выступления мой брат Марк рассказал мне, что меня внимательно слушали среди прочих Мариенгоф с Есениным и оба очень расхваливали. Есенин в те годы был широко известен, но еще не знаменит. Я попросила брата показать мне в публике Есенина, брат не захотел.

– Да ты сама узнаешь, он тут постоянно… И не понимаю, что ты с ним носишься… рядовой поэт, не слишком искусный…

Да, широкое признание еще не пришло к нему. Но все же на слова брата я рассмеялась: я-то знала цену Есенину уже и тогда, хоть и не ставила его выше Маяковского (перед которым преклонялась).

Итак, Есенин вышел читать.

Поднимаясь на эстраду, он держал руки сцепленными за спиной, но уже на втором стихе выбрасывал правую вперед – ладонью вверх – и то и дело сжимал кулак и отводил локоть, как бы что-то вытягивая к себе из зала – не любовь ли слушателя? А голос высокий и чуть приглушенно звонкий; и очень сильный. Подача стиха, по-актерски смысловая, достаточно выдерживала ритм. И, конечно, ни намека на подвывание, частое в чтении иных поэтов (даже у Пастернака!). Такое чтение не могло сразу же не овладеть залом. Прочитал сперва из «Иорданской голубицы» – «Мать моя – родина, Я – большевик!»; потом – «Песнь о собаке» («Утром в ржаном закуте…»).

Вот так оно и завязалось, наше знакомство. Но в «Домино» я заглядывала нечасто. Здесь самое интересное начиналось поздненько, чуть не за полночь. А я жила в комнате, сданной мне по знакомству, и приходилось соблюдать поставленные хозяйкой условия: мне не дали ключа – «звоните, стучитесь, Агаша откроет». Но бесконечно преданная хозяину (и крепко недолюбливавшая хозяйку) домработница Агаша просила приходить либо до одиннадцати, либо… совсем поздно, после двух, – а первый сон у нее уж больно крепок. Я, бывало, пока ее докричусь в окно, весь свой Всеволожский разбужу, да заодно и хозяев своих. Но к исходу декабря я устроилась на работу в «ЦУТОП» – благо там давали фронтовой паек. На обратном пути (пешком!) от Красных ворот на Остоженку заходила нередко в

Союз поэтов – узнать программу на ближайшие вечера и кстати пообедать: членам Союза полагалась изрядная скидка; а где же еще можно было на обесцененную зарплату получить сытный «дореволюционный» обед? И вот, обедая в СОПО, я нередко здесь же, в «Зале поэтов», видела и Есенина. Но я не была уверена, что он меня запомнил. Останавливало и то, что мне он часто казался то ли нетрезвым, то ли очень уж ушедшим в себя. Чувствовалось, что он проходил в ту пору нелегкую полосу жизни. Не только подойти – поклониться не решалась! А между тем сам он, бывало, уставится в меня издалека, словно с осуждением… За что – за то ли, что не кланяюсь первая? Так и оказалось.

Мой друг детства (с двух лет) Саня К. попросил меня устроить и ему удешевленные обеды в нашем кафе, и я – каюсь! – посчитала возможным отобрать два-три старых своих стихотворения (написанных в канун первой мировой войны), какие можно было перелицевать на мужской род («Я одна на каменном балконе…»), и дала ему. Его приняли на их основании в Союз поэтов (так это было тогда просто!).

И вот однажды сижу я вдвоем с Саней К., обедаем… а с дальнего столика на нас посматривает Есенин. Саня спешил, ушел раньше меня. И тогда Есенин подсел к моему столику.

– Не узнаете меня? – спросил. – А мы вроде знакомы. – И осведомился, кто этот «красивый молодой человек, что сидел тут сейчас с вами».

– Молодой поэт. Недавно принят в Союз, – ответила я и ложь и правду. – Мой молочный брат.

– Молочный? Обычно девицы в ответ на непрошеное любопытство называют приятеля «двоюродным». А у вас молочный!

Завязался разговор.

– Почему, когда входите, не здороваетесь первая?

– Но ведь и сами вы ни разу мне не поклонились…

– Я мужчина, мне и не положено. Разве ваша бабушка вам не объясняла, что первой должна поклониться женщина, а мужчине нельзя – чтобы не смутить даму, если ей нежелательно признать на людях знакомство.

Я рассмеялась.

– Боюсь, хорошему тону меня учили не бабушка и не мама, а старший брат. Тут на первом месте было: не трусь! не ябедничай!

С этого дня я частенько при встречах беседую с Есениным. Как-то он, словно бы вскользь (на вопрос «Почему пригорюнились?»), сказал: «Любимая меня бросила. И увела с собой ребенка!» А в другой раз, месяца через два, сказал мне вскользь: «У меня трое детей». Однако позже горячо это отрицал:

«Детей у меня двое!»

– Да вы же сами сказали мне, что трое!

– Сказал? Я? Не мог я вам этого сказать! Двое!

И только через четыре года, уже зная, что и я намерена одарить его ребенком, сознался мне, что детей у него трое: дочка и двое сыновей. «Засекреченным» сыном был, по-видимому, Юрий Изряднов. От Кости он при мне никогда не открещивался.

Нередко после программы в СОПО Есенин идет теперь меня провожать – на мою Остоженку.

Н. Вольпин

Весна 1920. В СОПО перевыборы. Погода мучительно жаркая. Закрытое голосование. На инвалидной машинке со стертой лентой, через синюю копирку печатаются списки кандидатов в правление. «Все как у взрослых», – смеюсь я. И прошла с моим листком в третью, совсем маленькую комнату правления. Туда же за мной и Есенин.

– Восемь, три? – спрашивает.

– Нет, – поправляю, – всех десять: семеро в члены правления и трое кандидатами…

Ох и весело же он рассмеялся!

– Я не о выборах. Всеволожский переулок – а номера?

Ого! Напрашивается в гости. Я до сих пор, когда случалось Есенину меня провожать, прощалась не доходя до места – не желала, чтобы он знал, каких трудов мне стоит докричаться Агаши или полуглухой соседки Сони Р.

Что он думал при этом? Верно, подозревал, что меня караулит ревнивый друг – уж не молочный ли брат?

Оберегая мою нравственность – или свое добро? – хозяйка квартиры так и не дала мне ключа!

Умён

Усиленное внимание ко мне Есенина не прошло незамеченным.

– Ну вот, Надя, – говорит мне Наташа Кугушева, – ты теперь сдружилась с Есениным. Какой он вблизи?

– Знаешь, – отвечаю, – он очень умен!

Наташа возмутилась:

– «Умен!» Есенин – сама поэзия, само чувство, а ты о его уме. «Умен!» Точно о каком-нибудь способном юристе… Как можно!

Наташа, понятно, имела в виду то, что Есенин через два года выразит колдовской строкой о «буйстве глаз и половодье чувств». Но сейчас, окинув мыслью лучшее, что у него написано к тому дню, я кинулась в жаркий спор.

– И можно, и нужно! Вернее было бы сказать о нем «мудрый». Но ведь ты спросила, что нового я в нем разглядела. Так вот: у него большой, обширный ум. И очень самостоятельный. Перед ним я курсистка с жалким книжным умишком.

Не одной Кугушевой, так многим думалось, что в Сергее Есенине стихия поэзии должна захлестнуть то, что обычно зовется умом. Но он не был бы поэтом, если бы его стихи не были просветлены трепетной мыслью. Не дышали бы мыслью.

– Конечно, – продолжаю, – я и раньше понимала, по самим стихам его… Помнишь:

Я еще никогда бережливо
Так не слушал разумную плоть.

Ты вслушайся в это двустишье!.. Но, только тесней

сдружившись, я узнала, насколько ум Есенина глубок и самобытен.

Наташа не приняла моих объяснений.

А что сам Есенин зовет умом?

Выскажешь ту или иную мысль и услышишь:

– В книжках вычитали? – И значат эти слова у Есенина: «Пустое! Не стоит и раздумывать над твоим замечанием».

Зато, если в ответ на что-то он спросит: «Это вы сами надумали?» – прими уже и самый вопрос как высокую оценку своей мысли.

До всего дойти своим умом, самостоятельное суждение, новый подход к вопросу, неожиданная новизна мысли – только это и ценно для него. И как же я бывала рада, когда могла честно ответить:

– А нигде не вычитала – да, сама надумала.

Рада и горда!

«Сестра моя жизнь» в СОПО

Ранней весной 1920 года у нас в «Зеленой мастерской» на квартире у Полонского живший отшельником Борис Пастернак прочитал еще не опубликованную «Сестру мою жизнь». Кроме юных поэтов нашей группы – Захара Хацревина, Полонского, Кугушевой, меня, Кумминга (Зильбера не было) – пришли послушать Сергей Буданцев с женою (поэтессой Верой Ильиной) и Борис Пильняк (этот, правда, в самом начале чтения ушел). Пастернак считал, что книгу необходимо читать всю подряд, одним духом от начала до конца. Вот так, как была она им написана. «На меня, – рассказывал он, – накатило». Но в этом был опасный просчет: большинству оказывалось не под силу с неослабным вниманием прослушать столько стихов. Все же после чтения мы договорились с Борисом Леонидовичем о его таком же выступлении в СОПО. Особенно рьяно взялась за устройство вечера Вера Ильина. Помогала в хлопотах и я. Зарождалась дружба моя с Пастернаком, и за вечер в СОПО я чувствовала себя перед ним в ответе.

А вечер шел неладно. Я как приклеенная сидела в зале перед эстрадой. Народу собралось поначалу немало, но поэт читал и читал, а ряды редели и редели.

Есенин бросил слушать сразу же. Время от времени он показывался под зеркальной аркой и подавал мне знак, чтобы я шла ужинать. Но слушателей оставались уже единицы: «многостульный пустозал», незаметно не уйдешь. А Сергей,

возникая под аркой, все резче проявлял нетерпение.

Наконец он решительно подошел ко мне, взял за руку и увел во второй зал.

– Ведь вам не хочется слушать, зачем же себя насиловать?

Мои объяснения, что я-де не могу и не хочу обидеть Пастернака, Есенин начисто отверг.

– Сам виноват, если не умеет завладеть слушателем. Вольнó ему читать стихи так тягомотно. Сюда приходят пожрать да выпить, ну и заодно стихи послушать.

Несет себя как личность

Теплой майской ночью мы идем вдвоем Тверским бульваром от памятника Пушкину. Я рассказываю:

– Встретила сегодня земляка. Он меня на смех поднял: живешь-де в Москве, а ни разу Ленина не видела. Я здесь вторую неделю, а сумел увидеть. Что же, Ленин им – экспонат музейный?

Есенин резко остановился, вгляделся мне в лицо. И веско сказал:

– Ленина нет. Он распластал себя в революции. Его самого как бы и нет!

Вместо ответа я прочла:

…вам я
душу вытащу,
растопчу —
чтоб большая! —
и окровавленную дам, как знамя.

Так, что ли?.. Из Маяковского. Не узнали?

Я нарочно поддразниваю спутника этим именем.

– Узнал, конечно… Из «Облака…» – И, возвращаясь к сути разговора, повторил:

– Ленина нет! Другое дело Троцкий. Троцкий проносит себя сквозь историю как личность!

– «Распластал себя в революции» и «проносит себя как личность»! Что же, по-вашему, выше? Неужели второе?

И слышу в ответ:

– Все-таки первое для поэта – быть личностью. Без своего лица человека в искусстве нет.

(Вот оно как! Политика, революция, сама жизнь – отступи перед законами поэзии!)

Сейчас, весною двадцатого, Сергей Есенин еще очень далек от

замысла во весь рост дать в поэзии образ Ленина. Пройдут годы. Отойдет в глухое прошлое религиозный строй образов. «Распластал себя в революции!» Этой мысли своей поэт не отбросит. Но расценит по-новому. И мы прочтем в «Анне Снегиной»:

«Скажи,
Кто такое Ленин?»
Я тихо ответил:
«Он – вы».

Львов-Рогачевский

Лето двадцатого года. Сидим с Есениным у меня, в Хлебном, – кажется, по приезде его из Харькова. Сергей в разговоре помянул Львова-Рогачевского. Помянул, как мне показалось, уважительно. А я в ответ рассказываю о его литкружке, где некая «Каэль» (то ли Ксения, то ли Клавдия, то ли Львова, то ли Лаврова), дама в длинных локонах а-ля Татьяна Ларина с надменным лорнетом в руке, так строго спросила меня, написала ли я в жизни хоть одно рондо.

– Но, допустим, – говорю я Есенину, – за своих кружковцев он не в ответе. У меня к их наставнику другой счет, поважнее.

Год назад я как студийка неких «Курсов экспериментальной педагогики» по его заданию делала доклад о роли в поэзии параллелизма образов. Исходить мне предложено было из статей (он дал мне их сам) Веселовского и чьих-то еще. Я не ограничилась перекладом источников, привлекла и собственные соображения, подсказанные своим же поэтическим опытом и сравнительно приличным знанием новых и старых поэтов, русских и нерусских. Мой доклад именитый критик высоко одобрил, но добавил с укором: «Только почему же такие несерьезные примеры?» В докладе наряду с Пушкиным, Тютчевым, Гейне прозвучал в обильных цитатах Маяковский. Напомню: тогда, летом 1919 года, только что вышел большой сборник «Все сочиненное Владимиром Маяковским», и приобрести его было проще простого.

Не прошло и трех месяцев, как на каком-то докладе самого Львова-Рогачевского я услышала его восторженный отзыв о… «большом современном поэте Владимире Маяковском». Я восприняла это не как запоздалое принятие только теперь вдруг открывшегося критику «большого поэта», а как явную беспринципность – или хуже того: старание подладиться под

советскую идеологию. Да так ли еще он верит в прочность новой власти!

Есенин слушал меня очень внимательно. Не заступаясь за критика по существу – то есть с позиции этики художника, – он отверг только последнее мое замечание.

– Выходит, верит! – И остановился на другом, видно, сильнее задевшем его: – Так-таки назвал Маяковского большим современным поэтом? И вы считаете – не по убеждению?

Мой гость призадумался: вот оно как глубоко сейчас, признание мощного его соперника в литературной среде! И не только в ней. Держись, Есенин Сергей!

Кобыльи корабли

Весна двадцатого. Работаю библиотекарем в Белостокском военном госпитале – прямо напротив Художественного театра. Работу заканчиваю в шесть, но еще задерживаюсь поужинать (в зарплату входит взамен «сухого пайка» обед и ужин).

В тот вечер, едва выйдя из госпиталя, я увидела караулившего меня Есенина: ходит с тротуара на тротуар (движение по Кузнецкому и Камергерскому было отнюдь не бойкое). На лице и во всей осанке радостная взволнованность. И нетерпение.

– Вот и вы наконец! Я вам приготовил свою новую книжку.

– О, спасибо! А я ее уже успела купить!

Сказала и тут же осеклась: глупо как! Он же мне сюрприз готовил. Вот и лицо сразу угасло…

– Но разве вы не хотите, чтобы я вам ее надписал? Я вас провожу – позволите?

– Конечно.

Бог ты мой, как сразу изменился тон, стал непривычно церемонным. Неужто вкось истолковал мои слова?

Направляемся ко мне, по моему новому адресу, то есть в Хлебный переулок. Перед витриной книжной лавки у консерватории призадержались. Разговор, естественно, заходит о стихах.

– Скажите, – спрашивает вдруг Есенин, – какое из моих стихотворений первым привлекло ваше внимание… понравилось вам?

Отвечаю без колебания:

– В «Скифах», вот это:

Скучно мне с тобой, Сергей Есенин,
Подымать глаза!

Он испуганно глядит на меня, на ходу весь ко мне повернувшись, голубизна глаз сгустилась в синеву. Верно, подумал: «Смеется, что ли, девчонка!» Но, проверив мой ответный взгляд, сразу успокоился. (Недаром старший брат мой внушал мне еще двухлетней, чтобы я никогда не врала: он через ноздри все прочтет, что у меня, курносой, в мозгу написано!)

Но вот мы и в Хлебном. Сергей, оценивая, обводит взглядом комнату. Очень большая, в два окна – и неплохо обставлена. В углу у входа красивые куранты башенкой. Против света глаза у гостя стали впрямь васильковыми.

Простившись взглядом с курантами, гость подходит к столу у левого окна – квадратный раздвижной обеденный стол, но для меня он «письменный». Присаживается, первым делом выводит надпись на даримой книге. Это, помнится, была «Трерядница», а надпись такая:

Надежде Вольпин
с надеждой.

Сергей Есенин.

Что ж, подумала я, пожалуй, лестно, если его «надежда» относится к творческому росту. Но поэт имел в виду другое.

Вручив мне «Трерядницу», Сергей принялся рыться в моем «книжном шкафу» – стопках книг на столе: почти сплошь стихи – главным образом, новые: Маяковский, Каменский («Звучаль Веснеянки»), Рюрик Ивнев, Максимилиан Волошин («Иверни»), Михаил Кузмин. Есть и «полное собрание сочинений» экспрессиониста Ипполита Соколова (на шестнадцати страницах). Есть немецкие и даже латинские (гимназический мой Гораций). И целая стопка книжек Сергея Есенина.

Из нее он выдергивает тоненькую квадратную, чуть меньше школьной тетради книжечку: сиреневая обложка, сверху крупными печатными буквами: «ХАРЧЕВНЯ ЗОРЬ», внизу буквами поменьше имена трех авторов: *Сергей Есенин, Анатолий Мариенгоф, Велимир Хлебников. 1920. Москва.*

На оборотной стороне обложки посередине анонс:

Печатается сборник «ИМАЖИНИСТЫ».
Поэзия, проза, статьи, рисунки.
Участвует вся банда.

И пониже, справа: *«редактируют Сергей Есенин, Анатолий*

Мариенгоф».

А совсем книзу стоит жирным шрифтом цифра 100.

Описываю так подробно, потому что при очень ограниченном тираже тех лет книга несомненно стала библиографической редкостью.

Открывается она есенинской поэмой «Кобыльи корабли» (такие стихотворения, построенные как триптихи, тетраптихи и прочая, в те далекие времена именовались поэмами).

Хорошо отточенным карандашом, полагаю, химическим – он не стерся и по сей день, – Есенин вычеркивает несколько строк в третьей и пятой главках и надписывает сверху своим бисерным почерком – каждая буковка раздельно – новые варианты. В печати они появятся позже. Вот эти правки.

Главка третья, строфа четвертая (последняя). Напечатано:

Причащайся соломой и шерстью,
Жуй твой хлеб и расти овес.
Славься тот, кто наденет перстень
Обручальный овце на хвост.

Первая строка оставлена неизменной. Три последние (карандашом) читаются так:

Тепли песней словесный воск,
Злой октябрь осыпает перстни
С коричневых рук берез.

Главка пятая, заключительная. Третья строфа читается:

В сад зари лишь одна стезя,
Череп с плеч только слов мешок.
Все познать ничего не взять
В мир великий поэт пришел.

Жирно вычеркнуты вторая строка и четвертая. Строфа теперь зазвучала так:

В сад зари лишь одна стезя,
Сгложет рощи октябрьский ветр.
Все познать ничего не взять
Пришол в этот мир поэт.

(Заметьте: нет – и не вставлено! – запятой между «познать» и «ничего», и «пришол» – не «пришел».)

– Ну, зачем, по-вашему, я внес эти правки?

Я знаю поэму наизусть и правку принимаю не безболезненно. Мне жалко, что отброшен образ «череп – мешок слов» и заменен словами об октябре, уже прозвучавшими в третьей главке. Высказать прямо? А не обидится?

– Не поняли? Вы же сами поэт, должны понять. Было шатко: «великий мир» или «великий поэт».

А мне подумалось: подобные замечания («ловля блох») мы в нашей «Зеленой мастерской» постоянно делаем друг другу, но только как бы в учебном порядке – прими, мол, к сведению, чтоб избежать такого же в дальнейшей работе: написанного не правим. А вот Есенин, установившийся и признанный поэт, правит уже напечатанное! Для меня, моих друзей отработанное как бы костенеет. Но как не отметить, что после правки стих стал крепче. И я говорю:

– Что убрали «великий» – это хорошо: «поэт» без эпитета, да еще вынесенный в конец, на рифму, звучит сильней и становится «великим» сам собой, без бахвальства.

Смотрим вместе правку в третьей главке. Здесь ведь тоже, говорю я, сдвиг: для глаза «обручальный», а на слух вроде бы «обручальная овца». Но дело скорее в другом: уже поженили поэта с овцой, к чему теперь поминать обручение? Новым вариантом устранен не только сдвиг – устранена тавтология.

(Через многие годы Анатолий Мариенгоф в своем «Романе без вранья» объяснит, что правка была здесь вызвана не смысловым, а чисто формальным соображением: потребовалось устранить именно эту «обручальную овцу».)

– А можно спросить? – говорю я несколько позже. – Что такое «Трерядница»?

И Есенин растолковывает мне, что есть особая техника иконописи: изображения – сразу три – делаются на планочках, укрепляемых ребром. Смотришь прямо – видишь один образ, справа поглядишь – другой, слева – третий. Вот такая троякая икона и зовется трерядницей.

Хлястик и канотье

Май двадцатого года, Хлебный переулок. Пьем с Сергеем пойло, морковное, что ли, которое тогда заменяло нам чай.

– Красивая комната, – говорит не в первый раз мой гость и останавливает глаза на курантах. Нет, не старинных: скорее то, что в начале века называлось «стиль модерн» (разные там

квадратные розы и чайки под Художественный театр). Комната и впрямь хороша и просторна – все двадцать пять метров!

– Вещи тут не мои. Хозяйка их распродает одну за другой. На очереди эти куранты.

– Нет, нет. Вы их удержите.

– Уже просватаны.

– Не отдавайте. У вас стоят, значит, ваши. Закон!

Но знаю: по закону мне должны оставить на чем спать, стол и стул. Да и сняла я комнату по знакомству – не наживать же врага вместо доброй и заботливой хозяйки.

– Она отдаст за бесценок, деньги проест и через неделю сама пожалеет. Не выпускайте их, – учит Сергей.

– С радостью бы откупила их сама, да не на что. Я же их и просватала.

Понимаю: комната ослепнет, когда их увезут, эти куранты!

Есенин возвращается к окну, к столу: выбирает из «собственной» стопки свой «Голубень». Томик сам собой раскрылся на стихотворении того же названия. Строфа «Ночлег, ночлег…» отчеркнута.

– Что, понравилось? Или, наоборот, смутило?

– Очень понравилось. Это – и еще про коня:

Бредет мой конь, как тихая судьба.

Кстати, в обеих этих строфах есть у вас и шестистопные строки. И еще их несколько. Особый расчет – или нечаянная небрежность?

– Как бы вам сказать… Сознательно, конечно. Это как иной франт велит портному оставить кончик хлястика незакрепленным. Пусть болтается. Нарочитая небрежность.

Сравнение с хлястиком… Как оно было бы естественно (и не запомнилось бы), примени его поэтесса! Я вспомню его через несколько дней при случае со шляпой.

Очень жаркий день. Обедаю в СОПО. Входит Есенин. Подсаживается к моему столику. Снял шляпу – соломенную шляпу-канотье с плоским верхом и низкой тульей, – смотрит, куда бы ее пристроить.

– А не к лицу вам эта шляпа, – сказала я.

Не проронив ни слова, Сергей каблуком пробивает в донце шляпы дыру и широким взмахом меткой руки запускает свое канотье из середины зала прямо в раскрытое окно!

Я знала его уже достаточно и не польстилась мыслью, что расправа со шляпой учинена в мою честь. Подумалось: да скажи ему кто угодно, что не к лицу, – ну, хоть эта пожилая

подавальщица, и шляпу постигла бы та же участь. Ради меня разве лишь картинность жеста. И я протестую:

– Зачем же так! Сперва купили бы другую! Как вы пойдете в это пекло с непокрытой головой!

И припомнился хлястик.

Тонкая штучка

Очень теплый апрельский день. Я со службы, но еще совсем светло. Стою перед книжным лотком в СОПО. Отобрала стопку книг. За мной вырастает Есенин, заглядывает через мое плечо. Слышу:

– Что вы тратите ваши денежки на всякий хлам!

Мне сразу становится смешно и весело.

– Да у меня их так мало! На что другое и не хватило бы.

В самом деле, цены на книгу, даже на букинистическую, очень низки. Все-таки замечание Есенина врезалось в мое сознание. Это он что же, учит меня бережливости? Черта больше крестьянская, чем городская.

– И не все хлам. Смотрите – я тут раскопала клюевский «Сосен перезвон». А прочее… беру просмотреть: когда с эстрады слушаешь, многое кажется значительным, а проверишь глазом – пустая трескотня.

Завязывается разговор о поэтах.

– Клюев… Вы, небось, думаете: мужичок из деревенской глуши. А он тонкая штучка. Так просто его не ухватишь. Хотите знать, что он такое? Он – Оскар Уайльд в лаптях.

Уайльд в лаптях! По тону не ясно, сказано это в похвалу или в осуждение. Скорей второе. Но еще и с вызовом самозащиты: вы, может, и обо мне судите как о каком-то лапотнике: туда же, суется… с суконным рылом в калашный ряд поэзии! А вы раскусите-ка нас, что мы в себе несем!

Позже, в беседе со мной осенью двадцать первого года, Есенин стал мне рассказывать о древней русской литературе – великой литературе, которую «ваши университетские и не ведают – только с краешку копнули. Она перевесит всю прочую мировую словесность. Ее по монастырским подвалам надо выискивать, по раскольничьим скитам. И есть у нее свои ученые знатоки, свои следопыты. Ее, всю жизнь отдай, – как надо, не узнаешь».

Есенин говорил уже взахлеб, все больше разгораясь. И в заключение добавил:

– Вот в этом знании Клюев – академик!

А глубоко ли сам он, Сергей Есенин, черпал из этой древней сокровищницы? Прямо не спросишь. Мой осторожный вопрос он

оставил без ответа.

Пощечина. Суд

Об этом кое-что уже печаталось. И не однажды. Мне остается рассказать полнее – и, может быть, точнее.

Среди прочих «измов» бытовал в поэзии к концу второго десятилетия так называемый экспрессионизм. А его глашатаями именовали себя юные тогда поэты Николай Земенков и Ипполит Соколов (кто еще, не припомню; кажется, Гурий Сидоров). В августе 1919 года, впервые переступив порог СОПО, я с книжного лотка у входа приобрела белую книжечку в шестнадцать страниц, озаглавленную: Ипполит Соколов «Полное собрание сочинений». А на титульном листе еще значилось: «не посмертное» и ниже: «не стихи» – хотя в книжице были только стихи! Чем только не засоряла я тогда свою молодую, еще очень емкую память, но из экспрессионистов мне запомнилось – на двоих! – полстроки «… го́ндола губ». И запомнилось-то лишь по ударению на первом слоге «го́ндолы» – как меня заверили, истинно итальянскому.

Странный был юноша этот Соколов. До смерти боясь подцепить в голодной Москве сыпняк, он в общественных местах не позволял себе присесть на стул. Однажды у меня на глазах он прослушал в университете всю лекцию профессора Сакулина, сидя «на палочке верхом» и ничего не записывая, доверяясь памяти. Но к весне 1920 года Ипполит начал уже перестраиваться из поэта в критика и литературоведа. Свой артиллерийский огонь он направил на имажинистов. В первую голову – на Сергея Есенина.

Стоило Есенину что-либо прочесть с эстрады, вслед за ним вырастал перед публикой юный Ипполит. Но был он с виду совсем не юношей. Рослый, чуть сутулый, с тяжелым мучнистым лицом, он выглядел лет на десять старше своих осьмнадцати лет. Выйдет вот так на эстраду, вынет заготовленную пачку листков и под скрежет ножей о тарелки заводит лекцию. У Есенина, он утверждает, нет ничего своего. Вся система его образов – особенно же образов религиозного ряда, всяких его богородиц, телков и младенцев – полностью позаимствована у… немецкого поэта Рейнера Марии Рильке. Да, у великого Рильке!

И он читает вслух сперва немецкие строки, затем их дословный русский перевод и, наконец, якобы очень с ними схожие строки Есенина. Какие-нибудь «Облаки лают. Ревет златозубая высь». Публика слушает, скучая: сюда приходят поесть «не по нормам», поглазеть на живых поэтов, кстати и послушать. Пусть Есенин и не выступал, а тот все одно выходит на эстраду со

своими «разоблачениями». Кто-нибудь крикнет: «Брось ты, Ипполит, Есенин же не знает немецкого языка!» А Соколов упорствует: «Тем хуже. Значит, влияние здесь не прямое, а через посредственные и уже опошленные подражания». Есенин слушал сперва с усмешкой. Ипполит, повторяясь от раза к разу, договорился, наконец, до слова «плагиат». Сергей сам и не слышал, но, когда ему услужливо об этом доложили, попросил предупредить Соколова, что если тот еще раз повторит подобное, то он, Есенин, «набьет ему морду».

Дня через два Сергей привел меня в СОПО поужинать. Мы устроились в Зале поэтов поодаль от зеркальной арки – эстрада от нас не видна. Едва взялись за вилки, к Есенину подскочил Захаров-Мэнский и со сладострастным предвкушением скандала вкрадчиво говорит:

– Ипполит уже завелся, читает цитаты.

Есенин просит меня не вставать – а сам уже под аркой. Не усидела и я.

Ипполит произносит – очень отчетливо, подчеркнуто – «… прямой плагиат…».

Но закруглить свою тираду он не успел. Есенин, точно циркач, взлетел на эстраду. Широкий взмах руки. Пощечина… нет, не звонкая. На рыхлом лице критика багровый отпечаток ладони.

Шум, смятение.

Кое-как мы доели свой ужин. Уже известно: будет общественный суд.

Из кафе выходим втроем: Есенин с Грузиновым провожают меня Тверским бульваром домой. Сергей разволнован. Он явно недоволен собой. Но, словно готовясь уже сейчас к предстоящему суду, оправдывает свой поступок. Это недовольство собой еще углубилось, когда он услышал от меня, что Ипполит «только выглядит солидным дядей, а на самом деле ему от силы восемнадцать лет». И тут Грузинов, добрая душа, одернул меня и тихо отругал:

– Где ваша женская чуткость? Не видите, что ли? Он и так расстроен.

А Сергей храбрился и все доказывал – скорее себе, чем нам двоим, – что поступил по справедливости.

– Не оставлять же безнаказанной наглость зарвавшегося буквоеда! Нет, не стану я перед ним публично извиняться…

И вдруг сам себя перебивает:

– А этот его Рейнер Мария, видно, и впрямь большой поэт!

Долго ждать суда не пришлось. Происходил он днем, в первом («обжорном») зале Союза поэтов. Столики удалены. Зал

забит. Я слушала стоя: у стенки, не доходя «зеркальной арки». Чуть ближе к ней – и почти бок о бок со мной – стоял Маяковский. До нас долетают слова Есенина:

– Каждый на моем месте поступил бы так же.

И Маяковский, взвесив, – тихо, но очень внятно:

– Я? Ни-ког-да б!

«Еще бы, – успела я подумать, – ты, если волю дашь руке, чего доброго, отправишь к праотцам».

На словах осуждали поэта, но в душе, казалось мне, ему сочувствовали: нелепые нападки многоученого юнца и его нагловатый апломб никому не нравились.

Приговор был мягок: Есенину запретили на месяц показываться в СОПО, что, впрочем, практически не распространялось на второй зал, и Сергей по-прежнему приходил сюда обедать. А кругом все в один голос жаловались, что наказан не так Есенин, как посетители – поэты и публика.

Добавлю несколько слов о передаче этого эпизода Вениамином Кавериным. Сделанное рукой большого мастера его описание, однако, кое в чем неточно. Думается, в памяти автора произошел некоторый сдвиг. Так, Мариенгофа при пощечине не было в СОПО. А главное: не были у Сергея подрисованы брови, подкрашены губы. Да и за все годы дружбы и близости с Сергеем я не видела на его лице хотя бы следов косметики. Только гладко выбритые щеки он сильно пудрил (маскируя рыжинку) – отчего и брови его, по природе темные, могли казаться подрисованными.

Идет по канату

Лето двадцатого. Еще до отъезда Есенина и Мариенгофа на Кавказ.

Говорю Грузинову:

– Мне всегда страшно за Есенина. Такое чувство, точно он идет с закрытыми глазами по канату. Окликнешь – сорвется.

– Не у вас одной, – коротко и веско ответил Грузинов.

Друзья и враги

– Почему все так меня ненавидят? – спрашивает с тоской Есенин.

У меня захолонуло в груди.

– Кто «все»?

– Да хоть эти молодые поэты, что вертятся вокруг вас…

– Поэты? Что вы! Все они очень вас любят. Даже влюблены, как в какую-нибудь певицу. Мне на днях – имярек – (я назвала

имя, но сегодня не помню, чье), сам удивляясь, говорил: «Когда нет в Союзе Есенина, все точно бы угасает, и скучно становится… Он что́ – пришел, сел молча, вроде бы грустный. А все вокруг сразу озарилось!»

Я не придумала свое утешение. Однако как жадно Есенин ловит мои слова! И хочет – и боится им поверить. А во мне, хоть я еще не прочла ни строчки по психиатрии, уже сейчас, летом 1920-го, складывается мысль, что в нем притаилась душевная болезнь.

Нет, уж лучше пусть смотрит Нарциссом в зеркало на свои ржаные волосы, любовно их расчесывая, чем эта въевшаяся в душу мысль, будто все вокруг ненавидят его!

В сознании Есенина окружающие резко делятся на друзей и врагов. «Враги» – это некое смутное подозрение. «Друзья» – всегда нечто вполне конкретное, существующее во плоти и крови, хотя порой в их честную рать Есенин зачисляет и таких, кто не слишком ему предан и едва заслуживал именоваться хотя бы приятелем. Сейчас Есенин не так уж знаменит, но с ростом шумной известности – еще отнюдь не славы! – удельный вес этого последнего разряда «друзей» сильно возрастет. Помню, в начале лета двадцатого года, в дни, когда Есенин проживал еще в Гранатном переулке, он, встретясь со мною, сообщил, весь лучась от счастья, что к нему едет друг («Понимаете, друг, настоящий друг! Я вас с ним познакомлю»). Он это говорит в страстной уверенности, что и я должна задохнуться от счастья, потому что познакомлюсь с его, Есенина, другом! А я и в самом деле до счастья рада – не из-за приезда еще неизвестного мне друга, но из-за твердой веры Сергея, что я всей душой разделяю его радость. Кого он ждал тогда? Кажется, Александра Михайловича Сахарова. Во всяком случае, в Сахарове Есенин всегда вот так же страстно признавал большого друга.

Ну, а враги? В те дни реальным представляется один: поэт-имажинист Александр Кусиков, с которым Есенин уже не в первый месяц в ссоре.

Странная была эта ссора. Обоих окружали общие тому и другому друзья (или, вернее сказать, – товарищи). А вот ни один не берется их помирить – даром что этого требуют интересы группы. И никто не помнит, с чего пошла ссора. Кто знает, может, нарочно ее распаляют себе на потеху? Но такому мне по самой моей природе было бы трудно поверить. Я решила их помирить. И помирила.

Это было сделано так. Спрашиваю Кусикова, в чем причина ссоры. Сандро уверяет, что причины нет. Ему самому невдомек. Просто Есенину что-то почудилось, чего и не было. Только эти общие слова, ничего вразумительного я не услышала.

– Помириться, – спрашиваю, – хотите?

Сандро ответил, что был бы только рад, но что это «едва ли возможно».

(Решаю мысленно: «Для упрямца и впрямь невозможно».)

А Сергей? Что он расскажет о причине ссоры?

Ответ самый неожиданный:

– Я знаю: Кусиков хочет меня убить. Да-да-да! Хочет убить!

Это есенинское «да-да-да!» звучит совсем особенно. Я еще в те дни пробовала воспроизвести, но не давалось. Звучало вроде бы так: все три «Д» очень твердые, как бы с усиленной взрывностью звука; «А» в первом «да» – обычное краткое «А», как, например, в первом слоге слова «давай». Но во втором «да» гласный звук беглый, сильно редуцированный (как второе «А» в слове «лава»); в третьем «да» – нормальное ударное «А».

Я частенько слышу у Есенина это его «да-да-да!», когда он хочет мне что-нибудь внушить, иной раз сам не слишком веря внушаемому. Словно бы не другому внушает, а себе.

– Да-да-да! – повторил он еще раз. – Хочет убить!

Я, однако же, не поддаюсь: слишком уверена, что дикая мысль, будто Сандро хочет убить его, Есенина, не просто выдумка, не какая-нибудь «друзей клевета ядовитая»: она порождена болезненным самовнушением и ничем другим.

Я и сегодня не понимаю, как мне удалось так легко – и полностью – разубедить Сергея в его нелепом, крепко внедрившемся подозрении. Думаю, помогла его собственная, загнанная в глубь сознания жажда примирения. Или вера в мою безоговорочную преданность?

Я, кстати, и Есенину, и Кусикову дала понять, что «враг» сам спит и видит помириться – но не хочет сделать первый шаг. И тому, и другому сказала: «Кто из вас умней, тот первый протянет руку вчерашнему врагу…»

Сцену их примирения я не видела. Мне было рассказано, что «враги» одновременно протянули друг другу руки.

Воображаемую обиду простить не трудно. Другое дело – обида, наносимая намеренно, обдуманно. Такую Есенин не прощал.

Лима Савахвани

Разговор этот шел у нас в моей комнате в Хлебном – в апреле или мае двадцатого года.

– Кстати, – говорю я, – мне давно хотелось у вас спросить: кто такой «Лима Савахвани»?

– То есть как это «кто»? – вскинулся Сергей. – Это же… Но

вам стыдно не понять. Ведь это по-еврейски.

– По-древнееврейски, что ли? Ну, девочек древнееврейскому не очень-то учили. Хотя мне как раз повезло. Я знакомилась в подлиннике с Ветхим Заветом… Прочла все «Пятикнижие», «Пророков», «Книги царств»… Да и Бялика кое-что. И все же мне невдомек.

Есенин поясняет:

– Это слова Иисуса. На кресте. Перед самым концом. «Боже мой! Боже мой! Зачем ты оставил меня?»

Я призадумалась. Мысленно перевела на язык Библии – с учетом более научного «испанского» произношения (меня-то учили «немецкому»).

– Должно бы звучать так: «Эли́, эли́, лама савахвани́». Если в глубокой древности… А как в первом веке, при Христе, не знаю… Может, и по-вашему.

Есенин:

– Но мне запомнилось именно так: «Лима савахва́ни».

Я соображаю, что до русских легенда о Христе (как тогда говорилось) должна была дойти через греческий перевод: что в слове «савахвани» звучало не взрывное «т», а межзубный спирант, – и смилостивилась:

– Можете поставить не «т», а бывшую фиту. Вот когда пожалеешь, что она, голубушка, изгнана вместе с ятем да ижицей! Но вы на меня одну не полагайтесь – тут нужен хороший знаток. Библия, – поясняю, – писалась веками. В первом веке Иудея говорила, кажется, на арамейском. Но как раз в Галилее сохранялся древнееврейский язык, а в быту ходил еще и греческий.

Почему-то Сергей не почел нужным объяснить мне, что никакой знаток тут не был нужен: предсмертные слова Христа приводятся – в русском начертании – Евангелием от Матфея. Или и сам не знал?

– Хорошо, поставите, скажем, «ф», но главная-то беда в ударениях! Они все на конце – кроме «лима». Очень жаль, такие чудные строки!

Пожалуй, надо пояснить: этим двустишием заканчивается стихотворение «Проплясал, проплакал дождь весенний». В первой публикации (да и позже!) печаталось так: «Или, Или, Лима Савахвани» – почему я и подумала, что два последних слова – чье-то имя.

Сегодня я знаю: ударения и впрямь на конце. Вся фраза дана на арамейском – значит, правильно именно «лима», а не «лама». Любопытно, что Георгий Шенгели – явно в пику Есенину – вставил эти слова, но уже с правильными ударениями, в одно из

своих стихотворений. А Есенин в ближайшей публикации – в «Преображении», 1921, – учтя мое замечание, использовал так-таки «бывшую фиту» (своя рука владыка!). Но почему-то в четырехтомнике (издание 1926 и 1927) снова возникло: «Или, Или, Лима Савахвани!». Что это – редакционная небрежность? Но мне подумалось: может быть, Есенин в таком прочтении услышал эти слова еще в детстве – от деревенского ли попика, от деда ли Титова? И они стали ему душевно дороги; и что ему тогда все доводы словесников! У него своя правда – правда поэта.

Ну а редакторы с их консультантами – лингвистами или историками – в дальнейшем пусть учтут: если уж «Или! Или!», то не «лама», как мы читаем в пятитомнике и шеститомнике Сергея Есенина, а по-арамейски же: «лима».

Соперница

Проходя под аркой, ловлю в зеркале проводивший меня черный взгляд поэтессы Кати Э. В нем такая жгучая ревность и злоба, что на секунду мне стало страшно. Кажется, женщина рада бы убить меня взглядом! Но страх сразу оттеснила радостная мысль: ревность ее не напрасна, и у Сергея под «холодком» («я с холодком», – говорит он о себе) все же теплится ко мне живое чувство.

Мне двадцать, Кате, я думала, двадцать три. Она повыше меня, темные волосы и глаза, плакатно красивое, с правильными чертами лицо, полна, но статна. И на диво легкая и плавная походка. У такой павы отбить любимого, пожалуй, лестно для юной девчонки (по годам я не так уж юна – двадцать лет, но по опыту любовному еще совсем дитя).

Мы здороваемся. На смену убийственному взгляду – искусно наигранная не только любезная, но и вполне приветливая улыбка. (Учись, Надя: вот как можно и нужно владеть собой! А знали бы вы, Катенька, как вас подвело зеркало…)

Через два-три дня, когда Есенин выходил со мной из СОПО, собираясь меня проводить, Катя Э. решительно и требовательно к нему подошла. Сергей просит меня не обижаться – «завтра все объясню!» – и усаживает соперницу мою в пролетку.

Обиделась ли я? Нет! Я уже знаю, что той не двадцать три, а тридцать два. И в своем девическом неведении воображаю, что к зрелой женщине мне нечего ревновать Сергея. Тем более, что она… лишь предшественница. Я, точно девочка-подросток, полагаю, что настоящее чувство, одухотворенное, возможно только у молодых, с Катей же Сергея может связывать только то, что зовется физической близостью.

Мне вспомнилась недавняя беседа, проведенная в военном госпитале с санитарками и прочим женским персоналом агитаторшей из женотдела, – беседа о свободной любви, как ее понимает партия. Пожалуй, не лишним будет привести ее здесь – как характерную черту того времени.

…Не путать свободу любви с развратом! Ищешь свободы для себя – так уважай и чужую свободу. Но главное: во взаимоотношениях мужчины и женщины нужна прежде всего честность. Запретов нет – но будь честен и прям! Любовь не терпит уз! Насильно мил не будешь. Разлюбила, полюбила другого – честно объяви мужу: «Ухожу от тебя, наша связь была ошибкой». Услышала то же от мужа – не удерживай его, пусть с болью в душе, но отпусти! Можете менять мужей хоть каждый год, хоть каждые три месяца – но все делайте открыто, по-честному! Не живите сразу с двумя. Вот это уже разврат! В ретивом своем красноречии докладчица договорилась – мне не поверят, но это было так, – договорилась до того, что мужей можно менять «хоть каждый месяц, хоть каждые две недели» – с непременным, однако, условием «честного признания» и… «не жить с двумя одновременно». Любопытно, что слово «ребенок» ни разу не было упомянуто, и о детях у поборницы «свободной любви» вопрос не возникал.

На другое утро, когда я шла в госпиталь (напомню, я работала там библиотекаршей), меня нагнала санитарка Дуся, женщина лет тридцати (лукавая улыбка и чертики в глазах), спрашивает:

– Надя, скажи, ты гуляешь?

Я делаю вид, что не так поняла. Где уж мне гулять и когда! Я, мол, и у них работаю, и в университете учусь, да еще выкраиваю время, чтобы стихи писать!

– А я гуляю! – лихо объявляет Дуся. – А скажи, что вчера эта баба из женотдела толковала, чтобы не жить с двумя сразу? Это как же с двумя-то? Ложиться втроем в постель? Женщине с двумя мужиками?

Вот так-то вас поняли, провозвестница «новой» морали!

Кстати, напомню. За рубежом в те годы шла пропаганда, будто в Стране Советов осуществляется «социализация женщин», вошла-де в норму «общность жен». Года два спустя, работая на газетном каталоге в аппарате Коминтерна, я встречалась и беседовала с рабочими из самых разных стран. И все они выражали недоумение перед неожиданно трудной доступностью русской женщины. У них-де все думают, что уж раз «свободная любовь», то пальцем помани, и женщина упадет в твои объятия! Нет, уверяли они, наши уступают куда легче… И склонны были

объяснить свое разочарование… прирожденной холодностью северянок.

Письмо из Кисловодска

Двадцатый год. Лето. Спустя какое-то время после пощечины Ипполиту Соколову. Мы в моей комнате – в Хлебном. Смирно – после отбитой атаки – сидим рядышком на тахте. Есенин большим платком отирает лоб. Затем достает из кармана распечатанное письмо.

– Вот. От жены. Из Кисловодска.

Знаю, что с женой он разошелся. Но развода еще не оформил.

– Она там с ребенком. А пишет, как всегда: чтоб немедленно выслал деньги.

– Пошлете?

В голосе Есенина сильное раздражение.

– Конечно! Но только когда пройдет это «немедленно»!

А я позволяю себе вмешаться с советом: она там одна с его ребенком – приятно ли ему будет, чтоб она одалживалась у посторонних?

Есенин удивленно смерил меня взглядом:

– Вы, кажется, правы.

Саван

Двадцатый год. Жаркий летний вечер. Мы сидим рядом на оттоманке у меня в Хлебном.

– Случалось вам прямо глядеть в глаза смерти? – спросил Есенин.

– Еще как! Не раз и не два.

И я рассказываю, как меня родной брат, играя в войну, объявил японским шпионом, «поймал» и… повесил! А что еще прикажете делать со шпионом? Из петли меня вынули далеко не сразу, едва живую. Мне шел тогда пятый год, брату восьмой. Позже, на девятом году, меня за размытые косы вытащили тонущую из воды (сестра углядела издалека – «вон чьи-то волосы плавают!»). А потом, тоже при купании, меня сдуру едва не утопила толстая и очень трусливая девчонка…

– …В Черном море. Под Феодосией. А вы? Если не считать войны?

Сергей кивнул утвердительно. И рассказал, как юношей лежал он в тифу, бредил в жару… А мать открыла сундук, достала толстенный кусок холста, скроила… пристроилась к окну.

– Сидит, слезы ручьем… А сама живенько так пальцами снует!.. Шьет мне саван!

Помолчав, добавил:

– Смерти моей ждала! Десять лет прошло, а у меня и сейчас, как вспомню, сердце зайдется обидой, кажется, ввек ей этого не забуду! До конца не прощу.

Почему он сказал «ждала»? Мать ведь не ждала смерти сына, а… готовилась к ней. «Слезы ручьем!»

К тому дню он еще мало что рассказывал мне о детстве своем, о неладах в семье. Все же я поняла: саван саваном, но есть что-то поважнее, чего он «ввек не забудет» матери. Стараюсь одолеть в нем это «непрощение»: от него, думаю, больно ему самому. Да и «до конца не прощенную» мать мне вчуже стало жалко. Наша-то семья была на редкость дружная. Убежденно, точно из жизненного опыта усвоила – личного опыта, – я уверяю Сергея:

– Но это ведь так понятно! Чисто крестьянская психология: горе горем, а дело надо делать вовремя: помрет сын – не до шитья будет, саван должен лежать наготове. Она крестьянка, а не кисейная барышня, не дамочка – ах да ох! Вот и шьет, а слезы ручьем.

Есенин смотрит на меня с изумлением и словно бы изучая. Девица насквозь городская, а туда же, толкует ему про крестьянскую психологию.

С тех пор он никогда не заговаривал со мной о той давней своей обиде, им до конца не прощенной!

Но я помнила долго, всегда помнила. И спрашивала себя: почему он упорно сам в себе нагнетает это чувство – обиду на мать?

Много позже узнаю: имя тому – шизофрения.

Заглянув в себя

«Я все себе позволил». Эти слова я слышала от Есенина не раз. Всегда с глазу на глаз. Как некий девиз. Впервые – знаю твердо – еще в двадцатом году. Однако не припомню, чтобы он повторил их хоть раз по возврате из заграницы. А говорились (вернее, бросались) они Есениным без соотношения с тем, о чем шел разговор.

Словно бы ненароком он заглянул в себя.

Наш общий друг

Иван Васильевич Грузинов. Добрый, чуткий человек. Роста он

среднего, коренастый, плечистый. Тяжелое, прямоугольное лицо, вырубленные топором черты – и к этому тонкое понимание поэзии. Стихи свои с эстрады сам никогда не читает. Меня он с первых дней моего появления в СОПО дружественно опекает. Он не только одобряет – и очень – мои стихи, но ценит и манеру чтения – ритмическую подачу стиха, но без столь частого в те годы у авторов «подвывания». Когда только есть возможность, Грузинов включает меня в группу выступающих от Союза поэтов по всевозможным клубам, военным училищам – особенно если платят хлебом. Нередко поручает мне прочесть и за него – благо память у меня безотказная, прочту «без шпаргалки». Заботу свою он объясняет тем, что знает: живу одна, без родных, в голодной Москве – долго ли пропасть девчонке, тает на глазах, в чем только душа держится. Знаю, один из «кузнецов», прозаик Михаил Сивачев, увидев меня впервые на исходе девятнадцатого года, сказал Василию Казину: «Ну, эта до весны не дотянет». Друзья, однако, убедили меня взять работу «с подкормом».

Забота, привычная дружеская забота Грузинова всегда конкретна. Но ни о ком он не заботился так сердечно, с такою самоотдачей, как о Есенине. «Наш общий друг», – мысленно окрестила я Ивана Васильевича.

В тот парной летний вечер друг изловил меня в СОПО.

– Посидим, есть разговор. – И начал:

– Надя, я вижу: вы полюбили Есенина!

Молча жду, что скажет дальше.

– Забудьте, вырвите из души. Ведь ничего не выйдет.

Я усмехнулась.

– Но ведь уже все вышло.

Друг в ужасе выкатил на меня глаза.

– А Сергей уверяет, что…

– …что я не сдаюсь? Да, верно. Я не хочу «полного сближения». Но понимаете… Я себя безлюбым уродом считала. А тут полюбила, да как! На жизнь и смерть! Немецкому учились?

– Ну, учился…

– Все гимназистки знали когда-то эти строки Гёте:

Und doch, welch Glück, geliebt zu werden!
Und lieben, Götter, welch ein Glück! —

и сама перевожу: – Однако, какое счастье – быть любимым! А любить, о боги! – какое счастье! – Гёте… Уж на что он знал толк в любви, а ведь значит это, что любить большее счастье, чем быть любимым. Ну, а Есенин… Он вроде завидует силе моего чувства… Не верите?

Тут я напомнила Грузинову строки Тютчева о «жалком чародее»…

И самого себя, краснея, сознаю
Живой души твоей безжизненным кумиром.

И правда: я не так воюю за встречную любовь, как берегу в себе неугасимый огонь. «Не требуя награды». Или мне только кажется, что не требую?

«Я с холодком». И пятнадцать вопросов

– Я с холодком, – любит повторять Есенин. Верно, думал своим «холодком» остудить в девичьем сердце жар, а получилось… Получилось, как если выплеснуть в костер ковшик воды: поднимется чад, но пламя не погаснет. Следом за «холодком» снова и снова шло уверение, что он будто бы не способен любить «по-настоящему». Мне не казалось это странным: Есенин слишком поглощен поэзией. Но, точно всматриваясь в себя, он помолчит и добавит – непременно добавит:

– Не скрою, было, было. В прошлом. Сильно любил. Но с тех пор уже никогда. И больше полюбить не смогу.

Эти его слова я передаю если не буквально, то очень близко.

А тогда… Я вдруг сразу сказала:

– Кашину! Ее?

На ревнивую догадку навела «Зеленая прическа» с посвящением Лидии Кашиной.

– Ну, что вы! Нет! – небрежно бросил Есенин. «Слишком небрежно», – отметила я про себя. Но не выдала недоверия.

В другой раз я сказала:

– Знаю, кого вы любили: жену! Зинаиду Райх!

Последовало рьяное отрицание.

Но к тому времени я уже научилась не слишком доверчиво принимать рассказы Сергея о самом себе. Слушаю, бывало, и мне вспоминается маленький мой приятель, Садя (Саади) Мазе, сын известного московского раввина. Мне восемь лет. Саде немногим больше. Детскими лопатками в четыре руки превращаем большой сугроб в фантастическую крепость, и мальчик убежденно рассказывает мне, как побывал в плену у пиратов и сделался их атаманом. Я слушаю, подбираю самые дикие объяснения несообразностям рассказа. Последнее, что приходит в голову: «Туда же – уши развесила! Мальчишка просто врет!»

Вот так и тут. Слушаю рассказ Сергея о том, как он, молодой поэт, сидит на задворках дворца (Зимнего? Царскосельского? Назвал ли он? Не припомню), на «черной лестнице» с Настенькой Романовой, царевной! Читает ей стихи. Целуются… Потом паренек признается, что отчаянно проголодался. И царевна «сбегала на кухню», раздобыла горшочек сметаны («а вторую-то ложку попросить побоялась»), и вот они едят эту сметану одной ложкой поочередно!

Выдумка? Если и выдумка, в сознании поэта она давно обратилась в действительность. В правду мечты. И мечте не помешало, что в те годы Анастасии Романовой могло быть от силы пятнадцать лет. И не замутила идиллию память о дальнейшей судьбе всего дома Романовых. Я слушаю и верю. Еще не умею просто сказать: «А не привираешь ли, мальчик?» Напротив, я тут же примериваюсь: не царевна ли та твоя давняя подлинная любовь? Но уж тогда свершившееся в Свердловске не могло бы не перекрыть кровавой тенью твой горшочек сметаны!

Меня разбирал азарт: я должна выяснить! И решаю сыграть в «пятнадцать вопросов».

Этой игре научил меня на пароходе попутчик – студент-историк. Мне было тогда тринадцать лет. Мы ехали – мама со мной и другими детьми – на крошечном норвежском пароходике из Петербурга в Або (Обу, Турку). Пассажиров – раз, два и обчелся. Со скуки попутчик предложил мне эту игру.

Вы должны задумать историческое лицо. Вам задаются вопросы. Отвечать положено «да» или «нет». На пятнадцатом вопросе партнер должен выявить, кто вами задуман. Помню, для начала я избрала индийского царя Пора, побежденного Александром Македонским, и мой партнер уже с тринадцатого вопроса преподнес мне его, как на блюдечке. Я, однако ж, быстро переняла его метод и стала первостатейным мастером этой игры.

Казалось: долго ли разгадать? И вопросы не ограничены числом, и ответы возможны не односложные…

В ближайшие пять-шесть встреч я неторопливо накапливаю ответы Есенина на свои вопросы. Заданные порой некстати, они застают его врасплох, и тогда больше вероятности, что ответит правдиво. Но увы! Я вскоре заметила, что, спрашивая иной раз одно и то же, но в разном повороте, я получаю ответы, взаимно исключающие друг друга! И с грустью убедилась, что партнер ведет игру «не по правилам». Дней через десять я пришла к тому, с чего приступила: Зинаида Райх (почти достоверно!). Менее вероятно – царевна (мною заранее отвергнутая по соображениям психологическим). И лишь через год снова вернулась к мысли, что и Кашину не следовало сбрасывать со счетов – только лишь

по прямому отрицанию Сергея. Но – говорила я себе – «Let the dead Past bury its dead». («Пусть мертвое прошлое хоронит своих мертвецов». – *Н. В.*)[11]. А что мучительную свою любовь к жене, любовь-ненависть, Есенин далеко не изжил, – в этом я во все годы моей дружбы и близости с ним и его с ней разрыва не сомневалась никогда. И не поверила я его поэтической похвальбе (пусть высказанной якобы устами его матери): «Свою жену легко отдал другому!»

Первое стихотворение

Лето двадцатого года. Мы у меня в Хлебном. Вдвоем. Есенин спрашивает меня, каких лет я начала сочинять стихи. Рассказываю:

– Стихи люблю с пеленок. Когда при мне пели (мне и двух еще не было), бывало, сфальшивят – стерплю, а слова перепутают – сержусь. В песнях безошибочно передавала ритм. Мама думала, у нее Моцарт растет, а это была не к музыке тяга, а к стихам. Первое цельное стихотворение сложила в пять лет – восемь строк. В них не было ничего своего, подражание плохоньким детским песенкам… А вы? С каких лет вы начали?

– Я позже. – И сразу перевел разговор на другое.

Прощаемся. Уже в дверях на лестницу Сергей вдруг повернулся. Шаг назад. Сказал:

– Вот мои первые четыре строки. В восемь лет сложил.

И я услышала каждому сегодня знакомое:

Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход,
Клененочек маленький матке
Зеленое вымя сосет.

– Вот оно как! – рассмеялась я. – Сразу имажинизм!

Мне сказал: в восемь. Пять лет спустя, открывая этими строками собрание сочинений, отнес их к пятнадцати годам (помечено 1910 годом). И тут я заподозрила, что написаны они… не в тот ли день, когда он мне их прочел? Но сразу-то поверила: да, в раннем детстве; хотя, подумалось, разделал под имажинизм лишь недавно.

Надо ли добавлять, что с одного прочтения, с голоса, я запомнила их наизусть.

В гостях у Пушкина

Хозяин стоит чугунный, в крылатке, шляпа за спиной. Стоит еще лицом к Страстному монастырю. А мы, его гости, сидим рядком на скамье. Втроем: я в середине, слева Есенин, справа Мариенгоф. Перед лицом хозяина Анатолий отбросил свою напускную надменность. Лето, губительное жаркое лето двадцатого года в разгаре.

– Ну как, теперь вы его раскусили? Поняли, что такое Сергей Есенин?

Отвечаю:

– Этого никогда до конца ни вы не поймете, Анатолий Борисович, ни я. Он много нас сложнее. Вот вы для меня весь как на ладони, да и я для вас… (тень обиды легла на красивое лицо Мариенгофа). Мы с вами против него как бы только двумерны. А Сергей… Думаете, он старше вас на два года, меня на четыре с лишком? Нет, он старше нас на много веков!

– Как это?

– Нашей с вами почве – культурной почве – от силы полтораста лет, наши корни – в девятнадцатом веке. А его вскормила Русь, и древняя и новая. Мы с вами россияне, он – русский.

(Боюсь, после этой тирады я нажила себе в Мариенгофе злого врага.)

Рассуждая так, я несколько кривила душой: умолчала, что кроме «девятнадцатого века» во мне живет и кое-что от древних культур, от Ветхого Завета, которого добрую половину я в отрочестве одолела в подлиннике. Далеко ли ушли в прошлое те годы, когда мне чудилось, что я старше своих гимназических подруг на две тысячи лет?

Сергей слушал молча, потом встал.

– Ну, а ты, Толя? Ты-то ее раскусил? – и, простившись с другом и с хозяином, зашагал вниз по Тверскому бульвару, провожая меня.

Имажинисты о Маяковском

Лето двадцатого. Как-то читаю Грузинову и Есенину новые стихи. По образному строю, соглашаются оба, стихи хорошие, но… Грузинова не устраивает, что слово «рут» (родительный множественного от «рута») при чтении звучит, как «руд». А Есенин справедливо бракует рифму «косым» – «косы» («Навстречу дня глазам косым Ущербный звон срывает ветер С моей разметанной косы»): слова «коса» и «косой» – одного корня. На нашем жаргоне это называлось «рифмовать полковника с подполковником».

– Рифмуете, как ваш Маяковский!

– Если принять ваши же позиции, что в поэзии самое ценное – образ, «мой Маяковский» окажется самым блистательным имажинистом.

– Дайте пример, – спорит Грузинов.

Читаю из «Флейты-позвоночника»:

Буре веселья улицы узки,
праздник нарядных черпа́л и че́рпал.
Думаю.
Мысли,
крови сгустки,
больные и запекшиеся лезут из черепа.

– Ну, вот, как я и говорил: рифмует «череп» и «черпал»! – торжествует Есенин. – «Череп», «черпак», то, чем «черпают». Поэт, а к слову глух. Начисто не слышит!

Вспоминаю сегодня эти наши споры и думаю: чем дальше, тем меньше, право, молодые поэты вслушиваются и вглядываются в слово.

И еще отмечу: наши оценки, разборы редко когда касались существа стихотворения: они большей частью сводились к замечаниям, касающимся формы или даже просто техники стиха.

Папироса

Лето 1920 года.

На обратном пути после какого-то литературного вечера мы с Есениным долго гуляли вдвоем – по Тверскому бульвару, по Тверской… Посидели «в гостях у Пушкина».

– Я что-то проголодался. Зайдем, что ли, в СОПО поужинать? Пока не поздно.

Входим. Программа давно закончилась. Народу совсем мало. Во втором зале, где питаются члены СОПО, и вовсе почти никого. Только в среднем ряду, за столиком ближе к кухне, одиноко сидит, пуская дым, Маяковский. Мы занимаем столик в том же ряду, но ближе к зеркальной арке.

Официантка виновато объясняет, что мясного ничего не осталось, и вообще нет ничего – только жареная картошка, да и та на подсолнечном масле.

– А я люблю картошку на подсолнечном масле! – смиренно говорит Сергей.

Продолжаем свою беседу. Маяковский осуждающе

поглядывает на нас. Возможно, вспоминает, как два года назад в Кафе поэтов в Настасьинском он увидел через мое плечо, что я в его книжке («Человек») на чистых спусках страниц записываю стихи, попросил показать – а я испуганно отказалась. Было и такое: одеваясь в гардеробе, сопровождавший меня Владимир Масс нарочито громко, чтоб услышал и Маяковский, спросил меня: «Неужели, Надя, вы и в самом деле знаете наизусть все поэмы Маяковского?» И я буркнула в ответ: «Знаю. У меня хорошая память». Теперь, верно, думает: «Туда же, Лель записной, обольщает незрелую девчонку! (Я выглядела всегда моложе, чем была.) Да еще мою приверженку!»

Пока нам жарят картошку, Сергей спохватился, что у него кончились папиросы. А поздно! Уже мальчишки-папиросники – «Ява, Ява! Ира рассыпная!» – закончили работу.

Растерянно оглядывается. Кивнул на Маяковского.

– Одолжусь у него.

Встает, подходит.

Веско, даже величественно, Маяковский не говорит, а произносит:

– Пожалуйста! – и открывает портсигар.

– А впрочем, – добавляет он, точно дразнясь, и косит на меня бычьим глазом, – не дам я вам папиросу!

На лице Есенина недоумение и детская обида. (Да, именно детская! В эту минуту он мне дорог вдвойне. Я напомнила себе: «А ну, женщина, найди дитя в мужчине». Кто мудрый это сказал?) Сергей говорит мне, прежде чем снова сесть на уже отодвинутый стул:

– Этого я ему никогда не забуду!

Он знает, что я свято храню верность знамени Маяковского; что я усердно всегда учила других (и в первую очередь – младшего брата моего Михаила) чтению его своеобычного, «свободного», но такого ритмически проработанного стиха! Что в нем молодежь чтит первого поэта наших дней. А здесь, в СОПО, все кругом, и особенно имажинисты (кроме самого Есенина) спешат его развенчать: «Да какой он поэт! – шумит, например, Иван Грузинов. – Он горлопан!» А я постоянно возражаю, что выде все раздавлены мощью его стиха и только жалко попискиваете из-под его подошвы.

Ужин благополучно подан и уничтожен. Пьем чай. Как он нужен в эту теплую ночь после очень жаркого дня! Стрельнув глазом на соседний столик (Маяковский грузно поднимается), Сергей отчеканил:

– Увидите, года не пройдет, и я его съем!

(Это значило: превзойду.)

В те годы для многих и многих поэтов самовосхваление было как бы литературным приемом. «Я гений Игорь Северянин!» – прокричал один. «Славьте меня, я великим не чета», – требует Маяковский. Самохвальная надпись Мариенгофа на даримой книжке: «Надежде Вольпин от умного, красивого, одаренного Мариенгофа» – все это не бахвальство, а, скорее, мода. Есенин ей не следует впрямую. Он бережно несет в себе давно народившегося, но еще не вставшего во весь рост большого поэта. И, конечно, уже сегодня – до «Сорокоуста», до «Исповеди хулигана», до «Пугачева» – знает себе цену. И точно назначает срок: «через год!»

Мой товарищ собрался в отъезд

Поздно вечером захожу в СОПО. В зале поэтов, у самой арки слева, сидит с друзьями Есенин. Молча приглашает меня занять с ним рядом свободный стул… Но меня сразу – еще под аркой – перехватил Зильбер; просит послушать перед его отъездом (окончательным!) в Петербург новое его стихотворение. Он-де знает: только я дам оценку искренно. Я не могу отказать другу, сотоварищу по нашей «Зеленой мастерской». И взглядом пытаюсь унять откровенное нетерпение Сергея.

Мы садимся за столик во втором ряду – наискосок и очень близко от компании Есенина. Веня читает.

Отзыв мой строг. Я пробую объяснить юноше, что беда не в технике: технически стихи оснащены неплохо. Но это чистая версификация, я не чувствую в ней дыхания жизни поэтов. Указываю, впрочем, достаточно придирчиво (менторски) и на некоторые недочеты технического порядка. Автор в жестокой обиде.

– Надя, – упрекает он, – вы нарочно говорите очень громко (это я-то с моим слабеньким голосом!) и поглядываете все на Есенина, чтоб он оценил, как вы умно разбираете стихи!

Я еле сдерживаю смех: вот как понято наше переглядывание! Отмечаю про себя, что моя влюбленность еще не породила устойчивой сплетни. И чтоб успокоить друга (я искренне считала Веню другом), соглашаюсь выйти с ним минут на десять на воздух. В зале и впрямь душно.

Я в этот вечер – жаркий летний вечер двадцатого года – особенно явственно ощутила себя против Есенина девчонкой: такая же невзрослая девчонка, как Веня Зильбер кажется мальчиком против меня…

Наша «ложа»

Есенин вернулся из поездки по Украине: побывал в Харькове (в двадцатом году – столице республики), в других городах. За это время в Москве много нового. Открылась Литературная студия Наркомпроса, где читают Вячеслав Иванов, Андрей Белый, щедро делясь с молодежью наблюдениями и навыками… Приехала из Одессы шалая и очень даровитая поэтесса Аделина Адалис – Айя, как она себя зовет… Кружит головы молодежи доморощенная Аспасия – поэтесса Наталья Бенар. А у меня главная новость – приезд сестры, преспокойно водворившейся ко мне в комнату. Есенин стесняется при ней заходить ко мне, но, проводив до дому, не спешит проститься. Я живу на четвертом этаже. Медленно поднимаемся по отличной пологой лестнице. Третий этаж. Здесь усаживаемся на широком, низком подоконнике. Точно в ложе. И ведем нескончаемый разговор. Так уже много вечеров подряд.

Сегодня изливаюсь я. Жаркая исповедь – и упорное сопротивление ласке.

– Говори, говори! Мне радостно слушать, когда тебя вот так прорвет!

Думаю: еще бы! Ведь я ему говорю о нем. Не только о моей любви – о нем! Мысленно отмечаю это редкое между нами «ты». И вдруг с удивлением вижу на глазах Есенина слезы.

А я, как будто в ласке, но, сдерживая ласку, зажала его ладони в своих:

– Что, сердитесь на меня? Больше никогда и не заглянете?

– Нет, почему же. Может быть, так и лучше…

И, помолчав, добавляет:

– В неутоленности тоже есть счастье.

Появляется Бениславская

Память говорит: три двадцатки. Двадцатый год, двадцатое сентября, двадцать градусов мороза.

Впрочем, по градуснику никто не сверялся – это по агентству ОГГ – «один гражданин говорил…».

Верно то, что я, едва приехала из Кисловодска – и сразу вместо бабьего лета угодила в зимнюю стужу. Лег снег, завернул мороз – и без оттепелей, без послаблений зима вступила в свои права. Москвичи поначалу шутили: «Живем, как в раю – ходим голые, едим яблоки». Но стало не до шуток. Накручиваем на себя что потеплей, а сочную антоновку сменила коричневая «рязань».

Я больна. Паратиф. Температура за сорок. В жару слагаю стихи, и они мне кажутся неизмеримо лучше всего, что писала раньше. На пятый примерно день зашел меня проведать Яков

Семенович Шихман (в будущем прозаик Я. Рыкачев), заставил мою сестру принять от него деньги взаймы да принес кое-какую снедь. Поражен, что при такой температуре (40,8°) я в полном сознании, только слишком много говорю – много и возбужденно. Прощаясь, он что-то шепнул сестре, скрывая от меня. Но Люба тут же мне выложила: Есенина забрали. Провалялась я недели две.

Как встала, я каждый вечер захожу в СОПО узнать, что слышно о Есенине. Отвечают мне неохотно и не очень правдиво. Или это мне вообразилось – со страху за Есенина? Время бурное, тут и без вины пропасть недолго!

…Поздний вечер. Отчитав с эстрады свои последние стихи, я прошла в зал поэтов. Ко мне сразу подступили две молодые женщины. Одна – высокая, стройная, белокурая, с правильным, кукольно-красивым и невыразительным лицом; назвалась Лидой, без фамилии. Вторая – среднего роста, нескладная, темнокосая, с зелеными в очень густых ресницах глазами под широкой чертой бровей, тоже очень густых и чуть не сросшихся на переносье. Лицо взволнованное, умное: Галина Бениславская. Просят меня разузнать в правлении СОПО о Есенине – где он сидит и по какому делу. Я отклоняю просьбу:

– Спрашивала. Мне не ответят.

Те не поверили, настаивают. Думают, глупые, что во мне говорит обывательский страх. Страх-то есть, но страшусь не за себя.

– Я не из пустого любопытства, – сказала наконец темноволосая. – Я могу помочь.

Услышав «могу помочь», я решилась вызвать к ним Грузинова: он у нас секретарь правления и, знаю, предан Есенину.

Вызвала, и тут же меня взяло сомнение: если может помочь… значит, может и навредить? Ну, Грузинов не дурак, сообразит, как повести себя с объявившейся вдруг помощницей.

Оранжевая щетина

Мне давно разъяснили, что произошло. Есенин пришел пообедать в частную столовую (их было в Москве немало, этих «домашних кухонь») и угодил в засаду. Замели всех подряд, и хозяев и посетителей.

Справляюсь ежедневно – вечером в СОПО, днем в книжной лавке «Художников слова» (близ консерватории). Чем черт не шутит, может, впрямь темнокосая помогла?

Мороз нещадный – даром, что только октябрь. С трудом открываю примерзшую входную дверь и еще с порога вижу за прилавком самого Есенина. Он радостно рванулся навстречу – и

вдруг застыл, испуганно прикрывая заросшие щеки тыльной стороной ладоней. Нет, не того испугался, что небрит: на щеках сияет сквозь раздвинутые пальцы ярко-оранжевая щетина! Никогда: ни до, ни после того дня я не видела рыжинки на его щеках, всегда тщательно выбритых и запудренных. Эти густо напудренные щеки не раз упоминает и английский писатель-славист Гордон Маквэй в своей книге «Изадора и Есенин»[12].

Я уже готова была приписать оранжевый цвет щетины какому-то световому эффекту вечереющего дня… Но вот вышел «Роман без вранья». Мариенгоф тоже – и в той же связи – упоминает вскользь «рыжую щетину» на щеках Есенина.

В дальнейшем узнала: кому бы ни был обязан Сергей Есенин выходом на волю (считается, что Малкину из Главпечати), Галина Артуровна Бениславская уверила его – и напрочно! – что и она подтолкнула дело и что в ней он всегда найдет защиту!

Пусто внутри

Тяжелая для меня пора. Вы́ходив меня, Люба, сестра, тут же слегла сама: какой-то затяжной истерический приступ. Показывает мне белый платок, уверяя, что харкает кровью. Требует: «Ты за мной ухаживай, как я ухаживала за тобою». К этому хозяйственные трудности, чуть не голод. Часто приходится таскать воду ведрами от соседей в первом этаже к нам, на четвертый. Пилить и колоть дрова для «буржуйки»: октябрь, а уже морозы! Но что хуже всего: пока я прохлаждалась на Кавказе, Люба упустила свою комнату в нашей же квартире, которую мне удалось для нее выхлопотать, вселилась ко мне и… ввезла мамин рояль! Да бегай по урокам, да посещай занятия в литературной студии!

Кажется, быт совсем засосет меня, и уж не знаю, как пробивается сквозь него родничок стиха.

Лавка заперта, но дрова в печурке не прогорели. Мы сидим вдвоем у огня, Есенин и я, он мне читает – из «Сорокоуста» ли, из «Исповеди хулигана»? – требует, чтоб и я прочла свое. Читаю что-то о «серебре волос». Его удивило: разве я чувствую себя старой?

Бурная атака – с ума он сошел, прямо перед незанавешенной витриной! Хрупкая с виду, я куда сильней, чем кажусь. Натиск отбит. Есенин смотрит пристыженным и грустным. И вдруг заговорил – в первый раз при мне – о неодолимой, безысходной тоске. О том, что у римлян называлось taedium vitae[13]. Это не его, мое обозначение.

– А у вас так бывает? Пусто внутри? И вроде жить наскучило?

Говорю в ответ, что тоска у меня иная: как жажда нового; или

как горе, но от него только полней душа. А пустота внутри? Нет, это мне не знакомо.

Уверяю Сергея, что и у него это не то: он слишком выложился в стихах – ведь написал так много, с такою полной отдачей! Поэзия берет человека всего целиком. Тут не может не остаться ощущения (нарочно говорю «ощущения», а не «чувства») внутренней пустоты.

– Полюбить бы по-настоящему! Или тифом, что ли, заболеть!

«Полюбить бы» – это, понимаю, мне в укор. А про тиф… Врачи тогда говорили, будто тиф (сыпной) несет обновление не только тканям тела, но и строю души.

Угольки, однако, давно прогорели, нам пора.

Выходим вместе. Идем переулками, пересекаем Тверскую. Большая Дмитровка. Здесь нам расставаться, Сергею налево, мне прямо. Бросив «до свиданья!», иду наперерез мостовой. Вижу и не вижу: бешено мчащийся кабриолет. Стоящий в рост возница.

Над головой занесено копыто. Блеск подковы в глаза. Жар конского дыхания на щеке. В плечо крепко впились пальцы друга. Рывок. Мы снова рядом на тротуаре.

Видение – конь, кабриолет, возница в рост – пронеслось мимо.

Как он успел? Мгновенная быстрота реакции, меткое движение руки! Вот когда я поверила, что в войну Есенин какое-то время и впрямь работал наездником в цирке.

А сейчас… как он грустно и участливо смотрит мне в лицо!

– Что с тобой? Ведь видела – и не уклонилась. И на днях, когда в лавке обрушились над головою трубы, угли на тебя посыпались горящие, – ты и бровью не повела.

Да, было и это. И тогда он вот с такой же точностью реакции выхватил меня из-под рухнувших накаленных труб.

– Зачем же неправду сказала? Знаешь и ты эту тоску и пустоту. Будто все равно – жить или не жить.

Все это так и говорилось – на «ты». Точно вырвалось само собой из сердца.

– Да нет, нет! Это только… только рассеянность.

Не могу же я втолковать ему правду. Во мне не моя, а его тоска. Постаралась вернее понять ее, чтобы, поняв, преодолеть и ему же потом помочь.

Острое чувство радости. И не тому я рада, что он – дважды за эти дни – спас меня в беде; мне ясно: одоление опасности словно разбудило и в нем радость жизни, подняло новый вал душевной силы.

«Канатоходец» выдержал испытание.

Новая надпись

Осень двадцатого – или январь двадцать первого?

У Есенина и у Мариенгофа одновременно вышло по новой книжке стихов, помнится, обе нетолстые, продолговатые. Что именно? Затрудняюсь назвать. У Есенина, возможно, «Преображение» (повторным изданием). Встреча с обоими в книжной лавке. Анатолий преподносит мне свою книжку с той характерной для него нескромной надписью.

Протягивает мне книжку и Сергей. Читаю надпись. То же, что проставлено было на «Трерядинице». Мне промолчать бы – ведь повторение лишь усиливало смысл. Но я не утерпела и, как бы усмотрев в новой надписи только дешевую игру слов, да еще и вовсе обесцененную повторением, сказала:

– Такую надпись вы мне уже сделали в прошлый раз.

– Дайте книгу! – с сердцем потребовал Есенин и вписал, втиснув перед подписью, добавочную строку. Теперь можно было прочесть:

Надежде Вольпин
с надеждой,
что она не будет больше надеждой.

Сергей Есенин.

– Как это прикажете понимать? – я спросила.

Есенин с вызовом:

– Взял и вывернул.

…Обиделся. И не забыл обиду!

С той поры он уже никогда не дарил мне своих книжек, ни с надписью, ни без надписи.

Словарь Даля

Среди поэтической молодежи, толкущейся вечерами в кафе СОПО, завелся академик. Смотрит строго, придирается к ударениям, к формам слов… Что знает, на том стоит непреклонно. Ух, и досталось бы от него по части ударений Николаю Алексеевичу Некрасову! Зовут академика Теодор Левит, а лет ему шестнадцать. Есть в нашем тесном кругу еще один знаток по части ударений – музыкант и поэт Георгий Николаевич Оболдуев – друг мой Егорушка. Как-то в споре с одним из них понадобилось мне проверить какое-то слово. Заглянуть бы в Даля (сейчас, на исходе двадцатого года, еще нет словарей поновее)!

Встретившись через денек с Есениным, я вспомнила, как недавно он при мне горячо нахваливал друзьям «гениальное творение Даля». Вот и спросила:

– Есть у вас Даль?

– Нет.

– А в лавке у вас на продажу не выставлен?

– И в лавку давно не приносили. Почему спрашиваете?

– Да поспорила о слове, надо проверить… Вы разве никогда себя ни в чем не проверяете?

– Проверять? Зачем? – и гордо добавил: – Язык – это я.

РЕЛЬСЫ

Август. Рельсы спицами,
Пар в пыли клубится.
К югу лист исписанный
Развернули птицы.

К полдню златокудрому
Обернусь я круто:
Ты в путях, возлюбленный,
Жизнь мою запутал.

И, как лес безлиственный
Все по лету дрогнет,
Так с тобой исписано
Полотно дороги.
И, как злыми рельсами
Узел жизни стянут,
Так тобой истерзана
Глупенькая память.

Август. Дни ущербные
Режет ночь серпами.
Злак волос серебряный
Сбереги на память.

Ведь недолго мне в лицо
День любезен будет:
Через шею колесо —
И разрезан узел!

1921

Часть вторая
Отравленное счастье
(1921–1922)

Тучи, пойманной в колодце,
Журавлиная тоска.

Принцесса Брамбилла

Весна двадцать первого. У Таирова с шумным и спорным успехом идет «Принцесса Брамбилла». Кто-то усудобил мне билетик. Но идти в театр одной? Не так это соблазнительно. Спрашиваю у Есенина, стоит ли смотреть.

Он отвечает с жаром:

– Стоит ли? Нужно! Необходимо! Непременно посмотрите. Красочно, празднично! То самое, чем должно быть театральное зрелище.

Не об актерской игре, не о постановке, режиссуре, наконец, не о самой пьесе Гофмана: он отозвался о спектакле со страстной своей похвалой именно как о зрелище – и только.

Проверить отзыв поэта мне не удалось – по каким-то обстоятельствам пришлось переуступить свой одиночный билетик.

Помнится, в репертуаре Камерного «Брамбилла» продержалась не очень долго. Не сохранилась она и в памяти театрального зрителя, не то что ее младшая соперница «Принцесса Турандот» (о той даже частушки слагались). Может быть, как раз потому, что представляла собой не более как «театральное зрелище»?

Непреклонная

Осень двадцатого года. А где происходил тот вечер, не скажу: в Большом ли зале консерватории? В Колонном ли зале? Только не в Политехническом – это помню твердо. Есенин читает новые поэмы – «Сорокоуст», «Исповедь хулигана». Я в задних рядах – пришла, как всегда, поздновато. На эстраде слева сидят тесной стайкой радостные и гордые этой честью друзья поэта, все больше девушки: Бениславская с подругами и… и какая-то совсем новая фигура – немолодая женщина, темноволосая. Сидит очень прямо, руки на коленях, как у каменного Рамсеса, ни тени улыбки на длинном лице… «Классная дама», назвала я мысленно

незнакомку. В перерыве справляюсь о ней у Сусанны Мар[14].

– Пожилая? Где?

– Вторая справа от Гали Бениславской.

Сусанна смеется. Издалека она и впрямь смотрится пожилой. Нет, это совсем молоденькая девушка. Из Харькова. Отчаянно влюблена в Есенина и, заметь, очень ему нравится. Но не сдается (не в пример своим сестрам и стихолюбивым подругам!). Словом, Женя Лившиц.

Столь полных сведений я не ждала. Сусанна поистине справочное бюро! К ней, как по речкам в озеро, стекается всяческая информация.

Вблизи харьковчанка оказалась стройной худощавой девушкой со строгим и очень изящно выточенным лицом восточного, пожалуй, склада. Глаза томные и грустные. Сжатые губы. Стихи слушает жадно – во все глаза!

Впредь я буду встречать ее довольно часто, то на вечерах в Политехническом и Доме печати, то в книжной лавке имажинистов (у консерватории). Живо запомнилась такая картина: они стоят друг против друга, разделенные прилавком, Женя спиною к окну витрины, Есенин – на полном свету. Взгляд Есенина затоплен в черную глубину влюбленных и робких девичьих глаз, рука поглаживает аккуратно выложенные на прилавок кисти покорных рук. За парой наблюдает слева – иронический и добрый взгляд Айзенштата, справа – мой. Что читает девушка в завораживающих глазах поэта? Ответную влюбленность? Нет, скорее пригласительную нежность. Ее девическая гордость требует более высокой цены, которой не получает.

А вот и другая встреча, не такая мимолетная. Весна двадцать первого года. Богословский переулок. Дверь на мой звонок Есенин отворяет сам. Вводит в комнату.

– Не ждали? Я по делу. Выложу и сразу побегу.

– О делах потом, – перебивает Сергей. – Быстро не отпущу, раз уж вы тут. В кои-то веки снизошли!

Квадратная комната. Вдоль окна – с отступом для стула – большой прямоугольный стол (не письменный), на нем в углу сдвинутая работа и кучка книг. С торца налево сидит девица – знакомая прямая посадка, «как аршин проглотила». Нет, не аршин… не классная дама: скорее первая ученица, готовая дать заученный ответ. Глаза не выдают и тени недовольства моим несвоевременным вторжением.

На столе появляется чай – полутеплый. Сперва неловкое молчание, потом вялый общий разговор. Женя спрашивает вдруг Есенина, умеет ли он рисовать. Я попадаю в детский сад. Не

классная дама, не первая ученица… Трехлетняя Женечка спрашивает пятилетнего Сережу: «Ты умеешь рисовать?» И тот в ответ, резко: «Нет. А ты?» «Я умею рисовать уточку». И Женя – Евгения Исааковна Лившиц – старательно выводит на листке бумаги лежачий овал – тело птицы; слева кружок с клювом – головка; справа палочки веером – хвост.

А я поясняю деткам, что на тот же вопрос «умеете вы рисовать?» Скрябин будто бы ответил: «Не знаю, не пробовал». Только вот не припомню, от кого я это слышала. Мне хочется взять карандаш, нарисовать всадника на буйном коне, но нельзя, выйдет похоже на бахвальство.

Женя спохватилась, что ей пора. Поднимаюсь и я. Меня Сергей не отпускает: «Вы же по делу! Поговорим».

Как живо все это вспоминается мне, когда годы спустя Сергей, раздраженно и явно в угоду Бениславской, скажет при мне в больнице на Полянке про Женю Лившиц:

– Она будет мужу любовь аршином отмерять.

Уж не тем ли проглоченным аршином, который не дает согнуться горделивой спине?

В ту первую ночь

Весна двадцать первого. Богословский переулок. Я у Есенина.

Смущенное:

– Девушка!

И сразу, на одном дыхании:

– Как же вы стихи писали?

Если первый возглас я приняла с недоверием (да неужто и впрямь весь год моего отчаянного сопротивления он считал меня опытной женщиной!), то вопрос о стихах показался мне столь же искренним, сколь неожиданным и… смешным. Вихрем пронеслось в уме:

«Вот как, и ты разделяешь дешевую мужскую философию о роли половых гормонов в творчестве… Совсем недавно Сергей Буданцев толковал мне, что родись я мужчиной, то при моем-де даровании я развернулась бы в поэта первого ранга… Ну, с того и спросу нет – умен, но пошловат… А Есенин… Но, значит, все-таки признаешь ты во мне подлинного поэта…»

И еще сказал мне Есенин в тот вечер своей запоздалой победы:

– Только каждый сам за себя отвечает!

– Точно я позволю другому отвечать за меня! – был мой невеселый ответ.

При этом, однако, подумалось:

«Выходит, все же признаешь в душе свою ответственность – и прячешься от нее?» Но этого я ждала наперед.

Не забыл напомнить мне и свое давнее этическое правило: «Я все себе позволил!»

К кому ты сейчас примериваешься, Сергей Есенин? Повеяло Достоевским, хоть никогда я не слышала от тебя этого имени… И память услужливо подсказала: «Ставрогин!»

На миг мне сделалось не на шутку страшно. Не за себя.

А надо всем звенела радость полного сближения. Для него, как и для меня.

Позже поняла: это есенинское правило «я все себе позволил» – правило не так этическое, как эстетическое – не очень-то подтверждалось его поведением в жизни. Этими словами он лишь внушал самому себе, что поэт – человек, живущий для искусства, – не должен подчинять себя каким бы то ни было запретам, нравственным ограничениям. Недаром, когда он определится как поэт в полном смысле советский, добровольно поставивший себя в известные границы, Есенин отбросит это правило: «я все себе позволил». И повторю: после его возвращения из заграницы я уже никогда этих слов от него не услышу.

Особенный взгляд

С Есениным нередко бывало такое: среди разговора, для него, казалось бы, небезразличного, он вдруг отрешится от всего, уйдет в недоступную даль. И тут появится у него тот особенный взгляд: брови завяжутся на переносье в одну черту, наружные их концы приподнимутся в изгибе. А глаза уставятся отчужденно в далекую точку. Застывший, он сидит так какое-то время – минуту и дольше – и вдруг, встрепенувшись, вернется к собеседнику. Так происходило с ним и наедине со мною, и за столом в общей небольшой компании. Позже тот же взгляд я приметила у Кати Есениной. Решила, что девочка переняла его у брата, во многом усердно ему подражая в свои пятнадцать лет.

Но вот и мой малыш месяцев семи, качаясь в люльке, нет-нет, а уставится вдаль. Тот же взгляд! И я безошибочно узнала, что это не какая-то выработанная манера ухода от окружающих, а нечто прирожденное – и у Сергея, и у Кати… и у моего мальчонки. У Шуры Есениной, мало похожей на брата (она в мать, а Сергей и Катя явно в отца), я никогда не наблюдала этого есенинского взгляда.

Наши споры

Мы часто говорим – а то и спорим – о формальных приемах в поэзии.

– У Маяковского, – укажу, бывало, – превосходные образы! – И цитирую:

А у мчащихся рек на взмыленных шеях
Мосты заломили железные руки.

– Скажете, плохо?

Есенин в ответ (разговор был еще в двадцатом году, до моего вступления в ряды имажинистов):

– А это не образ – это рассказ, «фельетон», «сотворение мифа».

Имажинистов часто попрекали подменой понятия «поэтический образ» просто метафорой. К тому же построенной если не на прямом сравнении – «как», «словно», «будто», – то посредством родительного падежа или творительного, например:

1) Родительный падеж:

Веслами отрубленных рук
Вы гребетесь в страну грядущего.

(Укажу попутно: Есенин произносил: «вы хребетесь в страну хрядущего» – с глухим «х»!).

2) Творительный падеж:

По́ пруду лебедем красным
Плавает тихий закат.

Первым из этих приемов Есенин пользовался чаще, чем вторым.

Как-то в беседе со мной Иван Никанорович Розанов (в прошлом – мой гимназический учитель литературы) заметил, что у Пастернака можно часто встретить образы, построенные не на метафоре, а на метонимии[15]. Я же назвала любимый прием имажинистов «аблативус, или генитинус имагинис», памятуя, как на уроках латыни мучили гимназистов всевозможными видами употребления этих падежей.

Но шли – нет, не годы – месяцы, и менялись установки и старших поэтов, и мои.

Однажды у себя, в Богословском, Есенин, когда я уже спешу убежать (мне в тот вечер читать с эстрады в «Стойле Пегаса»), как

бы под занавес говорит:

– А насколько все-таки тоньше строится образ в народной поэзии!

И читает:

Высокó ворон летает,
Крылом небо достает.
Хорошо милый ласкает,
Только замуж не берет!

«Небо достает» – а понимай: «ведь не достает же».

Я отвечаю, что в этой – конечно, женской – частушке всего замечательней, что милый сопоставлен не с соколом, а с вороном, и это придает жалобе двойную горечь.

Есенин кивнул как бы в согласие. Помолчав, продолжает:

– А теперь послушайте, как тонко дан образ вот здесь:

Дайте, дайте мне пилу,
Да я березоньку спилю!
У березы тонкий лист,
А мой милый гармонист.

Я обнимаю на прощанье моего «гармониста» и бегу выступать. И по дороге вспоминаю, как в дни моего отрочества, в годы первой мировой войны один из «толстых» журналов («Русское богатство»?) поместил статью о частушках, где автор (помнится, авторша) приводил и такие «перлы» народной поэзии:

Мой миленок не теленок,
Целоваться горазд-ловок:
Нет ни сопель, нет ни слюн —
Целоваться ловко с ним!

Подумалось: что заслуживает здесь внимания – так это диссонансовая рифма: «с ним – слюн». Жемчужное зерно в навозной куче критики!

И еще я подумала: зачем прочел мне Сергей про ворона? Кажется, ничуть я ему в замужество не набиваюсь! А вторая частушка? Не по плечу я дерево рублю? Пусть так… Горько, конечно. Но… «есть и в неутоленности счастье!» Отравленное… но все-таки счастье!

А пути строения образа… О них глубже многих высказался в

разговоре со мной Осип Мандельштам – с его идеей о знаке радикала. Но об этом рассказано будет ниже.

Поэт и поэтесса

«Стойло Пегаса». Двадцать первый год. Лето в разгаре. То жаркое грозное лето, завершившееся великим голодом в Поволжье.

– Вот вы куда запрятались! – слышу я голос Есенина.

Он нашел меня в этой большой комнате за кухней. Сижу и проверяю, хорошо ли помню новые свои стихи, которые сегодня собираюсь прочесть с эстрады.

Есенин покосился на высокую кровать под лоскутным одеялом, бросает с сердцем:

– Сколько раз просил, чтобы выбросили эту мерзость! Как горох об стену…

И, сразу подобрев, вновь повернулся ко мне. Со смехом:

– Оказывается, наши виолончелист и таперша – муж и жена! Смешно, правда? Музыкант женат на музыкантше!

И, словно прикинув что-то в уме, добавляет:

– …Поэт женат на поэтессе. Смешно!

– Разве? Роберт Броунинг (так у нас тогда произносили имя великого английского поэта) был женат на поэтессе Элизабет Баррет. Она в ту пору была знаменита, а он только еще тянулся к славе. Впрочем, Гумилева раздражало, что его Аннушка «тоже пишет стихи». На том они с Ахматовой и разошлись.

Я поражена неожиданным этим открытием: неужели Есенин примеривается к мысли о женитьбе на мне? Чушь! Для брака я слишком неуживчива.

Это было в полосу нашего очередного «разрыва»: очередной и неожиданный шаг к примирению.

А через несколько дней здесь же, за кухней, Сергей вдруг сказал мне – без видимой связи с темой разговора:

– Вам нужно, чтобы я вас через всю жизнь пронес – как Лауру!

Бог ты мой, как Лауру! Я, кажется, согласилась бы на самое короткое, но полное счастье – без вечного нарочитого мучительства. И с обиды, что ли, не спешу ухватиться за этот его своеобразный подступ к примирению в нашей изрядно затянувшейся размолвке.

Так оно шло у нас всегда: повод к ссоре выискиваю я, первый шаг к миру делает Сергей (ему проще, знает: сколько бы я ни ерепенилась, я люблю неизбывно…).

Оба эти разговора – о двух музыкантах и про Лауру – мне вспомнятся при другой нашей беседе: месяца через два, с глазу на

глаз, в его комнате в Богословском переулке.

– Никогда мне не лжешь? Нет, лжешь! – укоряет Сергей. – Говоришь, что я тебе дороже всего на свете, что любишь меня больше жизни. Нет, больше всего на свете ты любишь свои стихи! Ведь ты для меня не откажешься от поэзии?..

Мне стало смешно. Когда это я говорила, что «люблю больше жизни»? И говорила ли? Это он сам себе говорит – знает сам, без моих уверений.

Я взвесила в уме и ответила:

– Люблю тебя больше всего на свете, больше жизни и даже больше своих стихов. Но стихи люблю больше, чем счастье с тобой. Вот так!

– Что ж, это, пожалуй, правда…

А у меня гроздило в мозгу: но почему ему нужна эта жертва? Бросить стихи! Точно они не часть меня самой! Ведь не потребует, чтоб руку себе отрубила…

Знаю нутром

В нагрудном кармане пиджака Сергей постоянно носит фотокарточки своих детей: детей от Зинаиды Райх – Тани и Кости. Любит показывать их собеседникам. А мужчины, поглядев, редко откажут себе в замечании, обыденном в те первые послереволюционные годы: «Откуда у тебя такая уверенность, что дети твои? Ну, дочка – светленькая, на тебя похожа, а сын весь в мать…» И дальше намеки на незадавшуюся брачную жизнь Сергея. Грубая, мужская жеребятина! Вот так же, услышу я через год, станут дразнить друзья-приятели удивительного нашего художника Василия Чекрыгина чуть не накануне его гибели. Шла ломка семейного уклада – революционная, как тогда полагали, ломка.

В тот вечер я сидела рядом с Сергеем за столиком в «Стойле Пегаса» – не в «ложе имажинистов», а там же, по левую сторону, но ближе к входу. Год двадцать первый, а в сентябре это было или ближе к зиме, не припомню. Пожалуй, второе. С нами еще несколько человек. Есенин стал показывать новые фото детей. И кто-то – не Иван ли Грузинов? – бросил это набившее всем оскомину: «Да твой ли сын-то? Родился, когда у вас с женой пошло на разрыв». И вдруг Сергей отозвался с горячностью, даже удивившей меня, – не стал переводить вопрос на шутку.

– А вот знаю, что мой! Знаю! Чувствую нутром!

И, повернувшись ко мне, глядя прямо в глаза, проговорил:

– Вот вы скажите: ведь может и мужчина, как женщина, знать, что ребенок его? Знать всем существом!

Карточек старшего своего сына Юры Изряднова он никогда не показывал, никогда о нем не упоминал. Позже я узнала от самой Анны Романовны Изрядновой, что он оказывал ей некоторую материальную поддержку.

Праксителев Гермес

Мы в лавке вдвоем – незадолго до отъезда Есенина в Среднюю Азию. Перед закрытием он тепло прощается со мною.

– Какие тоненькие губы! Такое чувство, точно целуешь ребенка.

А какие губы у самого Есенина? Когда читает с эстрады, раскрытый рот его становится огромным: мощный репродуктор звука. А когда поэт сидит молча, губы его вовсе не кажутся большими. Бледные, довольно мясистые. Я разглядела: линия их склада расположилась не на одной плоскости. Ее рисунок дает фигуру сильно изогнутого лука, стянутого укороченной тетивой. И этот вроде бы аккуратный, соразмерный с другими чертами рот, когда поэт его раскроет, превратится в тот мощный резервуар голоса. Эту особенность можно усмотреть на некоторых фотографиях Есенина. Не преминул передать ее и Сергей Коненков. Всмотритесь в бюст Есенина его работы (конец 1921 года).

А глаза? Есенин хочет видеть их синими, «как васильки во ржи». Но они походят у него скорей на незабудки, на голубую бирюзу. Только это очень чистая голубизна, без обычной сероватости. А главное в другом: радужная оболочка заполняет глазное яблоко, едва оставляя место белку. Сидишь где-нибудь в середине зала, и кажется тебе, что поэт брызжет в слушателей синью – разведенным ультрамарином. Когда Есенин сердится или в сильном душевном напряжении, голубизна его глаз, казалось мне, сгущается и впрямь до синевы. Здесь происходило то же, что с волосами: довольно темные, они представлялись светлей из-за яркости золотого отлива. Глаза же запоминались синее из-за чистоты их голубого тона.

Брови над этими глазами значительно темней его темно-белокурых волос – иному они кажутся подрисованными.

Не могу не отметить редкое свойство лица Есенина. Чем короче расстояние, с которого на него глядишь, тем оно кажется красивей – даже мне, в те годы необычайно зоркой. Удивительно это лицо хорошеет, когда смотришь почти вплотную.

О сложении. Резкое несоответствие – удлиненный, точно нарочито вытянутый торс и укороченные за его счет ноги. Это широко известно, отсюда и прозвище Есенина среди друзей:

«Вятка» (крепкая коротконогая лошадка). Костюмы, сшитые всегда у первоклассного портного, скрывают от наблюдателя этот недочет. Но как же явственно он проступил, когда осенью двадцать первого года заправилы «Ордена имажинистов» – Вадим Шершеневич, Анатолий Мариенгоф, Сергей Есенин (кажется, и Кусиков, но в этом не уверена) появились вечером в «Стойле Пегаса», вырядившись почему-то в матросские костюмы! Бескозырка оказалась Есенину не к лицу, а заправленная в штаны белая блуза с синим воротником, хотя и очень к лицу, но резко подчеркивала несоразмерность бедра и торса… Зато в целом Есенин был сложен красиво. Очень сильный, а мускулы плеча и груди обрисовывались мягкими и плавными линиями. Стройная, довольно длинная шея… Да что описывать! Сам фотогеничный, он недаром любил сниматься – то один, то в кругу друзей. Не раз приглашал сняться вместе и меня, но зная, что мне-то «фотографы не льстят» (как постоянно приходилось слышать), я неизменно отказывалась. Прилично получалась я только на снимках без выдержки.

Незабываемую прелесть придавало всему облику Есенина изящество движений. Это была особая, почти сверхчеловеческая грация, какую можно наблюдать у коня или барса. Грация, создаваемая точностью и скупой экономией каждого движения, необходимой в природе. Расскажу здесь же об одной поразившей меня сцене.

С некоторых пор в «Стойле Пегаса» появилась ежевечерней посетительницей некая, как мы ее звали, мадам Д., жена преуспевающею дельца. Ей лет тридцать пять. Малоприятное лицо, резкий голос, дурные манеры (плохо понятая свобода богемы!). Однажды она сидела за столиком в «Стойле» и вела игру с приведенными кем-то двумя красивыми борзыми: протягивала и тут же отводила руку с лакомым куском. Гримаса на лице показывала при этом две страсти: жадность и обнаженную похоть. А дня через два я увидела в просторной задней комнате за кухней «Стойла» игравшего с теми же борзыми Есенина. Как естественно красивы были широкие взмахи его руки, сколько человеческой любви и даже, казалось мне, уважения к превосходным породистым животным выявлялось на лице! И почему так оно мне сейчас знакомо, это новое лицо Сергея? На кого он так неожиданно похож? Ну, конечно же: Праксителев Гермес!

Снова Бениславская

Август двадцать первого. У меня свои причины сторониться

Есенина. Но видимся чуть не ежедневно – в «Стойле Пегаса». А с некоторых пор почти каждый вечер в «Стойло» приходит Галина Бениславская с какой-либо подругой, чаще всего с Яной Козловской. Яну мы с Сусанной называем между собой «Самовар»: малорослая, очень полная, ни намека на талию; лицо умное и доброе. (Так и подмывало справиться у Бениславской, куда девалась прежняя ее «ближайшая подруга» – златокосая красавица Лида.) Устраиваются они не за столиком, а сбоку на эстраде, как на крыльце, позади рояля, лицом к коридору, что ведет в кухонное царство. К ним вскоре подсаживается и Есенин. Беседует с ними. Задолго до закрытия кафе подружки встают, прощаются. И ни разу я не видела, чтобы Есенин отлучился их проводить.

На переломе осени имажинисты затеяли провести у себя в кафе фестиваль – что-то вроде костюмированного бала.

– В чем вы будете?

– В поддевке, – отвечаю.

Сергей удивлен. А у меня недели за две до того увели в бане единственное пальто, служившее верой и правдой круглый год. Взамен я купила с рук на толкучке коричневую поддевку отличного дамского сукна. Сейчас ее подгоняли на меня.

В чем пришел на фестиваль Есенин, не помню. Кажется, в матросской бескозырке. Да и другие нацепили лишь ту или иную деталь маскарадного наряда. И никаких масок.

Весь вечер праздника Сергей просидел за столиком с Галей Бениславской и с кем-то из ее подруг (из сотрудниц газеты «Беднота»).

На Галине было что-то вроде кокошника. Она казалась необыкновенно похорошевшей. Вся светилась счастьем. Даже глаза – как и у меня, зеленые, но в более густых ресницах – точно посветлели, стали совсем изумрудными (призаняли голубизны из глаз Есенина – мелькнуло в моих горьких мыслях) и были неотрывно прикованы к лицу поэта. Подруга была явно только для декорации – потому и не запомнилась… «Сейчас здесь празднуется, – сказала я себе, – желанная победа. Ею, не им!»

Ко мне подошел журналист-международник Осоргин. Я девочкой еще встречалась с ним в доме моей двоюродной сестры Анны Иосифовны Голобородько. С осени двадцатого года моя Анюта с мужем уже проживали в Берлине и, кажется, возглавляли там газету «Руль».

Осоргин заговорил со мною как со старой знакомой.

– Я не налюбуюсь этой парой! – кивнул он на Есенина и Бениславскую. – Да и как не любоваться! Столько преданной, чистой любви в глазах юной женщины! (Юной шел тогда двадцать

пятый год.)

Нашел с кем делиться своими восторгами! Но, значит, мои глаза не выдали ревности. Спасибо, Катя Э. …Кое-чему я у тебя научилась.

Мне отчетливо вспомнилась эта картина примерно полгода спустя, когда я сидела вдвоем с Есениным в книжной лавке, днем, где-то на антресолях, и у нас зашел разговор о Бениславской.

– Да что вы – к Гале ревнуете? Между нами же нет ничего, только дружба! Было, все было, но теперь только дружба!

– Вот потому и ревную.

«Было!» И я знаю точно когда. Фестиваль. Осоргин. Изумрудные, сияющие счастьем глаза.

– Понимаете, – продолжает Есенин, – мне нравится разлагать ее веру. Марксистскую. Она ведь ух какая большевичка!.. Упорная! Заядлая! Она там работает. В Чека.

(Вроде, приврали вы, Сергей Александрович: Бениславская работает в газете «Беднота». Или скажете – по совместительству? Так это или не так, Галина Артуровна не спешит разуверить друга в своих больших «защитных» возможностях.)

Вот как. Сейчас (незадолго до отъезда Есенина с Изадорой Дункан) тебе нравится «разлагать ее веру». А ей нравится… накачивать тебя «новой идеологией», довольно дешево ею толкуемой. Чья возьмет? Вернешься, захочешь сам утвердиться в новой-то идеологии, писать «совсем советские» стихи – «задрав штаны бежать за комсомолом»… Будешь тем крепче держаться Гали… Она, сдается, осилит тебя.

А ведь уже сложился замысел «Страны негодяев». И, знаю, носишься с мыслью дать во всю мощь образ Ленина! Не повторишь теперь, что Ленин «распластал себя в революции».

Еще о Маяковском

Август двадцать первого. «Стойло Пегаса». Ложа имажинистов. Кто-то указывает:

– Смотрите, какая вошла красивая пара!

Есенин:

– А я не знаю, что это значит: «красивый человек», «некрасивый». Лица для меня бывают «умные», «острые», «тупые», «добрые», «выразительные»… Маяковский прекрасен!

Четвертое октября

В те годы, как, впрочем, и теперь, переводя дату своего рождения со старого стиля на новый, люди по большей части

запросто присчитывали тринадцать дней, хотя бы и родились в прошлом веке. Так, помнится мне, и Есенин, в том двадцать первом году, отмечал свой праздник не третьего октября, как надо бы, а четвертого.

Итак – четвертое октября. День по-летнему жаркий. В белом кисейном платье без рукавов я захожу в книжную лавку имажинистов поздравить Сергея.

Слова приветствия. И чуть не сразу Есенин мне:

– А вы плохо, Вольпин, выбираете друзей.

– Чем мои друзья вам не угодили?

– Вот вы считаете Сусанну Мар другом, у вас для нее и хлеб и дом, а Мар дурно о вас говорит.

Я круто повернулась спиной, пряча набежавшие слезы. Нет, не из-за Сусанны – издавна знаю, как легко предают подруги! Совладев с собой, смотрю ему прямо в глаза.

– Запомните, Сергей Александрович (и он уже знает: если назвала по имени-отчеству, значит, сейчас предъявлю счет): я никогда не строю свое отношение к людям на пересудах, на всяких «он сказал», «она сказала». На днях мне поспешили доложить, что я вот считаю Есенина другом, а он… «худо о вас отзывается». Я не изменилась к вам… из-за чьих-то слов… или даже ваших… Знаю сама, кто и как ко мне относится. И дружбу я так легко не предам. Ни дружбу Мар, ни вашу.

А сама подумала: может, у тебя и впрямь совесть не чиста, вот и оговариваешь Сусанну – даешь отвод свидетельнице (недаром я дочь юриста!).

Но вечером я не пошла на его шумное празднество.

По большому счету

Год двадцать первый. Осень.

Сижу с Мандельштамом во втором зале СОПО, напротив зеркальной арки. В зеркало вижу: входит Есенин. Легкий кивок, брови сдвинуты. И садится за соседний столик. Один. Я к нему спиной. Мандельштам увлеченно продолжает очередную тираду: кажется, о Петрарке – или о Данте? Я жадно слушаю. Он и повидал, и знает много такого, чего не знаю и не видывала я (а сонеты Петрарки переводил с подлинника). Можно слушать часами. Есенин вдруг вскакивает, обходит мой стул и, картинно став перед моим собеседником, смотрит сощуренным глазом ему в лицо. Затем, сделав дальше полшага, бросает уже через плечо, как бы мимоходом, но веско:

– А вы, Осип Эмильевич, пишете пла-а-хие стихи!

Мандельштам вспетушился было, рванулся вскочить. Но

усидел на месте, усмехнулся… Есенин уже прошел дальше – в комнату правления.

– С чего это он?

И, пожав плечами, Осип Эмильевич возвращается к своему кофе и к теме. Однако наш разговор уже не вяжется. Я расстроена и плохо слушаю.

Не позже как через неделю, с глазу на глаз со мной, в домашней обстановке, Есенин сказал убежденно:

– Если судить по большому счету – чьи стихи действительно прекрасны, так это стихи Мандельштама.

(Отмечу попутно: в живой речи у Есенина часто звучал этот эпитет: «прекрасный»…)

– Зачем же тогда…

И я с укором напоминаю Есенину его давешнюю выходку.

– Ну, то… То было как бы в сшибке поэтических школ.

Сшибка школ! При чем тут она, пустой ресторан не эстрада. Просто ревность – не мужская, нет: ревность к вниманию младшего поколения поэтов. Распускаешь, мол, павлиний хвост перед незрелой поэтессой, а та и уши развесила!

Мне вспомнилось (но Есенину я не стала о том рассказывать), как Мандельштам примерно полугодом раньше говорил мне:

– Имажинисты! Образ! Да им лишь бы почуднее накрутить. «Корень квадратный из четырех», где можно просто «два». Корень из двух, корень из семи – здесь знак радикала уместен.

На мой вопрос, относит ли он это и к Есенину, Мандельштам сказал:

– К нему особенно – о прочих и судить-то не стоит… А Есенин… Ему ведь нечего сказать: стоит перед зеркалом, любуется. «Смотрите: я – поэт!»

Зеркало! Что я возражу! Ни к кому я так не ревновала Сергея – ни к одной женщине, ни к другу, как к зеркалу да гребенке. Во мне все сжималось от боли, когда он, бывало, вот так глядит на себя глазами Нарцисса и расчесывает волосы. Однажды я даже сказала ему полушутя (и с болью):

– До чего же у нас с вами сходный вкус! Я люблю Сергея Есенина – и вы любите Сергея Есенина.

Он только усмехнулся.

Справедливость требует отметить: Есенин сумел, преодолев личную неприязнь, высоко оценить далекую ему поэзию Мандельштама. А тот… Да, верно: у Есенина не раз прозвучало это тематическое «смотрите, я – поэт!». Но не в этом же суть его творчества. То, что делало Сергея Есенина поэтом всенародным, Мандельштаму осталось чуждо, не вошло в его сознание!

Вечер отречения

Весной 1921 года Есенин, сообщая о предстоящем введении литературных программ в «Стойле Пегаса» (мне кажется, М. Ройзман спутал датировку, отнеся начало таких программ еще к двадцатому году), предложил Сусанне Мар и мне вступить в Ассоциацию вольнодумцев (т. е. в ряды имажинистов), пообещав, что мы будем часто выступать с эстрады в «Стойле Пегаса». Почему-то это должно было сопровождаться нашим выходом из Союза поэтов. Это была чистой воды провокация, на которую мы сдуру пошли. Кроме нас, двух поэтесс, в полк имажинистов вступил и ряд молодых поэтов. Из них мне запомнилось почему-то только имя Молчанова.

Несколько месяцев все шло предуказанным порядком. И меня, и Сусанну часто приглашали выступать в «Стойле Пегаса». И называли нас неизменно «поэтессами-имажинистками». Нередко объявлять выступление Мар поручалось мне, а мое выступление – ей.

Но вот однажды, кажется, уже в августе, после смерти Блока, произошло нечто, как мы решили, непристойное. Не помню, кто именно, Шершеневич или Мариенгоф, прочитал с эстрады заявление… об изгнании из рядов имажинистов недавно принятых молодых сателлитов. Молодежь, видите ли, не оправдала надежд старших поэтов на то… что те у нее что-то переймут для себя, сами, так сказать, через нее омолодятся. Вся публика, слушавшая это заявление, – как поэты, так и просто пришедшие «пожрать, послушать, поглазеть» – была в негодовании на этот удар в спину, наносимый младшим братьям. Раздавались презрительные возгласы осуждения. Есенин сидел смущенный и пытался уверить нас (т. е. меня и Мар), что он тут ни при чем, он против этой выходки, с ним она не согласована. Исключение из группы не распространилось на Матвея Ройзмана, делового парня, в котором Орден имажинистов явно нуждался. Поэт он был слабый, с годами перешел на прозу. Впрочем, поименно изгоняемые названы не были. Молодые выходили на эстраду с ответной отповедью, или, вернее, руганью – под неизменное одобрение сочувствующей публики. Вышла на эстраду и я. Сказала, что отнюдь не принимаю заявление на свой счет. Я-де приглашена была в группу имажинистов как уже сложившийся (так мне чудилось!) и в какой-то мере признанный мастер стиха; ни у кого из товарищей учиться я не собиралась, кого-то обучать и омолаживать не бралась. Учителями были для меня Пушкин, и Тютчев, и Генрих Гейне, и не меньше их Гораций… Да еще великий из великих – Гомер. Да русская

народная песня. Если ничему у нас, молодых, имажинисты не научились, так это от неумения воспринимать достойное восприятия. «Шершеневич скажет, может быть, что ничего не воспринял и у Маяковского? А много ли найдется у него вполне своего, не подсказанного хотя бы в полемическом плане Маяковским?» (Здесь поэты-неимажинисты бурно мне захлопали.)

А дальше я позволила себе небольшую лекцию о моем понимании законов построения образа, о его непременной иррациональности. Образ не как «корень квадратный из четырех» (здесь ссылка на Осипа Мандельштама, это его слова об имажинистах), а как равнодействующая двух различных сил. Тобою, говорила я, владеют противоречивые мысли, чувства. Их не выразить одновременно в едином ряду поэтических средств, они между собой несоизмеримы. Как уравновесить? Найти одну равнодействующую силу? Вспомним правило начальной физики: параллелограмм сил. Если эти силы изобразим как некий квадрат и стороны его обозначим как величину «а», то их равнодействующая пройдет по диагонали квадрата, и выразится она так: «а» корней из двух – величиной иррациональной. И все же она реально существует в природе!

Вот так и образ. Он служит для выражения несоизмеримых, противоречивых мыслей и чувств, душевных движений. И он не может быть до конца раскрыт. Если же может, значит, он не нужен, он – украшательство, а не выразительное средство, необходимое поэту, его единственная возможность.

Неожиданно этот мой беглый экскурс в школьную физику и математику сильно заинтересовал Есенина. «Не шумите, – просил он соседей, – она говорит об очень интересном, очень важном». Позже, уже наедине со мною, он попросил повторить ему эти соображения: как и мандельштамовы, так и то, что домыслила я (о равнодействующей – диагонали квадрата, о необходимой иррациональности образа). Тогда, с эстрады «Стойла», я говорила и о том, что в моих стихах есть черта, отсутствующая у старших имажинистов, – развитие образа в ходе стихотворения. Например: падает звезда – звезда приравнивается к пуле – и дальше:

…Дугами звезд падучих
Смерть запрягла слепых коней.

Это из раннего стихотворения (январь 1920 года) – то есть до моего вступления в ряды имажинистов.

Не знаю – и на этот вопрос, кажется, нет ответа в последней книге М. Ройзмана, – чем на самом деле было вызвано «изгнание молодежи». На эстраду «Стойла Пегаса» и меня, и Сусанну Мар

продолжали выпускать, именуя «поэтессами-имажинистками». А вот из сборников имажинистов обе мы оказались исключены – как и не значились теперь наши имена на афишах больших поэтических вечеров, где поэты выстраивались по группам и школам.

Не уберегли

В тот вечер, едва вступив в зал, я в самом воздухе ощутила душащую тяжесть. В углу, в ложе имажинистов – одинокий, словно брошенный, сидит Есенин. Одна рука забыта на спинке дивана, другая безжизненно повисла. Подхожу ближе. Мерно катятся слезы, он их не удерживает и не отирает. Но грудь и горло неподвижны. Плачут только глаза. Поднимает взгляд на меня.

– Вам уже сказали? Умер Блок. Блок!

Шум голосов подступает ближе.

– С голоду? Лучший поэт наших дней – и дали ему умереть с голоду… Не уберегли… Стыд для всех… для всех нас!

С голоду? Да, я слышала, в самое трудное послереволюционное время, в страшные месяцы петербургского голода Александр Блок мучился цингой. Но слышала и то, что со всех концов страны шли к нему посылки, что цингу он лечил лимонами, а они тогда были в Петербурге на вес золота.

Чей-то голос:

– Бросьте вы, «с голоду»! Пил как лошадь.

Все косятся на Есенина.

И чье-то равнодушно-философское:

– Смерть причину найдет…

– Сорок лет! Для русского поэта не так уж мало. Пушкину было тридцать семь.

– Только ли для русского?

Посыпалось:

– Байрону – тридцать шесть… – А Кольцову – тридцать пять?

– Шелли – тридцать…

– Китсу – двадцать пять. Моложе Лермонтова!

– Годы поэта… Их разве цифрами мерить?

Это в нас бросил Есенин.

Гость из Одессы

Есенин влюблен в желтизну своих волос. Она входит в образный строй его поэзии. И хочет он себя видеть светлым блондином: нарочито всегда садится так, чтобы свет падал на

кудри. А они у него не такие уж светлые. Не слишком отягченные интеллектом женщины, для которых человечество делится на блондинов и брюнетов (увы, только ли для них!), зачислили б Есенина в разряд «темных блондинов». Зато эти волнистые волосы цвета спелой ржи отливали необычайно ярким золотом. Соответственно, и на щеках проступала рыжинка. Таким волосам свойственно сохраняться в памяти более светлыми, чем они есть на самом деле.

Всякое упоминание, что волосы у него якобы потемнели, для Есенина как нож в сердце.

И вот однажды…

«Стойло Пегаса». Двадцать первый год.

Они стоят друг против друга – Есенин и этот незнакомый мне чернявый человек одного с ним роста, худощавый, стройный. Глаза живые, быстрые и… равнодушные? Нет, пожалуй, любопытные. Холодные.

– Сколько лет? Неужели пять?

Не ответив, Сергей спешит поймать меня за руку, подводит к гостю. Знакомит взволнованно.

– Мой старый друг, Леонид Утесов. Да, друг, друг!

Тот, не поглядев, жмет мою руку. И воззрился умиленно на Есенина. Актер – решила я (имя ничего мне не сказало).

– А кудри-то как потемнели! Не те, не те, потемнели!

Есенин грустно и как-то растерянно проводит рукой по голове.

– Да, темнеют… Уходит молодость…

Я сердито смотрю на Утесова. Зачем огорчает Сергея этим своим «потемнели»! Не знает, что ли? Светлые волосы с таким вот выраженным золотым отливом запоминаются еще ярче и светлей. Мне хочется объяснить это Сергею. Но одессит (я разобралась: гость из Одессы) заспешил закрутить собеседника своими «А помните?!» На лице Есенина… нет, уже не грусть, скорее, скука.

Когда гость заторопился уходить, Сергей не стал его удерживать. И ни разу в дальнейшем он не вспомнит о «друге из Одессы» – как раньше не слышала я от Есенина этого имени: Леонид Утесов.

Пишу ваш портрет

Двадцать первый год. Место действия все то же – «Стойло Пегаса». Поздний вечер. Вхожу – Есенин встречает, усаживает за столик – не в «ложе имажинистов», а тоже слева, но поближе к входу, представляет меня своему собеседнику – Натану Альтману. Я знала и любила его знаменитый портрет Анны Ахматовой.

Среди разговора Альтман вдруг останавливает на мне въедливый взгляд. И таким тоном, точно я сейчас должна умереть от счастья, объявляет:

– Пишу ваш портрет!

– Да? Сколько вы платите натурщицам?

На мой наглый ответ Есенин весело рассмеялся. Для него он значил: «Плевать я хотела, что ты знаменит, тут у нас каждый сам с усам!»

Все-таки я нашла нужным, отклонив так резко честь, пояснить художнику, что у меня – два брата и оба занимаются живописью. И нет для меня ничего тяжелее, чем позировать, когда они просят: кажется, и пяти минут неспособна посидеть не двигаясь.

Очки. И Вундт

Осень, год 1921. Богословский переулок. Дверь на мой звонок открывает Леночка, официантка из «Стойла Пегаса». Высокая, тоненькая, темноволосая, очень изящная. И строгого поведения.

– Наденька! – вырвалось у нее.

Вот уж не знала, что здесь я зовусь заочно Наденькой – не «Вольпин». Не знала и того, что прислуга «Стойла» обслуживает «хозяев» и у них на дому. Леночка вводит меня не в ту квадратную, меньшую комнату, где я бывала не раз, а в соседнюю с той – продолговатую и более просторную. Есенин сидел на узеньком диванчике справа. Моим приходом он явно обрадован – но и смущен. Поспешно вскакивает, срывая с глаз очки. Простенькие, в круглой оправе.

– Не снимайте. Я вас в очках еще никогда не видела!

На минутку надевает их снова. Как-то виновато усмехается. Очки ему не к лицу. А точнее сказать – придают детский вид: словно бы ребенок, балуясь, нацепил на нос запретную игрушку старших. Вот и усмешка сейчас у Сергея по-детски виноватая.

Перед диванчиком стол, на столе раскрытая книга. Большого формата, но не толстая. В темно-синем коленкоровом переплете. Вундт, университетский учебник психологии.

– Интересно?

– Очень. Замечательная книга. Просто захватывает.

Но разговор наш тут же свернул сам собой на другое.

А часа через два, когда я собралась уходить, Есенин на прощанье протягивает мне своего Вундта.

Спрашиваю:

– Когда вернуть?

– А никогда. Оставьте себе.

Перевертни

Так уж у нас повелось: то и дело размолвка. Я словно бы нарочно выискиваю повод для ссоры (как бывало в детстве со старшим братом – сама нарывалась на побои) и давно уже знаю: первый шаг к примирению сделает Есенин. Но такой лютой ссоры, как эта – из-за стихов Хлебникова, – между нами еще не бывало. Да и не будет.

Поздняя осень двадцать первого.

В тот вечер Есенин ждал меня к себе. Заранее было договорено. Нашу близость он старательно прячет от Мариенгофа. Знаю, не просто было ему и на этот раз обеспечить отсутствие в квартире на Богословском и друга с его Мартышоном, и обслуживающих женщин. Правда, Леночка, подавальщица из «Стойла», даже сама открыла мне на звонок с тем же приветливым «Наденька!». Но в положенный час она уйдет на свою ночную работу. Мы останемся на весь дом одни.

А пока пристраиваемся рядом у печурки. В меньшей – квадратной – из двух комнат, лично Сергеевой. В печурке сложены короткие, но, видно, не слишком сухие поленца. Сергей торопится их разжечь – не горят. Я считаю себя классным истопником, пытаюсь взять дело в свои руки. Он не пускает: «Замажете ваше красивое платье!»

Платье и впрямь красивое, но не мое – мамино (днем она сняла с меня мою суконную юбчонку, чтобы подправить, и вырядила в этот черный фай-де-шин с серебристой отделкой)… Я покраснела при доброй этой похвале маминому вкусу. В уме отмечаю: я, женщина, не всегда-то примечу на другом обнову. А вот Есенин!..

Печурка все еще упрямится. Сергей наконец уступил, выгреб все из топки, дал мне уложить по-своему – и дровешки, и растопку. Подношу спичку – и все дружно занялось. Да, потрескивают уже сами поленца, не только щепочки. Полилось тепло, потекла беседа.

– Вот, посмотрите, – сам себя перебил Есенин. – С письмом пришло. От Хлебникова.

Стихи. От руки, но очень четко. Велимир Хлебников. О Стеньке Разине. Читаю.

– Ничего не замечаете?

– ?

– А вы попробуйте прочесть строку справа налево. Каждую!

– Ого! То же самое получается!

– Печатать не стану. Деньги пошлю – он там с голоду подыхает, а печатать не стану. Это уже не поэзия, а фокус.

Я завелась в яром споре. В поэзии все фокус. И рифма фокус. И размер фокус. Доводы мои так и сыплются. А сонет, а французская баллада или рондо, «онегинская» строфа или спенсорова – в «Чайльд Гарольде»? Не фокусы? Сами от Бога родились? Или, думаете, не было фокусом для римлян, когда Гораций преподнес им на латыни алкееву строфу? Захотел поэт писать «перевертнями» – это его право, а наше дело – читать и дать людям прочесть.

Каюсь, я не знала в те годы главного своего козыря: «перевертни» не Хлебниковым измышлены, это старый прием, есть у них и свое греческое наименование – палин ромон (то есть «бегущий вспять»). Из древности идет. Но доводы Есенина и вовсе просты.

– Велимир вправе ловчить как хочет, а я вправе поместить в сборник или выкинуть.

– А вот и не вправе, – гну я свое. – Поэт, большой поэт, да еще голодный, честь вам оказал, предложил напечатать свои стихи рядом не только с Есениным – рядом с Рюриком Ивневым, рядом с Мотей Ройзманом, – а хозяева не принимают эту честь, нам-де фокусы не нужны! Да разве хуже стали стихи, оттого что можно их и навыворот прочесть?

– Я ему не мешаю, может выкручивать, играть словами. По мне это не поэзия. Ей тут тесно. Нечем дышать.

Спор набирает силу.

– Не обязан я печатать!

– А вот обязаны!

– Да почему?

– Потому, что он ВЕЛИМИР. Он – Председатель Земного Шара! За свои стихи он отвечает сам.

Меня понесло. Я как с цепи сорвалась.

– Деньги голодному пошлем. В подачку! Как собаке кость. А стихи не принимаем!.. Так, так его оскорбить!

Я уже не говорю, в крик кричу.

Мы оба давно стоим. Друг против друга. Есенин иссера-бледен. А я с яростью ему в лицо:

– Хозяин издательства, хозяин лавки книжной, хозяин кафе[16], вообразил себя хозяином л-л-литературы!

– Однако, хорошенького вы обо мне мнения.

Это с крутым спокойствием бешенства.

Я уже в пальто.

Чувство вины в душе. Хочется броситься на шею, покаяться. Мешает вздорное самолюбие и упрямая задирчивость. Уже остывая, сознательно бросаю через плечо последнюю рассчитанную к добру обиду (пусть простятся мне за нее все

прежние злые слова):

– Знаю, и с деньгами не поторопитесь!

(Расчет оправдался. Через два дня в «Стойле» я сидела одиноко поодаль от «ложи имажинистов», когда Есенин – через официантку – предъявил мне бумажонку: квитанцию на высланные деньги. А «перевертни» Хлебникова так и не были напечатаны в очередном сборнике имажинистов: остались «отвергнутой частью».)

В ту ночь, возвращаясь домой одна, я все думала о нашей ссоре и говорила в укор себе самой: я осудила сейчас Есенина, исходя из заветов человеколюбия, а он… он отстаивает заветы поэзии, как он их понимает. И в этом его правота.

Десять бы лет!

– Боитесь старости?

– Старости? Да нет… Я до старости не дотяну. Мне прожить бы еще десять лет. Больше не хочу.

В груди у меня похолодело. Вот он, канатоходец! Однако заставляю себя даже улыбнуться. С напускной легкостью роняю:

– А через год? Захотите жить еще девять лет?

Есенин рассмеялся.

– Ух, и хитрая!

Разговор этот шел у нас с глазу на глаз осенью двадцать первого – при очередном примирении после очередной нашей ссоры. Не той ли жестокой ссоры из-за Хлебникова?

Вторично те же слова – «Мне прожить бы еще десять лет – больше не хочу!» – я услышала от Есенина в тех же примерно условиях, так же с глазу на глаз, спустя два года, то есть после его поездки «по Европам». Уже не там, в Богословском переулке, – у меня на Волхонке, в длинной неуютной комнате бывших третьеразрядных номеров. У меня достало жестокости (или твердости духа?) напомнить давнее – и мой тогдашний «хитрый» ответ:

– Вот видите! Не девять, не восемь – все те же «десять бы лет!»

Я сказала это не в попрек (чего, мол, рисуешься!) и уж никак не затем, чтобы похвалиться собственной прозорливостью. Своим замечанием я пыталась как бы заколдовать угрозу. Сергей Есенин ходил тогда по «московским изогнутым лицам» бесприютный, неприкаянный.

– Так и дальше будет, – добавила я, храбрясь и сама не веря.

Было потом и больно и стыдно вспоминать трудный этот разговор – и тот прежний. Есенин «захотел» прожить еще не

девять, не восемь лет – всего два года и три месяца.

Тютчев и Фет

Я не могла не знать, что Есенин ценит и любит Фета. И все же позволила себе высказаться наперекор его пристрастию.

Богословский переулок. Поздняя осень двадцать первого. Мы с Сергеем вдвоем в их длинной комнате. Сидим рядышком на узком диванчике. В печурке уютно потрескивают дрова.

Сергей только что побранил меня: что я-де знаю – он всегда мне рад, могла бы приходить к нему почаще! (Напомню: телефонов у нас с ним не было, они тогда стали редки в Москве.) А я, как назло, завожу обидный для него разговор.

– Мы часто слышим: «Тютчев и Фет!» А ведь Фету до Тютчева расти – не дорасти!

На лице Есенина досада. Брови сдвинулись чуть не в одну черту. Губы плотно сжаты. Ответ прозвучал не сразу.

– Кто любит поэзию, не может не любить Фета…

– Да, – отвечаю. – Я и Фета люблю. Но Тютчев… Тютчев – гигант поэзии! Я часами могла бы читать из него наизусть. А у Фета люблю и помню вовсе не то, что ценят другие. Люблю его поздние стихи.

Добавлю для читателя: имени Тютчева я от Есенина ни разу не слышала. Возможно, отвергал как что-то слишком «западное»? До меня самой лишь много, много позже дошло, как часто поэзия Тютчева перекликается с прозой Гёте, с его высказываниями в Вильгельме Мейстере.

Гений ли?

Поздняя осень двадцать первого. Снова мы вдвоем в большой комнате на Богословском. Стол отодвинут от диванчика – Сергей простужен – к началу комнаты, подальше от окна. За столом и сидим, попивая стынущий чай.

Не помню сейчас, чем был подсказан мой вопрос:

– А сами вы считаете себя гением?

Сергей обдумывает ответ. Я мысленно делаю вывод: раз не спешит отрицать, значит, считает! И услышала:

– Вы что же, меня вовсе за круглого дурака почитаете? «Гений ли» – ведь это только время может показать!

Но выходит все же согласно моим невысказанным словам: примеривается к мысли о своей гениальности.

А как рассудило время, не мне определять.

Пьедестал

Осень двадцать первого. Большой литературный вечер – смотр новейшей поэзии – в Политехническом. Устроитель – Долидзе. Ведет программу Валерий Брюсов. После его обстоятельного и скучного («гимназического») доклада о современных направлениях в поэзии выступают поэты: подряд от каждой школы и группировки. Вот отчитали свое ряд имажинистов и молодых «имажинят». Брюсов оглашает, что объявленные в афише Есенин и Мариенгоф выступать не будут. В зале шум. Мне и сейчас непонятно, какими силами удалось Валерию Яковлевичу унять волнение. Вечер кое-как продвигается. «Чижики чирикают и лирики лирикают»[17]. Новое объявление: отказался читать и Маяковский!

Тут уже в зале просто буря. Между тем публика (в основном рабочая и студенческая молодежь) усмотрела пробирающуюся сквозь ряды пару: Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф. А затем и атлетическую фигуру Маяковского. Крики приветствий и возмущения… Когда страсти доведены до белого накала, на эстраду, сдавшись первым, вступает Маяковский. Он это проделывает с выразительной театральностью того времени («эстрадный период поэзии» – установят годы спустя литературоведы). Правой рукой поэт выдвигает к середине (и на край) эстрады стол президиума; левой, ухватив снизу за одну ножку, водружает на него стол поменьше. На этот взгромождает кафедру. Теми же скупыми и сильными движениями мгновенно сооружены из малых столиков и скамей ступени «лестницы». Оценив одобрительным взглядом свою работу, мастер – сам себе памятник – по этим ступеням, ни на одну не ступив двумя ногами, всходит на пьедестал.

Нет, стихи он не читает (или что-то прочел, но я не запомнила?). Громит псевдоновую дряхленькую поэзию, молчащую на требования дня. Укоры свои он относит и к поэтам Пролеткульта, и «Кузницы». Более обстоятельно оспаривает основы имажинизма. И, бросив Есенину вызов опровергнуть, тем же шагом командора под гром рукоплесканий сходит с трибуны. Что и говорить – театрально! Прямо по-мейерхольдовски. Я с тревогой жду: как теперь «перекроет» соперника Есенин? И перекрыл!

На этот уже изрядно расшатанный пьедестал Есенин не взошел, нет. Широко, точно крылья, распахнув руки, еле касаясь ногой ступеней, он вспорхнул на него вполмига. Так с арены взлетает цирковой наездник на скачущего по кругу коня и, стоя в наклон, несется на нем. Кажется, даже Брюсова оставила его

хозяйская невозмутимость. Он слушает не без интереса. Споры, доводы… Однако вернее доводов убеждают – и остаются в памяти – вот такие внешние, чисто эстрадные приемы.

Бялик в СОПО

Бялик в Москве!

Лика Стырская[18] подает его как именинный пирог. Знакомит со мной, усаживает меня за их стол в СОПО, в первом зале. Что-то не клюет, хотя она чуть не каждого настойчиво зазывает знакомиться. Кто стесняется, а кто… прочно забыл о еврейском поэте, чей взлет – в двенадцатом году? – так пламенно приветствовал Горький! Сижу как на иголках, выжимаю из себя, что бы еще сказать, о чем спросить? Мне Бялика мучительно жаль. Я высоко чту его как поэта, кое-что знаю наизусть и на еврейском языке, и на русском (в переводе Владимира Жаботинского). Мне представляется глубокой трагедией: пишет поэт на отмирающем языке. Кто теперь в России, после революции, учит мальчиков читать Библию в подлиннике? Уже не говорю о девочках – тех и раньше мало кто учил! Меня учили… недолго… Ну уже и я училась по другой системе произношения с «правильными» ударениями. Читаю – и мысленно передвигаю «на должное место» ударения – иначе стих не стоит. А в еврейских колониях в Палестине укоренилась так называемая «сефардская» (т. е. испанская) система, где не только ударения другие – весь звуковой строй смещен по сравнению с «ашкенази» (немецкой системой). Овидий жаловался, что он в своем изгнании похож на «мима, играющего в темноте». Не ждала ли и Бялика та же судьба?

Итак, сижу я, терзаюсь желанием расспросить Бялика, как он мыслит дальше писать, для какого читателя, на каком языке… Но стыжусь, как стыдилась бы затронуть больное место человека. И тут Стырской удалось залучить к нашему столику Есенина. Церемонно представляет их – мол, знакомьтесь и оцените друг друга. Но… блин вышел комом.

Не приподнявшись со стула, Бялик через стол протягивает руку стоящему перед ним Есенину и произносит медленно, как будто на чужом полузнакомом языке:

– Приятно видеть молодого человека.

Сергей учтиво и холодно, с полупоклоном, скрывая, как мне показалось, усмешку:

– Приятно видеть пожилого человека.

И сразу же отвернулся, отошел во второй зал, взглядом приглашая и меня последовать за ним. В обиде за Бялика я

остаюсь с ним и Стырской до прихода ее мужа, Эммануила Германа (Эмиль Кроткий тож).

Потом объясняюсь с Сергеем, укоряю – ведь как-никак Бялик у нас гость, у москвичей… Сергей сердито отводит мой укор:

– А сам он? Больше ничего не хочет во мне видеть – только то, что я молод?

Знаю давно: Есенин бывает порою как-то странно, настороженно обидчив. И все же я удивлена его ответом. Мне тогда не пришло на ум, что здесь к обиде примешалась, может быть, и неосознанная ревность – нет, не из-за меня, а вообще к тому значению, какое его, Сергея, личные друзья – и Стырская, и Эмиль, и я – придают появлению среди нас приезжего поэта. Признанного поэта, венчанного славой. Превознесенного Максимом Горьким!

С Коненковым

Долидзе, устроитель вечеров поэзии, подошел ко мне в Кафе поэтов, спрашивает:

– Почему ваше имя не проставляют в афишах? Публика вас так хорошо принимает… Вы от какой группы могли бы читать?

Я числюсь имажинисткой – часто читаю в «Стойле Пегаса». И объявляют меня там всегда как «поэтессу-имажинистку». А почему нет меня на афишах, сама не понимаю.

И вот ответ: мы с Сусанной, видите ли, «исключены», хотя об этом до нашего сведения не доведено. Да и в сборниках имажинистов наши стихи хоть и были будто бы отобраны и приняты всей редакцией, а по выходе оказываются опущены – нет нас и не было!

Жалуюсь на это дело Грузинову и слышу в ответ:

– А еще слывете умницей! Неужто не понимаете, кто снимает ваши стихи из набора?

Вот как! Есенин! Имя не названо, но я и так поняла. Прихожу к нему – нет, не на дом, а в книжную лавку – и объявляю очередной разрыв. «Никаких извинений! Этого не прощу! Эту фальшь!» Действительно, размолвка затянулась надолго, я не ухватилась, как бывало раньше, за первую же попытку Сергея наладить отношения. И вот впервые почин к примирению исходит от меня. А сказать точнее – от Сергея Тимофеевича Коненкова.

Ноябрь двадцать первого. Я сижу с друзьями в «Стойле Пегаса». Ужинаем. Входит рослый, плотный человек с густой, длинной черной бородой – ни дать ни взять Стенька Разин. Я сразу узнала его: скульптор Коненков. Я много раз видела его на его же выставках, в его студии на Пресне. Была я там последний

раз весной восемнадцатого года. Мой старший брат спросил тогда, указывая на огромную под потолок статую – на знаменитого коненковского Паганини: «А во что вы оценили этого вашего мальчика?» – Скульптор бросил небрежно: «В семьдесят тысяч!..» Сумма по тем временам огромная. И добавил – так как деньги дешевели со дня на день: – Золотом, конечно.

А брат в тон, и этак небрежно, точно в гастрономе: «Заверните!»

На меня Сергей Тимофеевич в тот раз и не глянул, хотя недели за две до того целую лекцию мне прочитал о том, как греки подкрашивали свои мраморные статуи, и боги были у них вовсе не пустоглазые. Что не узнал – естественно: станет он обращать внимание на девчонку лет тринадцати, какой я выглядела тогда, изрядно похудевшая от недоедания… А на ответ брата – «заверните» – весело усмехнулся.

Кто-то подходит ко мне:

– Надя, вы вроде бы знаете по-английски?

– Знаю, да не слишком. Читаю, но не говорю.

– Ну, хоть как-нибудь. Тут иностранные журналисты хотят о чем-то расспросить Коненкова.

Пересаживаюсь за стол «великого» – он и сейчас явно меня не признал. С английским справилась лучше, чем ожидала. Коненков не хочет меня отпускать, даже предлагает поехать с ним в Америку в роли его переводчицы. Я отклоняю незаслуженную честь. Да и чем кончится?.. За борт, в набежавшую волну? Общий смех.

– А хотите, познакомлю вас с Сергеем Есениным? Мы вот с приятелем едем к нему сейчас (имени приятеля он мне не назвал).

Я ухватилась за предложение – забавный получится розыгрыш!

Еще в кафе я объясняю Коненкову, что издавна с ним знакома, даром, что он упорно меня не узнавал. Два года кряду я по два-три раза навещала его выставки в студии. И он со мной не раз беседовал!

– Да не может быть! Это при моей-то памяти на лица, да чтоб я не запомнил такую девушку!

– А вот и не запомнили!

(Замечу в скобках: как-то на мой вопрос, изменчивое ли у меня лицо, Есенин ответил: «Лицо у вас сильно меняется в зависимости от волос, как вы их зачешете».)

Итак, едем на извозчике в Богословский переулок.

Коненков начинает меня представлять поэту, мол, замечательная девушка, а по-английски так и чешет!..

Но Есенин сразу заграбастал меня:

– Ну, молодец, отбросила обиду!

На этом, однако, розыгрыш не остановился. Что было далее, я вспоминаю сейчас со стыдом. Уж я ль не чтила создателя Паганини! И все же позволила себе и дальше подшучивать над ним. Видно, прав Матвей Ройзман, указывая, что в те годы все мы – а Сергей особенно – любили всякого рода розыгрыши.

Располагаемся в большой длинной комнате – не в той квадратной, где Есенин принимал меня и Женю Лившиц, когда я первый раз пришла к нему… Меня Сергей властно усадил с собою рядом на узком диванчике. Продолговатый стол. Напротив нас – Коненков с другом. Здесь же приютившийся у Есенина Ваня Старцев (так его все называют), кто-то еще… Вино, кое-какая снедь – хотя мы уже заложили фундамент в «Стойле». От вина отказываюсь, хватит с меня выпитого в кафе. Коненков узнает, что его «переводчица» занимается не только языками, но еще и поэтесса. И поучает: женщинам стихи писать ни к чему! «Вот он (тычет пальцем в Есенина) – он и за себя, и за вас все выразит! А женщины писать не должны!»

Вот оно как! Женские стихи заранее осуждены! Нет Анны Ахматовой, не было великой Сапфо!

– А вы все-таки прочтите ему свои стихи, – вступается за меня Есенин. – Ты послушай – она хорошо пишет. И не по-женски!

(Ох, эта сомнительная похвала!)

Начинаю:

– Посвящается Рюрику Ивневу.

– Ивневу? Ивневу не надо посвящать! – перебивает, вскипев, Коненков.

– Знаю, все знаю, но что поделаешь… сердцу не прикажешь.

– Он же… – и смолкает на полуслове.

– А вот я, бедная девочка, посвятила стихи Рюрику Ивневу!

И читаю:

Не пленяйся бранной славой,
О, красавец молодой,
Не кидайся в бой кровавый…

И так далее.

– Скажете, не стоило писать?

Отзыв Коненкова снисходителен. Да, очень мило, но все же… не надо вам писать: Сергей и свое, и ваше выразит лучше.

Я, конечно же, понимала, что прибегаю к запретному приему: одно и то же для разного времени звучит по-разному… Но слишком велик был соблазн немножко отомстить за отказ

женщинам в праве на творчество – да и за это упорное «неузнавание». Я сразу-то не учла, что выгляжу по-щенячьи, что и три года назад, и теперь я ему показалась моложе своих «совершенных лет»… Однако эффектную концовку Есенин мне скомкал, я готовилась закончить несколько иначе.

– А ты, Сергей Тимофеевич, Пушкина признаешь? – спросил он.

– Пушкин! Пушкин – это был Пу-у-шкин!

Есенин:

– А ведь она тебе Пушкина прочитала…

«Стенька Разин» уставил на нас растерянный взгляд. Растерянный и беззлобный. До чего же добрые у бородача глаза!

Дальше он стал меня уговаривать, чтобы я ему позировала. Без одежды.

– Отличная будет скульптура.

Смотрит на меня раздевающим глазом, но странно – меня от этого нисколько не коробит: глаз не мужчины, а художника. Уговаривает упорно:

– Не бойтесь. Я вас не обижу. Ну, хотите, вот и он (жест в сторону Есенина) будет тут же сидеть.

Смеюсь:

– Лучше уж свою жену приставьте дуэньей! Но нет, не могу: я и братьям никогда не позирую, сколько ни просят. Для меня это истинная пытка.

Что еще было в тот вечер? Пели хором: «Давай, Сергей, нашу любимую» – и затягивают народную песню. Добрый молодец… берег реки… конь… Но ни одного стиха не удержала память. У Коненкова голос густой, низкий, у Есенина высокий, чистый и чуть приглушенный; и оба поют, на мой суд, музыкально. Как никогда, я сейчас пожалела, что неспособна спеть ни одной фразы! Не так из-за неточного слуха, как от полного невладения голосом: даже читая с эстрады стихи, не знаю, как они у меня сейчас зазвучат – звонко или замогильным басом. Слух-то могла б и развить, но… мать у меня учительница музыки – ученики ходили на дом «насиловать простуженный рояль». Я сама себя наказала, как боги Фамиру-кифареда[19]: «Чтоб музыки не слышал и не помнил!»

Но самым важным для меня, самым памятным, было другое. Я вышла из-за стола – немного освежиться, умыть лицо ледяной водой. Сергей перехватил меня на кухне, тянется с ласками. Я отстраняюсь. И вдруг признание:

– Мы так редко вместе. В этом только твоя вина… Да и боюсь я тебя, Надя! Знаю: я могу раскачаться к тебе большою страстью!

Эти слова я привожу не ради их смысла: характерен самый

оборот речи, лепка фразы.

А для начала Сергей взял с меня слово, что я не буду позировать Коненкову: ни в платье, ни без.

Слова о «большой страсти» я запомнила надолго – на всю мою жизнь. Запомнила в их точном звучании. Часто раздумывала: а почему – «боюсь»? Что его страшило? Стать рабом своей страсти? Нет, она была бы взаимной, счастливой. Вот счастья-то он и боялся! «Глупого счастья с белыми окнами в сад».

Для Пушкина, для Гёте личная жизнь, какова она есть, составляла материал их поэзии. А для Есенина… Для него поэтический замысел подчиняет и самый ход его жизни. «Глупое счастье» заранее отвергнуто, изгоняется из поэзии… и из жизни: в творчестве «запрограммировано», сказали бы сегодня, иное – и поэтому… Не позволю себе «раскачаться большою (да еще счастливой!) страстью»!

Все, как есть – история, политика, законы естества, – для Сергея Есенина подчинено требованиям его поэзии.

Галин муж

Ноябрь двадцать первого – или несколько позже? Вечером до начала программы в «Стойле» я зашла к Есенину. Пришлось позвонить дважды. Когда я наконец попала в коридор, мимо меня бурно пронесся молодой человек, которого мне вроде бы случалось видеть и раньше. Высокий (повыше Сергея), стройный, волосы светлые, но не яркие, лежат аккуратно; правильные черты. На общий вкус красив, но лицо незначительное – прилепила я свой ярлычок.

Сейчас он едва не сшибся со мной. Крикнул через плечо – как видно, Есенину – «Наш разговор не кончен!», что-то добавил, прозвучавшее угрозой (уже с лестничной площадки), и захлопнул с размаху дверь.

Есенин крепко стиснул обе мои ладони.

– Вы вовремя угадали прийти!

– Кто такой? – спросила я. – Чего ему надо от вас?

– Муж Гали Бениславской, – услышала я неожиданный ответ. И дальше, помолчав:

– Н-да! Точно я за нее в ответе… за их разрыв… Не спешите, куда вы? Я же рад вам не только за избавление от дурного гостя. Всегда рад, вы же знаете!

А через два-три дня Сусанна Мар прибежала ко мне с очередной новостью:

– Надя! Галин муж заявился к Есенину, кидался на него – с бритвой, что ли, – норовил резануть по лицу, по глазам! А когда

пришел домой, застрелился.

– Есенину пулей не грозил?

– Нет, кажется. Хотел изуродовать.

– Это очень понятно: хорошенькие мальчики не понимают, что в этом женщина умней мужчины. Нам нужно кое-что помимо красивенького личика.

Перед Сусанной я делаю вид, что встретила новость с легкостью, однако в душе содрогнулась: тревожит и то, что эта смерть должна тесней связать с Есениным Галю. Но страшней другое: что новым грузом войдет в его сознание помысел о самоубийстве. Помысел, угаданный мною с первых же дней зародившейся дружбы, когда Есенин чудился мне идущим по канату.

Мне хотелось выяснить точнее: когда «Галин муж» кидался на Сергея – в тот ли день, когда мой настойчивый звонок прогнал «дурного гостя»? Или же (что более вероятно), он приходил еще раз («наш разговор не кончен»). Выяснить тогда не удалось. А в дальнейшем Есенин, видно, твердо убедил себя и Галю, что они не в ответе за… чужие «грехи перед партийной совестью».

Грозит слепота

Врачи, по словам Есенина, любят его припугнуть: что только ему ни грозит, если не бросит пить! Давно ли он объяснял мне, что его изнутри «собаки грызут» (и мне он рисовался тем спартанским мальчиком с лисенком за пазухой). Сегодня новое: грозит слепота! Он это объясняет мне у себя в Богословском, с глазу на глаз. Говорю: я, конечно же, тебя не брошу тогда – если ты меня сам не отстранишь, – и мои глаза станут твоими глазами… Но только…

– Только – что?

– Для меня это будет запоздалым счастьем, а я не желаю строить свое счастье на твоей беде.

Нет, разговор этот нечто вроде внутреннего монолога в фильме. На деле я стараюсь успокоить Сергея. Врачи преувеличивают опасность, не так страшен черт, как его малюют. И все в ваших руках: бросите пить – сохраните и глаза, и печень, и рассудок. И не время ли вам нацепить очки? Что, неохота – красоту попортит? Вы, Сереженька, изрядная кокетка.

Удалось-таки рассмешить и оторвать от непрошеных мыслей о подстерегающей слепоте. Я еще добавила: «Если впрямь потеряете зрение, как поэт Козлов, десяток женщин передерутся за честь и право заменять вам глаза! И вы остановите выбор, верно, на Жене Лившиц, меня отстраните, мол, ну ее – поэтесса!»

А он уже и думать забыл о врачах с их антиалкогольными хлопотами. Заводит речь о поэзии.

Между прочим, ему и себе в успокоение, я подчеркивала, что не такой уж он пропойца, пьет не водку, вино – и по три-четыре дня на неделе совсем бывает трезв – тогда и работает!

Это не в утешение говорилось – так оно и было. Весь двадцатый и двадцать первый год Сергей Есенин пил умеренно, куда меньше, чем очень многие его друзья-приятели. Возможно, это была самая трезвая полоса в его жизни, считая со времени создания «Ордена имажинистов».

«По впечатлению»

Богословский переулок. Поздний вечер. Год двадцать первый – или начало двадцать второго? Мы сидим вдвоем. Разговор об Анатолии и его Никритиной.

– Занятно, – говорю я, – давно поженились, а и на людях жмутся ненасытно друг к дружке, точно двое любовников, которым негде запереться от чужого глаза. Он-то ей предан безраздельно, а она? По-настоящему любит?

– Она любит то, что ей полезно, – отвечает Есенин. Но это прозвучало не в осуждение: скорей, сказала б я, наставительно. Мне, что ли, в назидание? Вот и недавно он мне сказал: «Замуж надо выходить за богатого».

А я, сама не знаю почему, с жестокой и несправедливой убежденностью очень молодого суждения объявляю:

– Гнусно, когда мужчина бьет женщину. Но француженок надо бить – слишком рассчетливы. И вашу Никритину надо бить. Как француженок. Она в душе меркантильна.

Сергей глядит на меня пытливо.

– Вы же еле обменялись с ней двумя словами. И так говорите… неужели просто по впечатлению?

А взгляд радостный и довольный. За его словами звучит: «Ну и молодчина».

– Просто по впечатлению? – повторяет он. Мне в похвалу!

Но не в радость была мне эта угаданная похвала. Я сквозь нее расслышала и крик одиночества, и боль нарастающей смертной тоски.

Ну, а сама похвала? Рассудить по совести… я же следовала методу гадалки: не сам ли Есенин словами о любви к полезному подсказал мне злобное мое и несправедливое суждение?

И еще подумалось: ох и крепко же ты, Сергей Есенин, не любишь нашего милого мартышона, Анну Борисовну Никритину!

Чтоб с престола…

Книжная лавка имажинистов на улице Герцена. Сгрудившись над прилавком, Есенин, Айзенштат, Мариенгоф, еще кто-то просматривают листы корректуры. Я в сторонке перебираю книги – старые и новинки. Есенин тихо, но весело посмеивается.

– Все-таки по-моему будет! Обхитрил цензуру.

Это «Пугачев». Глава, озаглавленная «Осенней ночью». Последний монолог Пугачева. Если заглянуть в шеститомник 1972 года, найдете в нем такую строку: «чтоб с престола какая-то» – а дальше строчное «б» и три точки. Но здесь, в корректуре, никаких точек, набрано полностью. Спор же с цензурой шел лишь о первой букве. Есенин настаивал, чтобы слово было пропечатано с прописного «Б». Цензура не разрешила. Сергей пошел на хитрость: выправил в корректуре – словно бы устранил опечатку. И рад, как дитя.

Женщина хоть куда

Декабрь двадцать первого года. Как и все вокруг, я наслышана об этой бурной и мгновенно возникшей связи: стареющая всемирно прославленная танцовщица и молодой русский, советский поэт, еще не так уж знаменитый, но очень известный, недавно ходивший в «крестьянствующих», а сегодня предъявивший права на всенародное признание. Изадора (буду звать ее как она сама себя звала) громогласно провозглашает свое сочувствие русской и чуть ли не мировой революции (не слишком ли дешевое? но по-своему искренное). Добряк Анатолий Васильевич[20] наобещал ей в Стране Советов такое, что был невластен дать. Под ее руководством все дети будут у нас приобщены к занятиям пластикой! Для нее самой – гастроли по всей стране перед новым, едва вкусившим от европейской культуры зрителем… А пока… утешайся полученной в подарок от республики роскошной норковой шубой! Артистка не сразу осознала, как обманута ее наивная доверчивость. Но вот среди всех ее горестей – счастье: поздняя и как будто взаимная любовь.

Полвека спустя Валентин Катаев, вспоминая вызванное скандальной этой связью – Дункан – Есенин – дружное осуждение поэта в литературно-театральной среде, воскликнет: «А ведь она была еще женщина хоть куда!» Что же так возмущало людей?

В страстную искреннюю любовь Изадоры я поверила безоглядно. А в чувство к ней Есенина? Сильное сексуальное влечение? Да, возможно. Но любовью его не назовешь. К тому же мне, как и многим, оно казалось далеко не бескорыстным.

Есенин, думается, сам себе представлялся Иванушкой-дурачком, покоряющим заморскую царицу. Если и был он влюблен, то не так в нее, как во весь антураж: тут и увядающая, но готовая воскреснуть слава, и мнимое огромное богатство Дункан (он получает о нем изрядно перевранный отчет!), и эти чуть не ежевечерние банкеты на Пречистенке для всей театрально-литературной братии… море разливанное вина… И шумные романы в ее недавнем прошлом. И мужественно переносимая гибель (насильственная, если верить молве) двух ее детей… Если и живет в нем чувство к этой стареющей женщине, по-своему великолепной, то очень уж опосредствованное… И еще добавлю: не последним было здесь и то, что Есенин ценил в Изадоре Дункан яркую, сильную личность. Думая так, я вспоминала еще весной двадцатого года сказанные мне Сергеем слова: «Ведь там, где нет личности, там невозможно искусство».

С такими представлениями, с такими думами вошла я в тот зимний вечер в «Стойло Пегаса». Уже с порога увидела ее. Женщина красивая, величественная одиноко сидела в левом углу, в «ложе имажинистов». Видно, что рост у нее немалый. На длинной полной шее (нет, не лебяжьей – скорее башня колокольни), как на колокольне луковка купола, подана зрителю маленькая, в ореоле медных волос голова. Мелкие правильные черты; если что и выражают, то разве что недовольство и растерянность. Шнейдер, ее импресарио и переводчик, запаздывает… И нет почему-то Есенина!.. Прочие поэты жмутся в проходе по правую сторону эстрады. За гостьей, однако, зорко наблюдают. И ехидно пересмеиваются. Втянули в их толпу и меня: «Смотрите, смотрите! Дункан!»

Женщина открыла сумочку, перед карманным зеркалом (ух ты, какое большое!) подкрашивает губы. Молодые зрители-поэты хихикают: «Смотрите, смотрите, губки красит!»

Мне их смех поначалу непонятен. Ну и что? И Мар, и я, и Стырская – мы же все вот так же открыто наносим помаду, когда ее смыло вино или кофе…

Но вдруг мне стало ясно: смешит не то, что красит, а эта деловитость: актриса не косметику наводит, а грим! И какой грим! На деле ей сорок четыре. Выглядит она отнюдь не моложе своих лет. По личному ее (и деловому) счету ей тридцать восемь – и публика щедро отпускает ей все сорок восемь! У тебя, небось, косметика не нашей чета. Ну, молодись на тридцать пять! Так нет же: Изадора рисует себе наивные губки бантиком, строит личико юной семнадцатилетней девчушки! И от этих ее потуг поблекшие в страстях и горестях тускло-голубые глаза кажутся совсем уж старушечьими… Я тогда определила «семидесятилетними» – а

сегодня надбавила бы еще два десятка лет: не просто старыми, а мертвенными показались мне вблизи глаза Дункан.

Во всей толпе молодых поэтов ни один, оказалось, не может объясниться ни на одном иностранном языке – а ведь гостья владеет не только английским, но и немецким и французским. Сразу вспомнили, как я недавно справилась с переводом для Коненкова, и кинулись ко мне: «Выручайте». Меня приводят в тот угол. Сразу присоединились поэты, актеры… А гостья еще недовольна.

– But you speak American with English accent[21], – обиженно роняет она.

– Вы мне льстите, – ответила я. Мой акцент вернее было бы назвать нижегородским – что ж, перейдем на другой язык.

Остановились на немецком. Да он и мне был в те годы лучше знаком, чем английский.

Неделю-другую спустя, снова встретившись в кафе с Дункан, я, возмущенная общими и не очень-то правомерными насмешками в адрес Есенина, подошла к Дункан и слепила немецкую фразу:

– Ihre wortlose Liebe ist so rührend![22]

Я сказала это искренно – только о ее любви, не о любви Сергея.

Она внимательно посмотрела мне в глаза, поняла, что я не смеюсь, и пригласила бывать на ее банкетах. Получила приглашение и Сусанна Мар. О ней Дункан сказала так: «В Москве есть два красивых человека – Сергей Есенин и Сусанна Мар». Красота Сусанны была особого рода – внесексуальная. Мар напоминала мне мужской портрет Джорджоне в Берлинском музее или знакомую всем гимназистам картину из учебника истории «Корнелия, мать Гракхов». Мы уверяли, что Сусанна Мар похожа сразу на мать и на обоих мальчиков. Она любила по-своему заломить руки. То ли восточная красавица с конфетной коробки, то ли «Демон» Врубеля.

Дома у Дункан я побывала дважды – оба раза (так уж получилось) в отсутствие там Есенина. Длиннющий под скатертью стол, пестрая рать пирующих, вино на все вкусы, затянутая алым люстра. Мне уже потому не по себе, что слишком много алого вокруг… («как весной семнадцатого года у сомнительных приверженцев революции!»). Сама Изадора тоже в огненно-красном: длинный, вроде греческого пеплоса балахон, оставляющий открытыми шею, плечи и верх груди – их отчеркивает прямая горизонтальная линия среза, пропущенная под мышками. Плечи, шея – великолепны. (Но место, где руки пришиты к ключицам, оскорбляет глаз преждевременной

дряблостью. Тут уж ей дашь все пятьдесят.) Но вот она встает, пританцовывает на месте. И каждое ее движение выразительно и прекрасно! Если бы так одетая она выступала на сцене!

Разговор идет в основном по-немецки, Шнейдер переводит. Здесь, как было в «Стойле», никто ни на одном языке ни в зуб ногой! Может, и знают, но говорить стесняются.

Если Есенин позволял себе пренебречь ее банкетом, Дункан, как правило, сажала рядом с собой кого-нибудь из гостей, кто ей приглянулся (так у Гомера Ахиллес заменял Бризеиду другой рабыней). Когда же гости станут расходиться, она пригласит избранника остаться и разделить с нею ложе. Это делалось смело, в открытую!

Двуспальное царственное ложе ждало здесь же, в банкетном зале, застланное алым покрывалом.

«Египетские ночи» по-американски!

Бестелесная

Зима с двадцать первого на двадцать второй. Захожу, как условились, к Есенину в Богословский. У него Почем-Соль (то есть Григорий Колобов) со своею Эрн (Мариенгоф заслуженно прозовет ее «Вещь»). Я ее зачислила в «непролазные мещанки». Но Колобов, похоже, крепко к ней привязался. Обсуждается намеченная поездка – не в Персию ли? Эрн скоро ушла. Сергей объясняет, что ждет к себе из деревни сестру Катю.

– Она еще девочка, и пятнадцати нет. На время, что она будет у меня гостить, вы ко мне не заходите.

Я набычилась: почему он боится знакомить меня с сестрой? Не такая уж я богема! Есенин переводит разговор на шутку – пока моя накипающая обида не обернулась очередной размолвкой: давно ли мы помирились после той моей рьяной выходки из-за Хлебникова!

Вышедший было проводить жену, возвращается Почем-Соль.

– Едем! – зовет он Есенина. – Я подрядил извозчика. Подкину вас в «Стойло», а сам по делам.

Сергей усаживает меня «третьей лишней» в сани между собой и Колобовым. Тот удивлен:

– Да что она – бестелесная? Стала третьей, а тесней не стало!

– Да! – подхватил Сергей. – Совсем тоненькая!

В голосе нежность и… разочарованность.

А я и впрямь таю на глазах: идет туберкулезный процесс в легких, но я узна́ю об этом только через три-четыре месяца.

Издатель

Зима с двадцать первого на двадцать второй. Хозяйски развалившись, он сидит в ложе имажинистов. На нем бобровая шапка, шуба, крытая черным сукном, бобровый воротник с обильной сединой. Одна пола откинута, и видим – шуба-то и вся на бобрах!

Есенина отозвали приятели к другому столику. Отошел и сидевший с нами художник Дид-Ладо. Я остаюсь с владельцем шубы одна. Мне уже известно, кто он: издатель «Альционы» (?) Вольфсон. Есенин издалека все косится на нас…

«Шуба» оказался скучным собеседником – или я была ему скучна? Предложил мне вина – я наотрез отказалась. Спросил, выходило ли у меня что-либо в печати. Нет, пока ничего. Меня знают только по эстрадным выступлениям. Когда я встала, Вольфсон предложил:

– Меня ждет извозчик. Если разрешите, я вас подвезу. – Справился, где я живу.

– Неподалеку. В Хлебном переулке.

Мы еще не дошли до выхода, когда Есенин отозвал меня на минутку.

– Учтите: это очень дурной человек.

Я усмехнулась: это видно по лицу – да и по шубе.

В те дни у меня с Сергеем был очередной разлад. Из «Стойла» меня всегда кто-нибудь провожал. Свой переулок я в шутку называла «Пятисобачьим», потому что в нем проживало пять поэтов; да и на Молчановке жили Буданцев с Ильиной. Нередко шли со мною Иван Грузинов или Марцелл Рабинович, случалось – Ечеистов и другие художники… Сергей всегда ревниво смотрел нам вслед, однако ни тут же, ни при новой встрече не позволял себе худого слова о моих провожатых, хотя, конечно, и среди них были люди сомнительной нравственности или дурного обхождения с увлекшейся девушкой. Что же сейчас побудило поэта предупредить меня? Не мог же он испугаться, что меня соблазнит явно богатый поклонник! Уж настолько он должен бы меня знать! Нет, не в роскошестве дело, не в шубе. Знаю, что тебя смутило, Сергей. Поэтесса, думаешь, пойдет на многое, чтобы только вышла у нее книжечка стихов!

А «поклонник», пока мы ехали, не позволил себе никаких вольностей.

Вернусь – другой буду!

Год двадцать второй. Зима (февраль?). Есенин зазвал меня к себе… Днем… На прощанье.

– Еду в Персию!

Не помню, кто еще в комнате. Ваня Старцев? Или Почем-Соль? Сергей нежен со мной, как никогда.

Вдруг встает. Вытаскивает откуда-то квадратный листок полутвердого картона – размер чуть побольше, чем, скажем, «Харчевня зорь». Цвет темно-желтый. Сверху печатными, крупными буквами (вырезанными из газетных заголовков и наклеенными): «Сергей Есенин».

Посередине страницы тоже печатными, но еще крупнее:

Страна негодяев

Любопытная черта: едва приступив к новой вещи, Есенин уже видит ее в мыслях книжкой.

Мне чудится: не так он устремился в Персию, как бежит от Изадоры, от пьяного угара. Иван-дурак бросает свою заморскую царицу! Потому так и тянется сейчас ко мне.

Когда я поднялась уходить, он взял мои руки – каждую в свою, – повернул ладонями кверху, широко их развел и крепко каждую поцеловал в самую середину ладони (в уме мелькнуло: стигматы разглядел!).

– Вернусь – другой буду!

Помолчав, добавляет – на ты:

– Жди!

Долго ждать не пришлось. Чуть не через две недели примчался назад. Прямо в объятия Дункан.

А Персия сорвалась.

На крыше

Было это, видимо, незадолго до отъезда Сергея с Дункан – уже после несостоявшейся Персии. Сергей без приглашения разыскал меня в коминтерновском общежитии в Глазовом переулке: семиэтажный – или выше того? – домина. Постучался в мою комнату.

– Что за жилье? Коробочка! Зачем вы сюда перебрались, ведь у вас с сестрой была такая чудесная комната, просторная… чуть не зала. Добыли бы что-нибудь для вашей Любы… Для отца смогли же…

От этого, объясняю, Люба перестраховалась: поставила к нам спасенный мамин рояль. Я сбежала в эту конуру коминтерновскую (для того и на работу к ним устроилась) не так от сестры, как от ее музыки. Да и надоело – вечно подселялись родичи. Сюда уж не въедут!

Такие заботы Сергею непонятны. Сам он и не любит, и не

может жить, как я, один!

– Вы слишком добрая, – поучает. – Обо всех вам забота, только не о себе.

Это было среди бела дня. Со своего пятого этажа я веду Сергея наверх, на обширную плоскую крышу – мой «закоулок для прогулок». Отсюда открывается чудесный вид на город! Сейчас тут никого, рабочий день еще не кончился. Стоим вдвоем у самой баллюстрады, совсем низенькой.

– Если вас это повеселит, – говорю, – могу спрыгнуть вниз.

Сергей испуганно оттягивает меня к середине площадки. Явно забоялся, усмотрев в моих словах вполне осуществимую угрозу. Или и самого, как бывает, поманило… нет, не «плюнуть с высоты дяденьке на кепку», а ринуться вниз головой? Не мог бы в тот час поручиться не за меня одну, а и за себя? Или тянула и втайне страшила предстоящая поездка? Это было мне тогда ясно из всего, что он успел высказать в разговоре. Сорвались и такие слова: «Нужно ли? Сам не знаю…»

И еще: «Будешь меня ждать? Знаю, будешь!»

Почти просьба. И заповедь.

Хотя на этот раз он не посмел, как при сборах в Персию (давно ли?), прямо сказать: «Жди».

А я в мыслях вдвойне осудила тогда Сергея за эту его попытку «оставить меня за собой ожидающую, чтобы и после продолжать мучительство». Мне чудится: с меня с живой кожа содрана – а он еще и солью норовит посыпать…

И с болью вдруг поняла: не меня он терзает, не может не терзать, а самого себя!

К осуждению прибавилась горькая жалость.

ФЕТИДА

Душу пропил дьяволу,
Звездный гуд в башке…
Закидало палубу
Чехардой ракет.
Мол, пустеет, берег стынет,
Звездный гуд в ночной мошне.
О любезном смертном сыне
Плачет Фетис в тишине.

Днем звенели радуги
О моей любви.
Где дельфины прядали.

Там следы твои.
Камень в руку друг мне сунет,
Ночь в лицо швырнет звездой.
О любезном смертном сыне
Плачет Фетис – в дождь и зной.

Звезды. Веет холодом
От летейских пчел
Тем, кто счастью смолоду
Подвиг предпочел.
Золотую славу чая,
Плечи воина болят,
А по нем уже скучают
Елисейские поля!

Губы сушит засухой…
Милый, пощади!
Только память ласкова
На моей груди.
Даже пчелам больно жалить
Плечи подвигом болят.
Это нам пора отчалить
В Елисейские поля!

Часть третья
Блудный сын
(1923–1925)

…И вдруг захлебываться стал,
Вдруг затонул – у входа в гавань.

Подновляем автобиографию

Август двадцать третьего. Я не спешу прервать свой летний отдых в Дмитрове. Впервые живу в уездном русском городе. Черным месивом грязь на немощеных улицах, ноги вязнут по щиколотку, хожу босиком. Знаю: Есенин вернулся. Но в Москву не рвусь, дала зарок: не стану возобновлять мучительную связь.

Около двадцатого августа появляюсь наконец у себя на Волхонке.

– Где ты пропадала? – накинулась на меня Сусанна Мар. – Есенин мне проходу не дает: куда вы подевали Надю Вольпин? Просто требует и с меня, и со всех. Мартышка уже пристраивает к нему в невесты свою подругу, Августу Миклашевскую. Актриса из Камерного. Записная красавица.

С Есениным встретилась я дня через два – где-то в редакции, точней не помню. Он тащит меня обедать в «Стойло Пегаса». С нами пошли и Мариенгоф с женой. В «Стойле» их ждут какие-то неведомые «лучшие друзья».

– А вы располнели, – бросает Мариенгоф.

– Вот и хорошо: мне мягче будет, – усмехнулся Есенин, с вызовом поглядывая на Никритину. И по-хозяйски обнимает меня вокруг пояса. Меня коробит от слов Сергея, от их самонадеянного тона. Знаю, что он Мариенгофа поддразнивает, а пуще «сваху». Я и вправду поправилась, но лишь немного, от силы на один килограмм. Когда Есенин уезжал, я была не на шутку больна – шел процесс в легких. Сейчас как будто затих.

В «Стойле Пегаса» идет застолье. Вино, салаты, мясные блюда. Сергей ревниво следит, чтобы я «за разговором не забывала о еде». Но сам едва притрагивается к закускам. Да и пьет мало (как обычно, только вино – не водку). Анна Борисовна давно уволокла Мариенгофа. Прочие «друзья» прочно приросли к столу. Иные мне знакомы (Сергей Клычков, например), но далеко не все. Из новых лиц запомнился небольшого роста еврей-землепашец лет сорока, бывший кантонист. Очень самоуверенный, с Есениным держится точно и впрямь старинный

друг-приятель. Ни в прошлые годы, ни позже я никогда не видела его в окружении Сергея – и не слыхивала о нем. Я и сейчас не помню его имени: возможно, оно не было названо.

Сергей разговорился. Нет, не о зарубежном. Много и жадно вспоминает рязанскую родину. Рассказывает о дедушке своем, Федоре Титове. Как тот отчитывал Александра Никитича Есенина: «Не тот отец, кто породил, а тот, кто вырастил!» Добавляет:

– Крут старик. А умен!

Автобиография выглядит подновленной. Сообщается, что дед вовсе был не крестьянин, что у него «два парохода по Волге ходили» (прежде Есенин и о двух дедовских баржах, в самом деле ходивших у Титова в Питер по Неве, осмотрительно помалкивал). Долго говорит о матери. Говорит восторженно, с сыновней влюбленностью. Расписывает ее «из красавиц красавицей!»:

– Статная, глаза синие, огромные, а коса толстенная, темно-русая! – И показывает руками: скажешь, кобылий хвост.

Татьяна Федоровна, мать поэта, была тогда еще далеко не стара. Я впервые увижу ее через два с половиной года: даже и «следов былой красоты», как писалось встарь, я не приметила, хотя не только сын, многие вспоминали ее как этакую деревенскую Афродиту. Мне запомнился ее неласковый взгляд, строгое самовластное лицо. И резкие продольные морщины, вернее, складки, исчертившие его. Да еще широкий лоб – единственное, что получил Сергей от матери: на отца он был очень похож, как и его сестра Катя, но лоб у Александра Никитича, в отличие от сыновнего, был сжат в висках (и у Кати тоже).

Зашла речь о поэзии – иначе и быть не могло.

Есенин:

– Кто не любит стихи, вовсе чужд им, тот для меня не человек. Попросту не существует!

С первой же просьбы (не Клычкова ли?) Есенин стал сперва читать кабацкое. Потом неожиданно прочел кое-что на любовную тему… Разговор легко перекинулся на «невесту».

Не одна Сусанна Мар – все вокруг понимают, что актрису Камерного театра «сосватала» Сергею жена Мариенгофа, хотя сама Никритина в дальнейшем всячески это отрицала: не потому ли, что дело так и не завершилось браком или устойчивой связью?

Чей-то голос:

– Говорят, на редкость хороша!..

Другой перебивает:

– Давненько говорят. Надолго ли хватит разговору?

Есенин (с усмешкой):

– Хватит… года на четыре.

Я:

– Что, на весь пяток не раскошелитесь?

И вспомнилась мне моя тетя Люба, отцова сестра. Всю замужнюю жизнь она прожила в Рязани женою скромного земского врача. Ей было под шестьдесят в ее последний приезд в Москву. Иду с ней по Тверской – каждый, мужчина ли, женщина, восхищенно смотрит на нее, а после проводит взглядом. Молва о ее красоте пережила ее на добрых полвека.

Снова слышу:

– Не упустите, Сергей Александрович, если женщина видная, она всегда капризна. А уж эта очень, говорят, интересная.

Сергей, поморщившись (боюсь, не мне ли в угоду?):

– Только не в спальне!

Я вскипела: это уж вовсе не по-джентльменски! Просто руки чешутся отпустить ему пощечину… за ту, другую! Но мне впору обидеться не за другую, за себя.

Голос кантониста:

– На что они вам, записные красавицы? Ведь вот рядом с вами девушка – уж куда милей: прямо персик!

А Сергей в ответ – с нежностью и сожалением:

– Этот персик я раздавил!

Бросаю раздраженно:

– Раздавить персик недолго, а вы зубами косточку разгрызите!

Сергей только крепче обнял меня.

– И всегда-то она так: ершистая!

(Дальше и вовсе разоткровенничался, хоть нисколько не пьян. Встать и уйти? Но нет сил…)

– Вот лишил девушку невинности и не могу изжить нежности к ней.

А через две-три фразы добавит (совсем уж неуместная интимность!):

– Она очень хорошо защищается!

Я уже и обижаться перестала, знаю: сейчас он ведет разговор не с этими полуслучайными «друзьями» – с самим собой.

Те понемногу расходятся. Нас осталось трое – Сергей, кантонист и я. Сергей, извинившись:

– Я отойду на четверть часика, надо кое-чем распорядиться. – И, бросив новоявленному другу: – «Не давайте ей убежать, голову оторву, если отпустите!» – оставляет меня с тем наедине. Кажется, за всю жизнь я не выслушала столько доброжелательной пошлости, как за те четверть часа!

Вернулся Сергей. Кантонист откланялся. Выходим на улицу.

«Ведущая» – я. По традиции посидели у Пушкина. Потом – чтоб окончательно протрезвиться – пьем в каком-то маленьком кафе черный кофе.

– Я знаю, – начал было Есенин. – Ты не была мне верна.

Не приняв этого «ты», я обрываю:

– Вы мне не дали права на верность.

Сергей рассмеялся.

И вот мы у меня, на Волхонке. Антресоль. Комната просторная, но неуютная, необжитая. Надо ли добавлять, что все мои зароки оказались напрасны! Расставаясь поутру, Сергей сказал истово:

– Расти большая!

Трое

Москва, 1923 год. Середина сентября. Смеркается. Иду с Есениным по Тверской. Нам навстречу Галя Бениславская. Он подхватывает и ее. Все втроем заходим в кафе Филиппова, как говорили по старой памяти москвичи. Есенин жалуется на сильные боли – и проводит рукой по правому подреберью. «Врач, – поясняет он, – грозится гибелью, если не брошу пить». Я глупо пошутила, что белая горячка все же почтенней, чем, например, аппендицит: приличней загнуться с перепоя, чем с пережора. Галя вскинулась на меня: «Вот такие, как вы, его спаивают». Ну и расхохотался же Сергей!

Что Бениславская относится ко мне крайне недружелюбно, я знала и до поездки Есенина за границу. Что она, как только может, «капает» на меня, я, хоть не знала, но догадывалась. Но что в ее наговорах столько непреодоленной злобы, не думала. Сама я о ней не обронила при Есенине ни единого недоброго слова. А ведь у меня, как уверяли близкие, ядовитый был язычок. Но я так и не научилась ревновать любимого к женщинам и по-прежнему видеть не могу его самолюбование перед зеркалом. В моих глазах он «безлюбый Нарцисс». И я подозревала: он знает это сам, и это его гнетет.

Землячка

Двадцать третий год. Золотая осень. Где-то между двадцатым и двадцать пятым сентября. Есенин на тот вечер назначил мне встречу в «Стойле Пегаса». Прихожу как условлено. Останавливаюсь в дверях. Он стоит под самой эстрадой с незнакомой мне женщиной. С виду ей изрядно за тридцать, ближе к сорока. Несомненно, провинциалка. По общему облику –

сельская учительница. Тускло-русые волосы приспущены на лоб и уши. Лицо чуть скуластое, волевое. Нос с горбинкой, не восточный, а чисто славянский. «Здесь обошлось, – мелькнуло в уме, – без финской закваски». Рост, пожалуй, средний, повыше меня, но значительно ниже собеседника. Так что говорит она с ним несколько вскинув голову. Чем-то крайне недовольна. Слов я издалека не слышу, но тон сердитой отповеди. Почти злобы. На чем-то настаивает. Требует. Есенин с видом спокойной скуки все от себя отстраняет. Уверенно и непреложно. Мне неловко: точно я случайно подглядела сцену между любовниками. В детстве брат подразнивал меня бывало: «неисправимая суфражистка». Пусть она старше его по виду на все десять лет, я склонна осудить Сергея за обиду, наносимую женщине. Как недавно задета была «неджентльменским» словом об Августе Миклашевской.

Есенин подает мне знак подождать. Но с гостьей не знакомит.

Женщина удалилась, бросив: «Что ж! Я ухожу!» Даже не кивнула на прощанье.

– Кто такая?

– Так. Одна… из наших мест.

– Землячка?

– Ну, да!

А у меня вспыхнуло в памяти имя: Лидия Кашина! Та, кому посвящена «Зеленая прическа»…

Многие годы спустя я увидела в одном издании портрет Л. И. Кашиной. На портрете она смотрела моложе и красивей. Но то же решительное, властное лицо – знакомое лицо «землячки».

Впоследствии я узнала, что как раз об эту пору – в сентябре 1923 года – Кашина появилась в Москве.

Посвящение можно и снять

Мой бедный друг, ступай, как шел —
Земле не тяжело:
Ей не сомнет зеленый шелк
Ее детей веселый полк,
Веселый и живой!

Осень двадцать третьего. Я сижу в своей комнате на Волхонке за неудобным для письма овальным столом, записываю с вариантами это свое новое стихотворение, еще не завершенное.

Стук – и, не дожидаясь ответного «войдите», «бедный друг» распахивает дверь.

– Можете быстро собраться? Внизу ждет извозчик. Едем

вместе!

– Куда?

– Объясню дорогой. Приберитесь.

Ополаскиваю в тазике лицо. Сбрасываю шлепанцы, проверяю на себе чулки: как будто целые. Влезаю в туфли на венском каблуке. Платье… сойдет и это, оно хоть сидит хорошо, лучше моего парадного. Берусь за помаду.

– Бросьте, вам без краски лучше. И пудры не надо.

В пролетке узнаю: у Георгия Светлого день рождения. Сергей везет меня к ним.

– Светлый? Знаю, такой же белесый, как Ганин. На деле его зовут Павличенко?

– Да. А жена у него художница. Хорошие люди. Вы у них бывали?

– Никогда.

Я почему-то пугаю Георгия Светлого с художником Комарденковым – тоже очень белым. Только у того лицо широким ромбом, а у Светлого – прямоугольником… Против них Есенин смотрится чуть не русым.

Встречают нас (верней – Есенина) с истинным радушием, даже с радостью. В комнате полно народу. Большинство на ногах, но для нас сразу очищают место: садимся в изножье широкой тахты, на торце. Я в углу у стенки, Сергей рядом, оставив место еще кому-то; в тесноте, да не в обиде. Наискосок против нас вижу рослую (и как всегда немного встрепанную) фигуру Сергея Клычкова. Он останавливает на мне ревнивый глаз – но дело не во мне, в Есенине. Зачем это все (и я в том числе) так его любят? Зачем сам он, Клычков, не может его не любить?

Пьют. Едят «а ля фуршет». Просят Есенина почитать новые стихи.

Он прочел сперва из «Москвы кабацкой»: «Сыпь, гармоника. Скука… Скука!» и «Пой же, пой…». Потом из нового цикла.

– Посвящается Августе Миклашевской.

Клычков сощурился, смотрит с осуждением.

Все эти стихи я уже слышала. Есенин читает, как всегда, вдохновенно. Кончил. И тут заговорил – первым же – Сергей Антонович. Медленно, веско… Почти сердито, с подчеркнутым «оканьем».

– Пушкин любил Волконскую десять лет[23], прежде чем посвятил ей стихи. Ты же и десяти недель не знаком с женщиной, а уже, извольте: посвящаем ей чуть не книгу стихов!

Слова Клычкова меня не удивили – удивило, что Есенин счел нужным оправдываться. Что его так задело? Это станет ясней через полгода, когда он распишет Пушкина под себя

(«Блондинистый, почти белесый… О, Александр, ты был повеса, как я сегодня хулиган»).

– Да разве это к Миклашевской? Это к женщине вообще. Поэт – к русской женщине.

И добавляет, искоса глядя на меня:

– Вольпин знает.

– Нет, Вольпин не знает, – вставляю я с вызовом. – Ничего Вольпин не знает.

Сергей только усмехнулся. Зато при очередной публикации цикла «Любовь хулигана» посвящение было им снято. Не помню точно в какой. Возможно, в журнальной. Но очень помню свою досаду при чтении: Сергей Клычков бросил слова о Пушкине и Волконской – и пожалуйста, радуйтесь: снимаем посвящение.

Впрочем, и в четырехтомнике (1926 г.), где не соблюдался строго календарный порядок, посвящение отсутствует. Да и в позднейших изданиях оно загнано в примечания. Добавлю: три первых тома собрания 1926 года Сергей Есенин составлял лично.

Для меня в этом вопросе интересно не отношение Есенина к Августе Леонидовне Миклашевской, а то, как близко он принял к сердцу упрек Клычкова: его сопоставление «Есенин – Пушкин», и притом не к выгоде для нового поэта.

Мы поедем вместе домой, и Есенин станет у меня выпытывать, как я смотрю на новые его стихи. Сегодня я слушала их не по первому разу, значит, у меня составилась оценка.

Жаль, но я не смогу открыть перед ним мои думы. Как я скажу ему: выше всего ценю те «кабацкие» стихи! Здесь вся душа поэта, с надломом, с отчаянным этим раздвоением. Самоистязание – и громкий крик «Я с собой не покончу»… но в нем-то и слышится признание о тяге к расправе над собой. Ничего искренней и глубже этих стихов я у него не знаю. И узнаю ли?

Ну, а «Любовь хулигана»… В жизни-то хулигана нет, есть лишь поза хулигана в стихах. Нет и его любви: есть жажда полюбить. Ты сказал: «Стихи не к Миклашевской, они к русской женщине вообще, и в частности, знаешь сама, к тебе…» Нет, неправда. На стихах отпечаталось и что-то от облика твоей красавицы, даже ее имя обыграно.

Это все останется в моих думах, но в них я тебе никогда не признаюсь, мой бедный друг!

К истории одного стихотворения

Возвращение

– Ужель заказана навек
Обратная дорога?
Пусти, подруга, дай ночлег! —
Он молит у порога.

«– Три дня я плакала навзрыд,
О мертвом вспоминая.
Прости, как бог тебя простит,
С другим сговорена я».

Он к матери стучится в дверь.
– Вернулся сын твой милый:
Во мне узнаешь ты теперь,
Кого, любя, вскормила?

«– Три ночи ветер выл в трубе…
Простимся без обиды:
Я заказала по тебе
Четыре панихиды!»

Тогда он вспомнит: три свечи
И праздник новоселья,
И заторопится в ночи
К своей последней келье.

– Нежнее всех любимых тел,
Покуда жизнь горела,
Тебя я нянчил и жалел,
Мое земное тело.

Я веселил тебя вином,
Купал в любви и славе,
Я буйством оглашал твой дом,
Я ловкой пляской правил…

Когда же эта кровь, сомлев,
Наскучила весельем,
Я возвратил ее земле
Смертельным, трезвым зельем.

Нежнее всех любимых тел,
Заботливей и слаже
Тебя до смерти я жалел —
И после смерти даже!

Это стихотворение – с некоторыми разночтениями (частично они – моя уступка редактуре) – напечатано в сборнике Ленинградского Союза поэтов («Костер» – Ленинград, 1927). И многими было оно воспринято как отклик на смерть Есенина. Между тем эти стихи – точнее, их первый, более пространный (и слишком рыхлый) вариант, под названием «Баллада о вернувшемся», – были мною сложены еще ранней осенью 1923 года и внушены тем впечатлением, какое производил на меня (как и на многих) Сергей Есенин по возвращении из заграницы. Тот полный вариант я не раз читала с эстрады в течение двадцать четвертого и двадцать пятого года.

Знакомлю с историей его возникновения.

Кажется, не было в моей жизни ничего страшнее той ночи. Я вижу все так же отчетливо и подробно, как тогда. Как полвека и более тому назад. Не «помню», а именно вижу.

Большое полутемное помещение. Больничная палата? Не знаю, я к тому дню еще ни разу в жизни в больнице не лежала, не доводилось и навещать кого-либо в больницах. Не ясен источник света – откуда он, этот полумрак. Широкая прямоугольная колонна уходит к высокому потолку, я сижу на чем-то каменном (но не холодном), припав к каменному левым плечом; сижу в ногах такого же твердого незастланного ложа. На ложе, без подушки, неприкрытый и обнаженный (в неподробной наготе) лежит Сергей. Тело тускло-серое, по левому боку вижу проступившие сине-лиловые пятна. Я в тоске и смятении. «Это летаргия. Почему не идут врачи? Два дня! Пролежни. И нужно же кормить. Искусственное питание? Ну, да…»

…Ах, надо скорее звать врачей, но как отойти? Еще придут служители, подумают, мертвый – и уволокут в мертвецкую… «Мы пришли забрать тело!»… Жуть.

Гляжу с тревогой в пустоту темного, без двери, входа в коридор, в дальнем правом углу комнаты. И длится это томительно долго. Но вот застрекотали молодые женские голоса. В проеме входа показалась стайка девиц. Подруги Гали Бениславской. Яснее других различаю в их толпе худощавую и высокую Соню Виноградскую. И красивое, невыразительное лицо белокурой, голубоглазой Лиды, с которой Галя давно раздружилась. Но ведет их не Галя, а вовсе Женя Лившиц. Сухая, стройная, с очень изящным строгим лицом. Выступает шага на два вперед.

– Так вот и будете, – это она ко мне, – сидеть возле трупа?

Так и есть! Сочли умершим. С трудом подавляя гнев, я произношу, стараясь сохранить хотя бы в голосе спокойствие:

– Нет, это не смерть. Приведите врачей.

И что-то твержу свое – о летаргии, об искусственном питании. И о пролежнях.

На губах Жени кривится холодная, чуть брезгливая улыбка.

– Не видите? Какие еще пролежни. Трупные пятна…

Знаю, но все не верю: да, мертвый, да, трупные пятна…

Я проснулась в холодном поту и долго лежала, не смея шевельнуться, на жесткой кровати в убогой комнате, куда меня переселили из общежития Коминтерна. Где всю зиму жильцов донимали крысы.

Безмерный ужас. Одолеть его можно (если можно!) только перегнав в стихи.

В уме, не занося на бумагу, слагаю первые четверостишия «Баллады о вернувшемся» – строки, отброшенные в окончательном тексте.

Ему приснился черный труп,
Когда он выпил зелье,
И он в холмистую страну
Пришел на новоселье.

Не встретил ангел земляка
Зарайским хлебом-солью…
Лишь затряслися облака
Под ветхой антресолью.

А вечером застолье в кафе СОПО (Тверская, 18). Я сидела там и ужинала с Аделиной Адалис, когда к нам подошел критик Федор Жиц и предложил познакомиться с его другом, «который хочет угостить поэтов». Сдвигаются столы. Жиц и его друг – на торце во главе тройного стола, я – напротив них у другого конца. Адалис по левую сторону, но не вовсе рядом со мной. Товарищ Жица угощает нашу довольно многочисленную компанию (хоть я и не помню сегодня, кто там был из знакомых, кроме Адалис) в связи с большой своей удачей: получил по конкурсу премию за разработанный им способ выведения крыс на колбасном заводе. Трудность состояла в том, чтобы отравленные крысы не околевали в подвале. Помнится, Крысолов (назовем его так, потому что имени его я, увы, не запомнила) предложил план, по которому крысы собирались куда-то вместе пить воду, и, только выпив, тотчас подыхали. Он говорил с большим увлечением, даже с энтузиазмом, и мысль об околевающих отравленных крысах

едва ли помогала аппетиту. Моему аппетиту: другие все оживленно обсуждали эту тему и вовсю хлестали бесплатное пиво. Адалис перевела разговор на «мужчину и женщину» и не говорила, а изрекала свои суждения о женской натуре: суждения отнюдь не порочные, но меня коробило от их интимности. Я не сразу поняла почему. Я же совсем не «prude»[24] … Ага, потому вот, что она каждый раз добавляет «например, я».

– Что же вы не пьете, не едите? Пива не признаете? Закажем вино, коньяк…

Это говорит мне через весь стол Крысолов. А я уже и не слушаю, хотя его рассказ о крысах был мне пусть и неприятен, но интересен. Я вспомнила, что за весь день так и не удосужилась записать те строки, сочиненные утром в постели. И сейчас, пока не забыты, стараюсь закрепить их в памяти. И снова охватил меня тот же утренний ужас. Самым страшным было не то, что Сергей мне привиделся мертвым, а то, что в моих стихах – чего не было во сне – он предстал самоубийцей… Отравившимся нарочно… Как отравлены крысы. Но те ведь не сами… Все поплыло в глазах.

Я потеряла сознание. Дальше я вижу себя уже среди хлопочущих сотрапезников. Надо мной склонились мало знакомые лица. Кто-то держит у моего носа пузырек. Кто-то поддерживает меня за плечи. «Теперь уже хорошо. Пришла в чувство… Нет, пузырек вы все-таки мне верните».

Пузырек передан кому-то за соседним столиком. Посидев еще немного и отклонив настоятельные предложения о проводах, я заторопилась домой.

Через день-другой Есенин разыскал меня и стал горячо уговаривать, чтобы я… бросила пить!

– Нет-нет, я знаю точно, мне рассказали. Пьешь до бесчувствия. Что хочешь, только не это! Родная, не надо!

В голосе и укор, и большая нежность. Глубоко тронутая, я пытаюсь оправдаться. Право же, я выпила всего полстакана пива, он же знает, я нелегко пьянею… Мне ночью снился сон, очень страшный, – вспомнила и хлопнулась в обморок…

Вижу, он не поверил, но не могу же я рассказать ему свой сон. А еще через день (Сергей словно боится упускать меня из виду, старается встречаться ежедневно) я услышала от него слова, ради которых и сочла нужным рассказать весь этот эпизод. Вот они:

– Мне кажется, я начинаю понемногу оживать.

Так я узнала, почему мне приснился тот сон: мне передалось это чувство мертвенности, угнетавшее Есенина тогда, в исходе сентября 1923 года.

Позже мы все прочтем эти его строки:

Полюбил я носить в легком теле
Тихий свет и покой мертвеца.

…Но почему все-таки он мне привиделся – то есть в стихах моих предстал – неприкаянным самоубийцей? Не от той ли кабацкой строки – «Я с собой не покончу»? Или от тех разговоров, что он-де не хочет долго жить? Однако никогда, даже вскользь, не бросал он слов о прямой готовности покончить с собой. Только в стихах Есенина, в давних его стихах, прозвучало это памятное:

И вновь вернусь я в отчий дом,
Чужою радостью утешусь,
В зеленый вечер под окном
На рукаве своем повешусь.

Стоит отметить: тема возвращения «в отчий дом» связана здесь с темой соблазна самоубийства.

Русофил

Октябрь двадцать третьего. Сижу за столиком в «Стойле Пегаса», прихлебываю свой вечерний кофе и на клочке бумаги записываю, припоминая, строки новых стихов – из моей «Фетиды»:

Камень в руку друг мне сунет,
Ночь в лицо швырнет звездой!

Ко мне подходит сзади, возникнув из ниоткуда, Иван Грузинов, старый, верный друг. За его широкой спиной маячит, пошатываясь и горбясь, фигура Есенина.

– Пойдемте поговорим, – неуверенно начинает Грузинов и ведет меня куда-то вниз, в боковые тайники. Никогда я не умела разобраться в географии «Стойла»! Небольшая квадратная комната без окна.

– Надя, очень прошу вас, очень: уведите его к себе. Вот сейчас.

– Ко мне? Насовсем? Или на эту, что ли, ночь? Как вы можете о таком просить?

– Поймите, тяжело ему с Галей! Она же…

– Знаю: любит насмерть женской любовью, а играет в чистую дружбу! Почему же ко мне? Со мною легче ему, что ли?

– Эх, сами себе не хотите счастья!

Да, он так и сказал: «счастья»! Но в счастье с любимым не верю – ни для себя, ни для него.

– Уведите его к себе, – продолжает Грузинов, – и держите крепко. Не себя, так его пожалейте!

Есенин пришатался сюда же. Я едва успела сказать Грузинову скороговоркой: «Ко мне невозможно – в ледяной чулан!»

Дело не только в том, что в моих «меблирашках» на Волхонке идет ремонт антресолей, где я жила, и меня временно поселили в каменном чуланчике с крошечным оконцем и кирпичной «буржуйкой»; что днем у меня вода в кувшине замерзает, – я уже твердо знаю, что будет ребенок. И мне надо очень беречься, если я хочу благополучно его доносить. Но в этом я никому пока не открываюсь. На прямую просьбу Есенина о том же отвечаю невнятным отказом… Ко мне невозможно… Сама сейчас хоть дома не ночуй!

Грузинов вздохнул. Мнется. Помолчав, предлагает Есенину отвести его, как вчера, к Сергею Клычкову.

– К Клычкову? Н-не пойду! Н-ну его! Он р-ру-софил!

Это брезгливое, брошенное в порицание «русофил» твердо мне запомнилось – и недаром. Скоро пойдут споры о том, вправду ли Есенин антисемит. Но может ли для антисемита слово «русофил» обернуться ругательной кличкой?

Больно было думать, что Сергей скитается бездомный и некуда ему приткнуться, если не к Гале Бениславской, с которой, видно, ему и впрямь тяжело.

А Сергеи стоит, припав спиною к стене. И вдруг разражается длинной хлесткой руганью.

Странное дело, я не из чистоплюев, иной раз и сама загну крепкое словцо. В те годы женщины нередко из особого кокетства прибегали к непечатному слову. Но меня оглушило, что Сергей, пусть нетрезвый, позволил себе так распустить язык при мне: давно ли он не позволял подобных вольностей своим приятелям при юном Сереже Златых, работавшем в их книжной лавке на Никитской! Мальчишку оберегал, а при мне… не стыдится!

И я убегаю, простившись только с Грузиновым. Тот смотрит мне вслед с осуждением. И, конечно, прав. Не должна я была бросать Сергея вот такого: растерянного, бесприютного. Это было для него как предательство. Которому есть оправдание – ему, однако, не известно.

Но здесь опять в бег моих воспоминаний должна вступить Адалис. Айя Адалис, как зовут ее в тесном поэтическом кругу.

Блудный сын

Да, мне стыдно было и больно, что накануне я отказала Есенину в ночлеге. Но совестно было и ему.

– Я, кажется, нес несусветное! Очень был пьян. Не сердитесь.

Мы сидим с ним в «Стойле» – не в «ложе имажинистов», а среди зала, поодаль от оркестра. От вина я твердо отказалась, прошу и его воздержаться. Честно пьем кофе. Кто-то подходит из малознакомых «друзей».

– Идем же, Сергей! Нам пора…

– Не пойду! Вечно куда-то тащат… Дайте мне посидеть с моей женой!

Приглашавший удаляется с группой ждавших приятелей.

Близ нас остановилась Адалис. Сергей, извинившись, отлучается уладить счет. Адалис, осмелев, подошла:

– Надя, я не в первый раз наблюдаю: удивительное лицо у Есенина, когда он рядом с тобой! Успокоенное и счастливое. Нет, правда! – Она завращала своими прекрасными, продолговатыми, голубыми в прозелень глазами, как будто выписанными на очень белой эмали. И добавляет (ох, и любит она высокопарные слова!):

– Лицо блудного сына, вернувшегося к отцу!

Передо мной возникает рембрандтовский образ. Сын на коленях. Широкая спина и на ней кисти отцовских рук. Голые посинелые ступни. А лица мы почти не видим. Только эти стертые ступни, и они выразительнее всяких глаз.

Спасибо, Айя, мне дороги твои слова. Прощаю им высокопарность. Ты все-таки истинный поэт.

По-своему

Поздняя осень двадцать третьего. Мы вдвоем на извозчике. Морозно. Но не сани – еще пролетка.

– Почему у нас с вами с самого начала не задалось? Наперекос пошло. Это ваша была вина, – уверяет Сергей. – Забрали себе в голову, что я вас совсем не люблю! А я любил вас… По-своему!

«Видно, уж слишком по-своему!» – подумалось мне. А вслух отвечаю:

– Наоборот. Я всегда это знала. Будь иначе, уж как-нибудь нашла бы в себе силу начисто оборвать нашу связь. Если не иначе, то вместе с жизнью.

И вспомнилось памятное для меня признание, которое услышала я от Сергея в ту ночь, когда С. Т. Коненков привез меня «знакомиться с Есениным».

Божественный напиток

На этот раз я все-таки решилась привести Есенина в мой каменный чулан. Не откажешь бездомному в ночлеге. Не забыты и слова Грузинова: «Тяжело ему с Галей».

– Что это? Куда вас загнали? Бардачная дыра!

Объясняю: временно, пока идет ремонт; выбора не было – селили по трое в комнату, по четверо; хочешь быть одной, так сюда.

На улице зима. В моем чулане тоже. Я вмиг растопила печку – кирпичную самоделку, накрытую чугунной плитой. Стало сразу жарко. Чайник вот-вот закипит. Но от чая Сергей отказывается, просит воды. Новая задача: в кувшине в углу чулана не вода, а лед. Через минуту, отогрев, наливаю стакан. Сергей жадно глотает эту едва оттаявшую воду. И рассказывает мне восточную притчу: о богаче, избалованном всеми благами мира.

– …И однажды подали ему утолить жажду что-то новое.

«В жизни не пивал ничего прекраснее, – сказал он, великий знаток всех вин на свете. – Божественный напиток! Как он называется?»

И ему ответили: «Вода».

Есенин о Дункан, о ее танце

Мы снова вдвоем, в каменном моем чулане, перед жарко пылающим огнем. Снова Есенин, как вошел, жадно выпил ледяной воды. А сейчас перебирает вслух свои заграничные воспоминания.

– Расскажите, как и почему вы там перебили зеркала в парижской гостинице?

Бил не он, уверяет Сергей, била Дункан. Приревновала, ну и вошла в раж. На шум явилась администрация. Я как джентльмен взял вину на себя.

«Как джентльмен?» – подумалось: – А может быть, того же требовали и деловые соображения? Как ни крути, главою фирмы «Всемирно знаменитая танцовщица и ее молодой русский муж» не он, а она.

По возникшей ассоциации спрашиваю, считает ли он, если по совести, свою Изадору крупной величиной в искусстве?

Он отвечает охотно и обстоятельно. Видно, давно сам это обдумал.

– Поначалу, – говорит, – искренно считал. Но потом, когда увидел танец другой тамошней плясуньи (имени он не назвал), недавно вошедшей в славу, я понял, что почем. Дункан в танце себя не выражает. Все у нее держится на побочном: отказ от тапочек балетных – босоножка, мол; отказ от трико – любуйтесь

естественной наготой. А самый танец у ней не свое выражает, он только иллюстрация к музыке. Ну, а та, новая – ее танец выражает свое, сокровенное: музыка же только привлечена на службу.

Вспоминая сейчас это объяснение, я думаю о нынешних фигуристах, о танцах на льду, о роли и выборе музыки у них.

Суд над четырьмя. На большой полянке

Ко мне подходит Евгения Давыдовна Шор, дочь известного музыковеда и бывшая жена Вадима Шершеневича. У имажинистов она пользовалась искони неизменным и глубоким уважением. Они держались правила: долой поцелуи женских рук! Но для нее – исключение. Я видела сама, как склонялись к ее руке и Есенин, и Анатолий Мариенгоф. И вот Женя Шор, как ее зовут в нашей семье, подходит ко мне возмущенная:

– Надя, что это? Я видела вас вчера с Есениным! Мы все, все должны от него отвернуться. Все его друзья евреи, все просто порядочные люди: русский, советский поэт, как какой-нибудь охотнорядец…

Передо мной, однако, Есенин уже успел оправдаться: «тот тип», то есть незнакомец, которому он в пивной влепил пощечину, окрестив «жидовской мордой», назвал-де Есенина мужиком.

– А для меня «мужик» все равно как для еврея, если его назвать жидом. Вы же знаете, не антисемит я, у меня все самые верные друзья – евреи, жены все еврейки!

Да, я знаю, слышала не раз: он и Райх зачислял в еврейки, и Дункан. Но то было в двадцать первом году. С той поры немало воды утекло. Предстоит общественный суд (в Доме печати) над четырьмя поэтами: Алексей Ганин, Сергей Есенин, Сергей Клычков, Петр Орешин. Главный ответчик именно он, Есенин. И Есенин взял с меня слово, что я приду на суд. Он еще не знает, что я жду ребенка. Не спешу его о том уведомить.

Для меня был оставлен пропуск. Но народу набилось невпроворот, я пришла поздновато, меня не впустили, сказали, что Есенин провел с собою целую толпу девиц, хватит, мол. Что я и сама принадлежу к клану имажинистов, было оставлено без внимания. Пробую доказать, что я не со стороны Есенина, а должна высказаться в оправдание Клычкова (хотя скорее могла бы ему только навредить, вспомнив есенинское «ну его, он русофил»). Не помогло. Да и надо ли мне лезть в пекло? Еще сделается дурно в духоте. Я сейчас склонна к обморокам. Так и ушла ни с чем.

После суда Есенин ходит как оплеванный. Друзья вдвойне к

нему внимательны, заботливы: еще совсем сопьется, вот и стараются оттянуть его подальше от тех троих. А мне особенно больно, что тень пала и на Клычкова. Я его всегда считала человеком большой и чистой души, ценила его дарование (и еще выше оценю, когда он перейдет на прозу!). Но им владела какая-то странная к Есенину ревность. Он и раньше, и позже не раз выказывал, что я ему очень нравлюсь, а у меня возникало чувство, точно склонность эта не лично ко мне, а к «девушке, полюбившей Есенина».

Попеняв мне, что я так и не пришла в зал суда, Сергей при новой встрече сообщает, что скоро ляжет в санаторную больницу. Уже все улажено: больница где-то в Замоскворечье, «то ли Пятницкая, то ли Полянка… Ну, Галя будет знать точно». И берет с меня слово, что я непременно там его навещу. «Адрес возьмете у Гали».

Так-то! Ей он доверяет, а как дошло до дела, Галина Артуровна не захотела сообщить мне адрес, не передала Есенину мое письмо…

Незадолго до больницы я сказала наконец Сергею, что будет ребенок. Это его не порадовало – у него уже есть дети, и с ними он разлучен. Я заодно даю понять, что отнюдь не рассчитываю на брачные узы: вряд ли, говорю, возможно совместить две такие задачи – растить здорового ребенка и отваживать отца от вина. И вот теперь, когда ему ложиться на лечение, я спрашиваю, очень ли его угнетает мысль о моем материнстве. И добавляю: «Если так, ребенка не будет». Боюсь, он угадал и заднюю мысль: «ни ребенка, ни меня». Он уверяет с жаром: дело не в нем. «Мужчина всегда горд, когда женщина хочет иметь от него дитя» (он сказал именно «дитя» – не «ребенка»). Если же он меня отговаривает, так это, твердит он, с думою обо мне: вряд ли, мол, я со всей ясностью представляю себе, насколько ребенок осложнит мне жизнь.

На том и простились до поры.

Я в своем ледяном чулане. Рвусь повидать Сергея – Бениславская упорно не дает адреса. Не знаю, где Грузинов… да, может, и он не знает. И выручает… сон.

Вижу во сне: я иду какой-то замоскворецкой улицей, то ли Ордынкой, то ли Якиманской или Полянкой; улицей, ведущей от Садового кольца к реке. Медленно так иду и слышу за спиной голос Сергея: «Обещала, а не приходишь». С горьким упреком. Решила в тот же день найти больницу – по указанию сна. И нашла. Прошла по Малой Полянке, по Ордынке, по Большой Полянке. Эта больше всего похожа на «улицу сна». Зашла в аптеку, справилась, есть ли поблизости больница или санаторий

«с нервным уклоном». Мне очень любезно разъяснили, что есть: в конце Большой Полянки, почти у самой площади – «…по правую руку. Вы сразу увидите!»

Пошла разузнать. Да, лежит у них такой… Меня легко пропустили – тут без особых строгостей.

Долго ждать не пришлось. Вижу спускающегося ко мне со второго этажа по широкой внутренней лестнице Есенина. Легко, радостно. Сейчас, когда сама несколько уже отяжелела, я вдвойне остро ощущаю эту легкость, эту его природную грацию.

– Наконец-то явилась! – говорит Есенин. – Ну, идем же ко мне.

Я не стала объяснять, как узнала засекреченный адрес. Оставила на совести у его «ангела-хранителя» Галины. Она, небось, сама перед собой оправдывается тем, что сейчас встреча со мною будет ему во вред!

У Есенина большая, просторная, светлая комната, которую с ним разделяет только один пациент. Тот, увидев гостью, поспешно удаляется. Сергей говорит:

– Повезло с сожителем: как увидит, что ко мне гость или что сажусь писать, тут же уходит.

Сергей за этот короткий срок очень посвежел, окреп. Поясняет: «скучновато, конечно». Еще бы! Непривычно затянувшаяся трезвость. А вот долго ли ты ее стерпишь, мелькает в уме.

Он прочел мне два новых стихотворения – оба написаны здесь, в больнице. Сперва «Вечер черные брови насопил». Дочитал. Я повторяю на память:

Слушать песни дождей и черемух,
Чем здоровый живет человек!

Обсуждать не хочу. Но Есенин требует критики. Я заметила, что зря он ломает язык ради рифмы: «насопил – пропил». Можно оставить обычное «насупил» – и дать диссонансную рифму. Сама я нередко так делаю. Или «насопил» – это рязанская форма? (Была ли я права? Навряд. Есенинское «насопил» в оборот не вошло, но для данного стиха принято всеми как должное.)

Оставив мой вопрос без ответа, Сергей спешит перейти ко второму стихотворению.

Его упорно во всех публикациях относят к 1925 году. Возможно, какие-то мелкие доделки внесены позже, но мне ли было его забыть! Да и обсуждали мы его подробно… Это любимое мое: «Вижу сон. Дорога черная».

Скажут: не изменяет ли вам память? Нет, не изменяет. Разве

спутает, забудет любящая такие строки:

И на этом на коне
Едет милая ко мне.
Едет, едет милая,
Только нелюбимая.

Да, я всегда знала: милых вагон, а любимой нет! Может быть, никогда и не было, сколько бы ты не выдумывал, не внушал себе и другим, что знал в прошлом, единожды, большую любовь.

Но лучше всего дальнейшее:

Спет такой таинственный,
Словно для единственной —
Той, в которой тот же свет
И которой в мире нет.

Я долго потом старалась вспомнить: «У которой тот же свет» или «От которой тот же свет»… Он все не печатал; когда-то еще выйдет наконец – посмертно – четырехтомник, и в нем эти стихи! Недооцененные. А может быть, вариант «Той, в которой» возник позже? В связи с первой публикацией этого стихотворения в Баку? Пусть докапываются литературоведы.

– Ну, – говорит Сергей, – критикуйте.

Понимаю: строчки еще не застыли, можно править.

Я сперва горячо приветствую так смело введенное в строй стиха слово «который». (Тем и себя нахваливаю: сама я еще летом двадцать первого даже на рифму вынесла «который».)

– А к чему прицепитесь? Выкладывайте!

– К метким рукам.

И поясняю: сами по себе «меткие руки» даже находка. Это хорошо.

– А что же неладно?

– Слишком откровенно притянуто ради рифмы. Вот и не веришь находке. Или, может быть, чисто звуковое неприятно: «руками меткими», какая-то возникает «миметка». Но это «ловля блох». Стихотворение как жемчужина в вашей лирике!

Не знаю, почему Есенин так долго его не публиковал. Может быть, хотел что-то подтянуть? Или другое: оно было ему слишком дорого? Так удивительная наша художница Ева Павловна Левина, бывало, договорится о продаже своей картины, а потом все никак не желает с ней расстаться и тянет с оформлением продажи музею. Впрочем, догадка едва ли правильна, никогда я не

замечала у Сергея подобной авторской «скупости».

Знаю, многое в моем рассказе покажется не совсем правдоподобным – начиная с приснившейся улицы. Но нет здесь ни слова выдумки. Все вот так и было. И особенно это станет жизненным, когда я расскажу о втором и последнем моем посещении Есенина в больнице.

Я застала у него Галю Бениславскую с подругами. Сергей принимал их – и меня – не в палате, а внизу, под лестницей.

На этот раз он был со мною почти груб. И злобно говорил о Жене Лившиц.

– Вам сколько лет исполнится? (Это было незадолго до моего дня рождения.) Двадцать восемь?

– Расщедрились! Хватит с меня и двадцати четырех.

Я понимала подоплеку спора: он сам себе доказывает, что я достаточно взрослая, что он за меня не в ответе. Но говорится это чуть не со злостью – уж не в угоду ли Галине?

– Ну, да! Все еще, скажете, девочка! Мы же с вами целый век знакомы. Когда встретились?

– Осенью девятнадцатого.

– Вот тогда вам было двадцать три.

– Было девятнадцать. Мои годы просто считать: в двадцатом – двадцать. В двадцать четвертом, в феврале, будет двадцать четыре.

– Все-то она девочка! А уж давно на возрасте!

– Дались вам мои годы. Свои не забывайте.

Разговор перекинулся на Женю Лившиц.

– Она будет мужу любовь аршином отмерять, – усмехнулся Есенин (так и не склонивший Женю на «реальную любовь»). И Бениславская со всей своей стайкой весело и довольно хихикает.

Меня мучит злая мысль: как был он рад мне тогда, совсем на днях! Что же сейчас, при этих девицах, так подчеркнуто груб? И так недобро говорит о Жене? Оправдывается перед Галиной?

И я радуюсь уже созревшему решению переехать в Петербург (еще Ленин жив, и город носит именно это имя – не Петроград). Мне вдруг становится ясно: Сергею до смерти хочется выпить, он еле терпит свою трезвость. Не мне тут решать. Пусть Бениславская сама посоветуется с врачами насчет вина. Хотя бы в самой малой дозе. Из всех гостей я первая поднялась уходить. Сергей с неожиданной – покаянной – теплотой прощается со мною.

Привожу Есенина к Гале

Сергей заявился ко мне на Волхонку. В мой ледяной чулан.

– Едем! – И везет меня, уже в санях, в какой-то новый для меня ночной локаль (много их развелось по Москве!). Где-то между Тверской и Дмитровкой, в переулке. Полуподвал. Знакомых не вижу. Есенина сразу перетянула к себе чужая мне компания: похоже – актеры. А я сижу за нашим столиком, куда нам подали кофе. Грузноватая, игриво-кокетливая, немолодая довольно красивая женщина обволакивает Есенина льстивым вниманием (пошло-эстрадным, отмечаю мысленно). А со мною разговорился некий американец. Журналист, что ли? Обрадовался, что я, хоть и туго, могу отвечать на его языке. Английский у нас в те годы был мало распространен. Подсаживается (откуда взялся?) Иван Грузинов. Просит не оставлять здесь Сергея. («Кроме вас, тут никого из друзей!»)

– А вы?

Грузинов объясняет, что живет не дома, позже двенадцати возвращаться не может. И, как на грех, никого из знакомых вокруг!

Грузноватая фея все еще вьется вокруг Есенина, выламывается гусеницей. Грузинов сбежал, перекинув на меня свой долг добровольной няньки. Американец, по-своему поняв создавшееся положение, горячо объясняет, что мне нельзя оставаться, что я должна показать поэту, что такое женская гордость: «Он привел вас, а сам…»

Откуда только взялись у меня слова! Бегло, уверенно на чужом языке я пытаюсь втолковать иностранцу, что друзьям Есенина сейчас не до личных счетов. Поэт, большой русский поэт гибнет у нас на глазах. Тут не до бабьего мелочного самолюбия. Я сегодня взяла на себя довести его до крова и…

Кончить я не успела. Сергей заметил внимание ко мне американца. Кинулся к нам, схватил меня за руку, бросил коротко: «Моя!» – и уже опять, но как-то поскучнев, ведет игру с приглянувшейся ему пожилой прелестницей. Вижу, и она изрядно перебрала. Ее спешат увести.

– Не пора ли и нам?

Но Сергей вдруг вспомнил, что должен прихватить отсюда ужин для Гали, она больна, он ей обещал. Галя весь день ничего не ела…

Новая задержка. Проходит чуть не полчаса, пока нам выносят пакет со снедью. Мы выходим вдвоем из опустелого зала, Сергей, шатаясь, сует мне пакет.

Я не беру. Пусть сам и несет, раз пообещал. Сильный мороз, а я потеряла одну перчатку. Или во мне заговорила некрасивая злоба на Бениславскую? На улице Сергей, показалось мне, сразу протрезвел. Я не соображаю дороги – куда нам, в Брюсовский?

Увы, я ошиблась, на воздухе его и вовсе развезло. Он дважды падал, силенок моих не хватало, чтобы удержать – удавалось разве что немного ослабить удар при падении. По второму разу Сергей, едва сделав несколько шагов, рванулся назад: исчез пакет! Ищем – нигде не видать… Верно, обронил раньше… Мне стало стыдно. Но что уж теперь!.. Да мы почти у дома.

Больная сама поспешила открыть на звонок. Это тем более странно, что дом полон ее подруг. Смотрит на меня. Удивленное:

– Вы?

Не ждала, наивная ревнивица, что я приведу Есенина к ней, не к себе!..

А тот, запинаясь, винится, что не донес ее ужин. Галя с откровенным огорчением всплеснула руками.

Меня Сергей не отпускает – куда ты, надо же хоть обогреться.

И вот он возлежит халифом среди сонма одалисок. А я тихо злюсь: да разве не могли они сварить хоть кашу, хоть картошку своей голодной повелительнице? Или партийное самолюбие запрещает комсомолке кухонную возню? Дубины стоеросовые!

Различаю среди «стоеросовых» стройную Соню Виноградскую и еще одну девушку, красивую, кареглазую, кажется, Аню Назарову.

Идет глупейшая игра, еще более пошлая, чем та, давешняя, с пожилой дивой в обжорном ночном притоне. «А он не бешеный?», «Пощупаем нос. Если холодный, значит, здоров!» И девицы наперебой спешат пощупать – каждая – есенинский нос. «Здоров!», «Нет, болен, болен!», «Пусть полежит!».

Есенин отбивается от наседающих «ценительниц поэзии».

– Нет, ты, ты пощупай! – повернулся он вдруг ко мне, и сам тянет мою руку к своему носу.

Прекращая глупую забаву, я тихо погладила его по голове, под злобным взглядом Галины коснулась губами век… и заспешила на волю: мне еще ползти на Волхонку в свою промерзшую конуру, печку топить, а завтра вставать чуть свет.

Сергей пытается меня удержать.

– Мы же не поговорили… о главном.

– Успеем. Я не завтра уезжаю.

(Получила заказ: перевести с немецкого повестушку. Обещают «деньги на бочку». Придутся куда как кстати – в дорогу.)

У меня трое детей!

«О главном» – это о моем решении сохранить ребенка и переехать в Петербург, где, кстати, и с жильем легче будет

устроиться. Но важней другое: для душевного равновесия мне нужно резко переменить обстановку.

Есенину трудно поверить, что я и вправду решила сама уйти от него. Уйти «с ребенком на руках», как говорилось встарь.

(Через полгода я узнаю, что в салоне небезызвестной «мамы Ляли» сложили частушку – начала не знаю, а конец такой: «Надя бросила Сергея без ребенка на руках». Есенин будто бы на меня же сетовал.)

Если Есенин, впервые услышав от меня о ребенке, так горячо сказал мне те слова про мужскую гордость, то в дальнейшем разговор пошел совсем иной. После суда, после больницы на Полянке.

– Зря вы все-таки это затеяли. Я хотел просить Бениславскую, чтоб она поговорила с вами…

– Что ж! Я б направила ее для объяснений к Сусанне Мар.

Есенин:

– Понимаете, у меня трое детей. Трое!

Ага, сознался наконец, что есть еще ребенок, кроме двух у Зинаиды Райх!

– Так и останется: трое. Четвертый будет мой, а не ваш. Для того и уезжаю.

Все разговоры эти велись как-то бегло – Сергей не нашел в себе мужества самому прийти ко мне и толком объясниться: видно, понимал, что я не сдамся, на аборт не пойду.

Но главное не понимал – что ребенок мне нужен не затем, чтобы пришить Сергея к своему подолу, но чтобы верней достало сил на разлуку. Окончательную разлуку!

Однажды привелось услышать и такое:

– Но смотрите, чтоб ребенок был светлый. Есенины черными не бывают. (Узнаю позже: он говорил так и жене, Зинаиде Райх!)

Я ответила:

– Blonda bestia[25]? Ну, нет. Если сын, пусть уж будет в мать, волосы каштановые, глаза зеленые. А если дочь, пусть в отца – желтоволосой злючкой. Счастливей сложится жизнь. Знаете небось народную примету![26]

Сергей слушает и усмехается. Чудно знает, каким рисуется мне сын.

В последние дни перед отъездом наблюдаю: друзья Есенина озабочены подыскать ему «сильную подругу», такую, чтоб могла удерживать от пьянства. Сейчас возлагают надежду на Анну Абрамовну Берзину. Во мне Грузинов изверился. И не стесняется обсуждать со мной эти планы!

Ценитель веснушек

Я со дня на день уезжаю. Поздно вечером в сильный мороз (пресловутые «ленинские морозы») захожу в «Стойло Пегаса», где мне должны передать кое-какие письма и петербургские адреса. За сдвоенным столом справа от входа – наискосок от «ложи имажинистов» – сидит с друзьями Есенин. Он и меня зазывает к столу, но я отказываюсь: пить не намерена, нельзя! Высокий человек постарше прочих – я сразу узнала его, хоть видела только раз, прозаик Пимен Карпов – внимательно вгляделся в меня.

– Постой, Сергей, это же та девушка, с которой ты еще в двадцатом году, среди лета, познакомил меня на улице. Ну, конечно, вы шли вдвоем по Тверской. Да тебя высечь надо! Что ты с ней сделал? Ведь она была прямо красавица!.. А сейчас…

Красавицей я никогда себя не мнила, – разве что хорошенькой, и только. А все же приятна была мысль, что в тот год нашей первой влюбленной дружбы я старшему другу Сергея показалась красавицей. Да еще «среди лета», значит, сплошь усыпанная веснушками! Я засмеялась.

– Видно, вы большой любитель веснушек! Зачем же Сергея-то ругать? Да, сейчас я сильно подурнела – болею. Но даю вам слово: к июню месяцу расправлюсь с хворью, наберу опять целый воз веснушек – «канапушек», как няня моя говорила, – и стану куда лучше, чем была в то лето. Если занесет вас в Петербург, прошу навестить меня и убедиться самому.

Есенин довольно посмеивается, рвется меня проводить. Я решительно отклоняю.

Знакомься, Нюра

Двенадцатое февраля двадцать четвертого года.

Приехав наконец-то в Ленинград, я поначалу остановилась у родных.

Один из первых моих визитов – к Сахаровым.

Александр Михайлович встречает меня очень дружественно. У него мечта – перетянуть Есенина в Ленинград «насовсем», – и, видимо, он обольщается мыслью, что в этом я окажусь его помощницей. Представляет меня жене, Анне Ивановне.

– Знакомься, Нюра: поэтесса Надежда Вольпин. Самая теплая привязанность Сергея.

По лицу жены пробежала тень.

Слова Сахарова отозвались во мне радостью (уж ему ли не знать! «Самая теплая!»). Но и больно стало: впору добавить – «была».

У Сахаровых два мальчика – старший, лет пяти, Глеб (так его дома и зовут без уменьшительных), и меньшенький, Алик (кажется, от «Олега»), – этому нет и трех. У него сразу ко мне вопрос: «Что ты мне принесла?» Родители смущены, но все выправляет нашедшаяся в моей сумочке шоколадная конфета.

Много хорошего сделали для меня Сахаровы – особенно Анна Ивановна. И самое важное: она сосватала мне няню к ребенку – удивительную, добрую, честную, умную, очень опытную (хотя всего на пять лет старше меня!), с прирожденным, казалось, воспитательным тактом – Анну Николаевну Амбарову. Позже, когда Сахаров съездит на время в Москву, Анна Ивановна станет меня уговаривать снять у нее в квартире те самые две комнаты, которые муж приберегает для Есенина. Не очень ей улыбается, чтоб Есенин у них жил! Предложение было бы соблазнительно во всех смыслах (недаром через год мы с Сахаровой поселимся вместе на даче). Но я не могу ставить подножку Сергею. Да и как он это истолкует: не иначе как попытку уцепиться за него!

И никто, как Анна Ивановна, выручит меня, когда обнаружатся нелады с моим «удостоверением личности», или как он там назывался в те годы, – документ, в дальнейшем замененный паспортом.

Ленинградские имажинисты

Год двадцать четвертый, апрель. Квартира Сахаровых. Сижу, работаю: отделываю свой «Разговор с ангелами»:

Дорогие покойники!
От походки моей….

Стук в дверь. Входит Владимир Ричиотти (в прошлом матрос, революционер, сегодня «воинствующий имажинист»). Начал застенчиво:

– Пройдемте в столовую. Мы будем сейчас все читать стихи… Обсуждать… Есенин велел мне привести и вас.

Все на месте: Григорий Шмерельсон, Семен Полоцкий, Вольф Эрлих, Афанасьев-Соловьев. Ну и я с Ричиотти. Идет чтение, потом разбор. Критикуют робко, поверхностно. Боятся, что ли, задеть друг друга? Где же их воинственность? Истинно живым и веским словом легло замечание Есенина:

– Поэзия не терпит лжи. За ложь всегда отомстит.

Что еще запало мне в память из той беседы? Эрлих завел речь

о «Письме к матери», мною еще не слышанном. Есенин успел прочесть его своим ленинградским приверженцам раньше, без меня. Тем внимательней вслушивалась я в дальнейшее. Есенин заговорил о бабушке, которая его растила с двух лет, заступив малышу родную мать. Татьяну Федоровну Есенину, разлученную с мужем и сыном нелегкой судьбой. О ней, о бабушке, поэт рассказывал с глубоким чувством. Объяснил, что в «Письме…» и внутренно, и внешне обрисована не мать, а бабушка. Это она выходила на дорогу в старомодном ветхом шушуне – для внука, прибегавшего за десятки верст из школы. (И будет выходить десятки лет вперед – для почитателей поэта.) Запомним же это имя: Наталья Евтеевна Титова, женщина, согревшая материнской лаской сиротливое детство маленького Сережи.

И не забыла я те слова, сказанные дедом Титовым зятю: «Не тот отец, кто породил, а тот, кто вырастил». Однако же за все годы дружбы и близости моей с Есениным я не слышала от него ни слова осуждения об оскорбленном его отце. Напротив, он даже уверял меня, что как раз отцу обязан своим поэтическим даром: тот любил стихи и сам сочинял частушки. Однажды Есенин прочел мне две-три из них. Как я потом жалела, что не постаралась их запомнить!

Ну, а мать, по его словам, любила народные песни, знала их множество, распевала. И знала наговоры от всех бед, какие только могут выпасть человеку.

В зале Лассаля

Я сижу за столом, гоню заказ Сметанича (Валентина Стенича: перевод Честертона – «Жив Человек»). Выйдет под его именем, получу половину гонорара. Да, таковы были тогда литературно-издательские нравы! Я «с чистой совестью» позволяю себе оставить заказчику хоть четверть работы – а по неопытности оставляю чуть что не три четверти! Зато совместный просмотр и правка начальных глав оказались для меня первой и очень много мне давшей школой перевода! Срок поджимает, но дальше я перевожу и смелей, и лучше – так расценит заказчик успехи своего «негра».

Мою работу прерывает Есенин. Входит, приглашает поехать «со всеми» (то есть с группой ленинградских «воинствующих имажинистов») на его вечер в Зале Лассаля.

Мне и самой хочется. А уж это его – «непременно, непременно!» – прозвучало для меня приказом.

«Воинствующие» сидят не в президиуме на сцене, а где-то в ложе. С ними и я. Сергей не сразу приступает к чтению стихов.

Сперва – разговор с аудиторией. Сказать по правде, довольно бессвязный. Поэт на взводе. Говорит он, если все увязать, примерно следующее: страна на новом пути, вершится большое и небывалое, а вот он, Сергей Есенин, на распутье, не знает, чего требует от него поэтический долг, чего ждет Родина от своего поэта. «Понимаете, я растерян, вот именно, растерян». Слова о растерянности прозвучали не раз и не два. Оратор топчется на месте. То встанет, то снова сядет на эстраде к столу, боком к слушателям: те в нетерпении. Да уж ладно, кричат ему, все понятно, прочитайте лучше стихи.

Это было то, что М. Ройзман назвал в своей последней книге неудачной первой половиной вечера. Но, возможно, именно неудачное начало определило тем больший успех выступления: стихи Есенина прослушаны были с жадным вниманием, с восторгом. Хмель, казалось, рассеялся, поэт читал с подъемом и при огромном ответном жаре аудитории. К сожалению, не помню, что именно было им прочтено – для меня все уже знакомое, верно, потому и не запомнилось. Я хотела в тот час понять, почему он так настойчиво звал меня. Просто ли заговорила все та же «неизжитая нежность»? Или так уж дорого казалось присутствие каждого благосклонного слушателя? Он опасался холодного приема – ленинградцы слывут в Москве поборниками классицизма… Но «недоброжелатели», если они ему чудились, предпочли отсиживаться дома. Так или иначе, это была большая победа поэта. Он сошел с эстрады с сознанием, что город – Петербург его юности – покорен.

Возвращались всей дружной поэтической семьей. Подрядили двух «центавров», как любили здесь называть извозчиков, и уже собирались рассеяться, когда к Сергею пробилась женщина с просьбой об автографе – невысокая, с виду лет сорока, черненькая, невзрачная… Назвалась по фамилии: Брокгауз.

– А… словарь? – начал Есенин.

– Да-да, – прерывает любительница поэзии (или автографов), – это мой дядя!

– Здесь неудобно. Едем с нами! – решает Есенин и втаскивает «Брокгаузиху» в пролетку, и без того уже переполненную. Чуя щедрые чаевые, «центавр» не спорит.

Мы давно на Гагаринской, в просторной кухне Сахаровых. Подав чай, хозяйка, Анна Ивановна, удалилась к себе. Идет сбивчивый и счастливый разговор о вечере. Кто-то – не Семен ли Полоцкий? – читает стихи. Без всякого внимания к молодому имажинисту, наша гостья подходит ко мне, к единственной женщине. Просьба о гребенке. Я даю. Приведя прическу в порядок, она словно бы из вежливости спрашивает:

– А вы тоже пишете стихи?

Что-то в ее тоне не понравилось Есенину. Не дав мне ответить, он вдруг прикрикнул на гостью:

– Вы ее не задевайте! Она очень умная! Она слово скажет – как ярлык приклеит!

Никогда раньше я не слышала, как Есенин расценивает меня с этой стороны. Считает очень умной? И меткой в оценках? Заслуженно ли?

…Гостья распрощалась. Никто не вызвался ее проводить. Видно, «воинствующие» ленинградцы не лучше воспитаны, чем москвичи, всегда толкующие женское равноправие в мужскую пользу. Вольф Эрлих спрашивает Есенина, с чего ему вздумалось прихватить «эту дуреху».

Ответ несколько неожиданный:

– Знаешь, все-таки… племянница словаря!

Ты в уме, Сергей?

Май двадцать четвертого. Квартира Сахаровых. Я все еще связана с этим жильем. Сижу у себя, гоню – надо бы кончить до родов – свой «негритянский» перевод. Меня перебивают на полуфразе: входит Есенин с Александром Михайловичем.

Я встаю. Сергей развалился в кресле. И бросает мне несколько злобных слов. Я молчу. У Сахарова перекосилось лицо.

– Ты в уме, Сергей? – и уволакивает его.

А через несколько часов Есенин подкараулил меня, когда я собиралась выходить.

– Пойдем вместе, – роняет он.

Точно и не было давеча его грубой выходки. Я говорю о пустяках.

– Какая у вас и сейчас легкая поступь, – замечает Сергей.

Я думаю о своем. И через минуту слышу:

– Все-таки вы удивительная женщина!

Промолчала. Думаю про себя: чем же «удивительная»? Что ничего от тебя не требую, ничем не корю? Но ведь я с самого начала так поставила: ребенок будет не твой, не наш, а мой.

Вспыхнуло в уме: а всю ли ты правду сказал, что стихи о бабушке? Они и о ней, о родной твоей матери, тоже!

Ну, Есенин!

Лето двадцать пятого года. Я на даче. Под Ленинградом, в Вырице. Это чуть не в шестидесяти километрах от города. Зато здесь хоть сухо. Дачу сняли вместе с Сахаровой – она заняла верх,

я внизу. Анну Ивановну соблазнило, что я держу «живущую» няню – можно будет, уезжая в город, оставлять на нас детей. А ездить ей часто – у нее что-то вроде волчанки, лечится. И странное дело: без этой огромной язвы на лице она воображается просто красавицей! Так во всяком случае кажется моей маме (она гостит у меня на даче). Лицо у Анны Ивановны очень милое, но вряд ли даже в первой молодости была она впрямь красива.

Где-то во второй половине лета приехал навестить семью и сам Александр Михайлович. Привез новую песню Есенина. Все напевает неожиданно приятным голосом:

Есть одна хорошая песня у соловушки,
Песня панихидная по моей головушке.

Как-то подошел к моему малышу, поднял высоко в воздух.

– Ну, Есенин, покажись, какой ты есть!

Мой годовалый Александр Сергеевич очень ко всем приветлив. Вот и сейчас с готовностью пошел на руки к «чужому дяде». Тот мурлычет:

…Как гитара старая и как песня новая
С теми же улыбками, радостью и муками,
Что певалось дедами, то поется внуками.

Ставит мальчика наземь. Отворотив лицо, говорит:

– Сергей все спрашивает, каков он, черный или беленький. А я ему: не только что беленький, а просто, вот каким ты был мальчонкой, таков и есть. Карточки не нужно.

– А что Сергей на это?

– Сергей сказал: «Так и должно быть – эта женщина очень меня любила».

Не знаю, что больше меня удивило – самая ли мысль Есенина, что любящая непременно родит ребенка, похожего на отца? Или то, что он отозвался обо мне «эта женщина»? Не «она», не «эта девушка», как в те годы стали у нас называть всякую молодую женщину. Знаю, он теперь пишет мой вымышленный портрет: очень взрослая женщина, которая «сама за себя отвечает». Ведь и при второй нашей встрече в больнице (в тот раз, при Гале) он вдруг заспорил, что я старше, чем была на деле. Или и впрямь понимает, что со стороны (а может, и в собственных глазах) его поведение со мною выглядит не слишком красиво? Что и говорить, многие его осуждали, считали передо мною виноватым, но только не я сама. Меня, напротив, тяготило

сознание собственной вины перед Есениным. Навязалась ему с четвертым! Более того: отступилась от него, променяв на этого нежеланного четвертого. В глазах Сергея это было с моей стороны предательством.

Да и то сказать: в те годы согласие женщины на аборт подразумевалось как нечто само собою ясное. Я шутила: аборт сейчас у нас главное противозачаточное средство.

Последняя встреча

Поздняя осень двадцать пятого. Вскоре после недавнего приезда Есенина в Ленинград (предпоследнего) «воинствующие» передали мне, что Анна Ивановна Сахарова просит меня зайти к ней: есть деловой разговор.

Я на Гагаринской. Анна Ивановна сообщает:

– У нас тут гостил Есенин. Просил меня дать ему ваш адрес. Я не дала. Сказала: сперва спрошу у нее, разрешит ли… Придете, а она вас с лестницы спустит. Уж я б на ее месте спустила!

Я еле сдержала крик досады и боли.

Сергей не только принял как должное, что я «спущу его с лестницы», но даже стал утверждать, будто я так именно и поступила. И сам поверил в свою выдумку. Поверил тем легче, что еще в августе двадцать четвертого года, когда моему сынку было всего три месяца, случилось так: я шла с няней и с ним по Гагаринской – няне надо было навестить свою семью (все в том же сахаровском дворе), а я должна была покормить грудью ребенка да заодно зайти по делу к Анне Марковне, соседке и давней подруге Анны Ивановны. Издали вижу – навстречу идет Есенин. Делаю няне знак, чтоб она с малышом на руках перешла на другую сторону. Няня подчинилась крайне неохотно, а у Сергея пробежала судорога по лицу. Затем я, как ни в чем не бывало, перекинулась с ним двумя словами – знала, что он собирается на Кавказ, даже думала, что уже уехал из Ленинграда… Отсюда и родилась сплетня, будто я «не позволила Есенину даже посмотреть на ребенка», за что младший брат Сахарова сильно меня осуждал. Нет, прямого запрета не было: когда бы сам пришел ко мне домой, с лестницы не спустила бы. Но я не захотела показывать сына при случайной встрече, да еще на этой улице, где встреча не могла показаться Сергею случайной: подумал бы, конечно, что я сама ищу встречи. Я же, напротив, дала ему знать через друзей, что прошу не приходить, пока не отлучу маленького от груди.

Я, понятно, разрешила Анне Ивановне дать мой адрес Есенину. Но в его последний приезд в Ленинград мы

разминулись: на Рождество я поехала с сыном на две недели в Москву.

И еще мне рассказали тогда у Сахаровых, будто в тот свой приезд Есенин ходил на Мойку с мыслью утопиться. Но хмурая, осенняя река посмотрела на него холодной, неприютной, – не упокоит такая могила! И отказался от замысла, отложил…

– Сами знаете, – сказал мне Александр Михайлович, – он уже раз пробовал такое, вену вскрывал…

– Тогда, в двадцать четвертом году? Та черная повязка на руке?

– Ну, да! А вы что, поверили, будто он стекло подвальное продавил? Ясно же было: аккуратненько вену перерезал. Нигде, ни на руке, ни на одном пальце ни царапины. Да как вы могли поверить?

Я тогда гнала от себя страшную догадку. Ведь черную повязку на руке Сергея я увидела в канун родов.

Та встреча на Гагаринской обернулась моим последним свиданием с Есениным.

По ту сторону

Известие о гибели Есенина настигло меня в Москве. Как удар в грудь.

Двадцать шестой год. Первые дни января. Со всех сторон люди считают нужным рассказать мне, что знают, что слышали о последних неделях и днях Есенина… И здесь, в Москве, и в Ленинграде, когда вернусь…

Я у Анны Марковны. Она отличная портниха и близкая подруга Анны Ивановны Сахаровой. Крупная, броско красивая зрелая женщина с восточными огненными глазами и мощной грудью. Ее молодой муж, записной бело-розовый красавчик Коля (полного имени его я никогда не знала, для всех вокруг он просто Коля), напустив на себя многозначительный вид, рассказывает мне:

– Очень Сергей расстроился, когда Анна Ивановна отказалась дать ему ваш адрес. Он потом пил со мной весь день, вместе и заночевали. Все повторял: «Как же я низко пал, если Надя Вольпин… Надя… она любила меня больше всех… И Надя спустила меня с лестницы!»

Не «должна спустить», а «спустила»! Это больше всего поразило меня (и это кое-что сказало бы психиатру). Отметив про себя в рассказе Коли это слишком торжественное «низко пал», я переспросила:

– «Спустила»? Он так и сказал?

– Да, именно так. Но я-то понимал, что не ходил он к вам, ведь и адреса не знал.

И Коля с похвальбой в голосе добавил:

– Ну, я как мог утешил его. Дело, говорю, поправимое. Вы к ней не пустой придите, с хорошим подарком, купите что-нибудь этакое… подороже… уж как положено! А он все повторяет свое: «Как я низко пал!»… Так всю ночь и проплакал.

Больно было слушать. Коля с его «мудрым» житейским советом… Вот какими людьми был окружен в последние свои недели Сергей Есенин – верней, окружал себя… И вспомнилась мне зима с двадцать третьего на двадцать четвертый: как истинные друзья Сергея Есенина – в первую голову Иван Васильевич Грузинов – стараются выслеживать ночами Есенина по московским кабакам, приводить на место надежного ночлега, привлекая к этому делу даже меня… И вдруг пронзила мысль: а первый-то друг, Анатолий Мариенгоф? Он полностью снял с себя эту заботу!

Был в те первые послереволюционные годы в Камерном театре актер – не на ведущих ролях – Оленин. Полного имени его не помню, а звали его в нашем кругу Аликом Олениным. Он дал себе тяжелый труд выучить наизусть раннюю есенинскую поэму «Товарищ», первый отклик поэта на Февральскую революцию. Поэма была напечатана в мае семнадцатого года и рисуется мне предвестницей блоковских «Двенадцати». Поэзия Есенина давно оставила позади этот ранний опыт. Прозвучал «Небесный барабанщик», «Сорокоуст», «Пугачев». Прочтены друзьям и «Страна негодяев», и «Черный человек». А наш Алик Оленин, знай, читает с эстрады «Товарища». Эффектно читает. Особенно заключительный выкрик:

Железное
Слово
«Рре-эс-пу-у-ублика!»

Над чтецом уже давно посмеиваются. Есенин несколько раз просил его добром больше «Товарища» не читать. Как горох об стену! Поэт наконец пустил в ход сильное средство: официально – от Ордена имажинистов – актера предупредили, что если он еще раз позволит себе прочесть с эстрады «Товарища», то «в уплату получит по морде». Подействовало.

Не прошло, однако, и недели со дня смерти Сергея Есенина. В московском Доме печати вечер памяти погибшего поэта. Одним

из первых выходит на эстраду Алик Оленин и читает… ну, конечно же, «Товарища»! Ох, и хотелось мне, чтобы кто из друзей в память ушедшего выдал чтецу обусловленную плату.

Нет, никто не счел нужным «расплатиться»…

Я шла с вечера домой, думая о том, как теперь в памяти людской беззащитен поэт: от зависти тайной и злобы открытой, от ядовитой клеветы друзей.

Год двадцать шестой. Январь или февраль?

Приехал в Ленинград мой двоюродный брат Валентин Иванович Вольпин. Привез подарок – недавно вышедшие из печати три тома «Собрания сочинений» Есенина (напомню: четвертый том первоначальным планом не был предусмотрен, и самая мысль о нем возникла лишь после смерти поэта).

Печальный дар! Но очень желанный.

Время шло. Я давно снова живу постоянно в Москве, на Самотеке. Год тридцать девятый (или сороковой?).

Как-то иду по Самотечному бульвару, и навстречу мне Анатолий Борисович Мариенгоф. Он горячо жмет мне руку, как дорогой родственнице. Точно в прошлом вовсе не старался, как только мог, оттягивать от меня Есенина. Говорит:

– Мне очень хотелось бы познакомить наших сыновей. Пусть они растут друзьями. Такими, как мы с Сергеем! Пусть возродят нашу молодость!

Я не возражаю, хоть и не верю в искусственное возрождение молодости, ни в дружбу по заказу. Уговариваемся, когда ему прийти ко мне со своим Кириллом… Однако ни дружбе, ни даже знакомству сыновей не суждено было завязаться… Через несколько дней я узнала, что Кирилл – ему тогда было лет шестнадцать – покончил с собой. Тем же способом, что и Есенин.

И мне представилось: сын Мариенгофа через долгие годы завершил своею смертью ту длинную череду самоубийств, которой якобы отозвалась Москва на гибель Сергея Есенина. То была переломная полоса. Многие, многие тогда свели счеты с жизнью. И чуть не каждый, в чем бы ни была причина его самоубийства, считал нужным оставить рядом с предсмертной запиской раскрытый томик Есенина. «Никого не винить». Или скажете: «некого винить»? Ан есть кого: вините поэта!

На этом я позволю себе – без послесловий – оборвать мои записи. Как самочинно оборвал свою жизнь Сергей Есенин.

1984

Вместо заключения

Южный ветер

Февральский ветер южный,
Ты саднишь сердце мне,
Как память прежней дружбы,
Как свет в чужом окне.

Скрипел под килем гравий,
Горели три огня.
Закат лениво грабил
Руду слепого дня.

«Прощай, Надия, – кормчий
Неласково сказал, —
В солончаковой почве
Не прорастет лоза».

И он ушел – по ветру
То имя расплескать,
Что мне дала в примету,
Любя и веря, мать.

Бывают страшны штормы,
Бывает зыбь страшна,
Но пыткой самой черной
Измает тишина.

Тот искус был иль не был?
Простор два года пуст,
Два года пусто небо,
А воздух сух и густ.

Ты все ж вернулся, блудный!
Что счастьем назовут?
…На дальнем рейде судно
Тонуло, сев на ют.

И я сквозь сумрак древний
Успела прочитать
То имя на форштевне,

Что нарекла мне мать.

Не взмах руки горячей,
Не лоб высокий твой:
Как великан незрячий,
На берег шел прибой.

Пришел. Чужой, недужный,
Залег меж серых скал.
Он шею гнул натужно,
Он плечи разминал.

С набухшей гривы молча
Он пену отжинал…
А ночь над миром волчьим
Склонилась, как жена.

И память прежней дружбы
Томила сердце мне,
Как в стужу ветер южный,
Как свет в чужом окне.

Н. В. Крандиевская-Толстая
Сергей Есенин и Айседора Дункан. Встречи

– У нас гости в столовой, – сказал Толстой, заглянув в мою комнату. – Клюев привел Есенина. Выйди, познакомься. Он занятный.

Я вышла в столовую. Поэты пили чай. Клюев, в поддевке, с волосами, разделенными на пробор, с женскими плечами, благостный и сдобный, похож был на церковного старосту. Принимая от меня чашку с чаем, он помянул про великий пост. Отпихнул ветчину и масло. Чай пил «по-поповски», накрошив в него яблоко. Напившись, перевернул чашку, перекрестился на этюд Сарьяна и принялся читать нараспев вполне доброкачественные стихи. Временами, однако, чересчур фольклорное какое-нибудь словечко заставляло насторожиться. Озадачил меня также его мизинец с длинным, хорошо отполированным ногтем.

Второй гость, похожий на подростка, скромно покашливал. В голубой косоворотке, миловидный, льняные волосы уложены бабочкой на лбу. С первого взгляда – фабричный паренек, мастеровой. Это и был Есенин.

На столе стояли вербы. Есенин взял темно-красный прутик из вазы.

– Что мышата на жердочке, – сказал он вдруг и улыбнулся.

Мне понравилось, *как* он это сказал, понравился юмор, блеснувший в озорных глазах, и *все* в нем вдруг понравилось. Стало ясно, что за простоватой его внешностью светится что-то совсем не простое и не обычное.

Крутя вербный прутик в руках, он прочел первое свое стихотворение, потом второе, потом третье. Он читал много в тот вечер. Мы были взволнованы стихами, и не знаю, как это случилось, но в благодарном порыве, прощаясь, я поцеловала его в лоб, прямо в льняную бабочку, ставшую вдруг такою же милою мне, как и все в его облике.

В передней, по-мальчишески качая мою руку в последнем рукопожатии, Есенин сказал:

– Я к вам опять приду. Ладно?

– Приходите, – откликнулась я.

Но больше он не пришел.

Это было весной 1917 года[27], в Москве, и только через пять лет мы встретились снова, в Берлине, на тротуарах Курфюрстендама.

На Есенине был смокинг, на затылке – цилиндр, в петлице – хризантема. И то, и другое, и третье, как будто бы безупречное, выглядело на нем по-маскарадному. Большая и великолепная Айседора Дункан, с театральным гримом на лице, шла рядом, волоча по асфальту парчовый подол.

Ветер вздымал лиловато-красные волосы на ее голове. Люди шарахались в сторону.

– Есенин! – окликнула я.

Он не сразу узнал меня. Узнав, подбежал, схватил мою руку и крикнул:

– Ух ты. Вот встреча! Сидора, смотри кто…

– Qui est-ce?[28] – спросила Айседора. Она еле скользнула по мне сиреневыми глазами и остановила их на Никите, которого я вела за руку.

Долго, пристально, как бы с ужасом, смотрела она на моего пятилетнего сына, и постепенно расширенные атропином глаза ее ширились все больше, наливаясь слезами.

– Сидора! – тормошил ее Есенин. – Сидора, что ты?

– Oh, – простонала она наконец, не отрывая глаз от Никиты – Oh, oh!.. – И опустилась на колени перед ним, прямо на тротуар.

Перепуганный Никита волчонком глядел на нее. Я же поняла все. Я старалась поднять ее. Есенин помогал мне. Любопытные столпились вокруг. Айседора встала и, отстранив меня от Есенина, закрыв голову шарфом, пошла по улицам, не оборачиваясь, не видя перед собой никого, – фигура из трагедий Софокла. Есенин бежал за нею в своем глупом цилиндре, растерянный.

– Сидора, – кричал он, – подожди! Сидора, что случилось?

Никита горько плакал, уткнувшись в мои колени.

Я знала трагедию Айседоры Дункан. Ее дети, мальчик и девочка, погибли в Париже, в автомобильной катастрофе, много лет тому назад.

В дождливый день они ехали с гувернанткой в машине через Сену. Шофер затормозил на мосту, машину занесло на скользких торцах и перебросило через перила в реку. Никто не спасся.

Мальчик был любимец Айседоры. Его портрет на знаменитой рекламе английского мыла Pears'a известен всему миру. Белокурый голый младенец улыбается, весь в мыльной пене. Говорили, что он похож на Никиту, но в какой мере он был похож на Никиту, знать могла одна Айседора. И она это узнала, бедная.

В этот год Горький жил в Берлине.

– Зовите меня на Есенина, – сказал он однажды, – интересует меня этот человек.

Было решено устроить завтрак в пансионе Фишер, где мы снимали две большие меблированные комнаты. В угловой, с балконом на Курфюрстендам, накрыли длинный стол по диагонали. Приглашены были: Айседора Дункан, Есенин и Горький[29].

Айседора пришла, обтекаемая многочисленными шарфами пепельных тонов, с огненным куском шифона, перекинутым через плечо, как знамя. В этот раз она была спокойна, казалась усталой. Грима было меньше, и увядающее лицо, полное женственной прелести, напоминало прежнюю Дункан.

Три вещи беспокоили меня как хозяйку завтрака.

Первое – это чтобы не выбежал из соседней комнаты Никита, запрятанный туда на целый день. Второе заключалось в том, что разговор у Есенина с Горьким, посаженными рядом, не налаживался. Я видела, Есенин робеет как мальчик. Горький присматривается к нему. Третье беспокойство внушал хозяин завтрака, непредусмотрительно подливавший водку в стакан Айседоры (рюмок для этого напитка она не признавала). Следы этой хозяйской беспечности были налицо.

– За русский революсс! – шумела Айседора, протягивая Алексею Максимовичу свой стакан. – Ecoutez[30], Горки! Я будет танцоват seulement[31] для русски революсс. C'est beau[32] русски революсс!

Алексей Максимович чокался и хмурился. Я видела, что ему не по себе. Поглаживая усы, он нагнулся ко мне и сказал тихо:

– Эта пожилая барыня расхваливает революцию, как театрал – удачную премьеру. Это она – зря. – Помолчав, он добавил: – А глаза у барыни хороши. Талантливые глаза.

Айседора Дункан

Так шумно и сумбурно проходил завтрак. После кофе, встав из-за стола, Горький попросил Есенина прочесть последнее написанное им.

Есенин читал хорошо, но, пожалуй, слишком стараясь, нажимая на педали, без внутреннего покоя. (Я с грустью вспоминала вечер в Москве, на Молчановке.) Горькому стихи понравились, я это видела. Они разговорились. Я глядела на них,

стоящих в нише окна Как они были не похожи! Один продвигался вперед, закаленный, уверенный в цели, другой шел как слепой, на ощупь, спотыкаясь, – растревоженный и неблагополучный.

Позднее пришел поэт Кусиков, кабацкий человек в черкеске, с гитарой. Его никто не звал, но он как тень всюду следовал за Есениным в Берлине.

Айседора пожелала танцевать. Она сбросила добрую половину шарфов своих, оставила два на груди, один на животе, красный накрутила на голую руку, как флаг, и, высоко вскидывая колени, запрокинув голову, побежала по комнате, в круг. Кусиков нащипывал на гитаре «Интернационал». Ударяя руками в воображаемый бубен, она кружилась по комнате, отяжелевшая, хмельная менада. Зрители жались по стенкам. Есенин опустил голову, словно был в чем-то виноват. Мне было тяжело Я вспоминала ее вдохновенную пляску в Петербурге пятнадцать лет тому назад. Божественная Айседора! За что так мстило время этой гениальной и нелепой женщине?

Этот день решено было закончить где-нибудь на свежем воздухе. Кто-то предложил Луна-парк. Говорили, что в Берлине он особенно хорош.

Был воскресный вечер, и нарядная скука возглавляла процессию праздных, солидных людей на улицах города. Они выступали, бережно неся на себе, как знамя благополучия, свое Sonntagskleid[33], свои новые, ни разу не бывавшие в употреблении зонтики и перчатки, солидные трости, сигары, сумки, мучительную, щегольскую обувь, воскресные котелки. Железные ставни были спущены на витрины магазинов, и от этого город казался просторнее и чище.

Компания наша разделилась по машинам. Голова Айседоры лежала на плече у Есенина, пока шофер мчал нас по широкому Курфюрстендаму.

– Mais dis-moi souka, dis-moi ster-r-rwa…[34] – лепетала Айседора, ребячась, протягивая губы для поцелуя.

– Любит, чтобы ругал ее по-русски, – не то объяснял, не то оправдывался Есенин, – нравится ей. И когда бью – нравится. Чудачка!

– А вы бьете? – спросила я.

– Она сама дерется, – засмеялся он уклончиво.

– Как вы объясняетесь, не зная языка?

– А вот так: моя – твоя, моя – твоя… – И он задвигал руками, как татарин на ярмарке. – Мы друг друга понимаем, правда, Сидора?

За столиком в ресторане Луна-парка Айседора сидела усталая, с бокалом шампанского в руке, глядя поверх людских голов с таким брезгливым прищуром и царственной скукой, как смотрит австралийская пума из клетки на толпу надоевших зевак.

Вокруг немецкие бюргеры пили свое законное воскресное пиво. Труба ресторанного джаза пронзительно-печально пела в вечернем небе. На деревянных скалах грохотали вагонетки, свергая визжащих людей в проверенные бездны. Есенин паясничал перед оптическим зеркалом вместе с Кусиковым. Зеркало то раздувало человека наподобие шара, то вытягивало унылым червем. Рядом грохотало знаменитое «железное море», вздымая волнообразно железные ленты, перекатывая через них железные лодки на колесах. Несомненно, бредовая фантазия какого-то мрачного мизантропа изобрела этот железный аттракцион, гордость Берлина! В другом углу сада бешено крутящийся щит, усеянный цветными лампочками, слепил глаза до боли в висках. Странный садизм лежал в основе большинства развлечений. Горькому они, видимо, не очень нравились. Его узнали в толпе, и любопытные ходили за ним, как за аттракционом. Он простился с нами и уехал домой.

Вечеру этому не суждено было закончиться благополучно. Одушевление за нашим столиком падало, ресторан пустел. Айседора царственно скучала. Есенин был пьян, невесело, по-русски пьян, философствуя и скандаля. Что-то его задело и растеребило во встрече с Горьким.

– А ну их к собачьей матери, умников! – отводил он душу, чокаясь с Кусиковым. – Пушкин что сказал? «Поэзия, прости господи, должна быть глуповата». Она, брат, умных не любит! Пей, Сашка!

Это был для меня новый Есенин. Я чувствовала за его хулиганским наскоком что-то привычно наигранное, за чем прятались не то разобиженность, не то отчаянье. Было жаль его, и хотелось скорей кончить этот не к добру затянувшийся вечер.

Айседора и Есенин занимали две большие комнаты в отеле «Адлен» на Унтер-ден-Линден. Они жили широко, располагая, по-видимому, как раз *тем* количеством денег, какое дает возможность пренебрежительного к ним отношения. Дункан только что заложила свой дом в окрестностях Лондона и вела переговоры о продаже дома в Париже. Путешествие по Европе в пятиместном «бьюике», задуманное еще в Москве, совместно с Есениным, требовало денег, тем более что Айседору сопровождал секретарь-француз, а за Есениным увязался поэт Кусиков.

Автомобиль был единственным способом передвижения, который признавала Дункан. Железнодорожный вагон вызывал в ней брезгливое содрогание; говорят, что она никогда не ездила в поездах.

Айседора вообще была женщина со странностями. Несомненно умная, по-особенному, своеобразно, с претенциозным уклоном удивить, ошарашить собеседника. Эту черту словесного озорства я наблюдала позднее у другого ее соотечественника, блестящего Бернарда Шоу.

Айседора, например, утверждала: «Большинство общественных бедствий оттого, что люди не умеют двигаться. Они делают много лишних и неверных движений».

Мысли эти она развивала в форме забавных афоризмов, словно поддразнивая собеседника. Узнав, что я пишу, она усмехнулась недоверчиво:

– Есть ли у вас любовник, по крайней мере? Чтобы писать стихи, нужен любовник.

Отношение Дункан ко всему русскому было подозрительно восторженным. Порой казалось: пресыщенная, утомленная славой женщина не воспринимает ли и Россию, и революцию, и любовь Есенина как злой аперитив, как огненную приправу к последнему блюду на жизненном пиру?

Ей было лет сорок пять. Она была еще хороша, но в отношениях ее к Есенину уже чувствовалась трагическая алчность последнего чувства.

Однажды ночью к нам ворвался Кусиков, попросил взаймы сто марок и сообщил, что Есенин сбежал от Айседоры.

– Окопались в пансиончике на Уландштрассе, – сказал он весело, – Айседора не найдет. Тишина, уют. Выпиваем, стихи пишем. Вы смотрите не выдавайте нас.

Но Айседора села в машину и объехала за три дня все пансионы Шарлотенбурга и Курфюрстендама. На четвертую ночь она ворвалась, как амазонка, с хлыстом в руке в тихий семейный пансион на Уландштрассе. Все спали. Только Есенин в пижаме, сидя за бутылкой пива в столовой, играл с Кусиковым в шашки. Вокруг них в темноте буфетов на кронштейнах, убранных кружевами, мирно сияли кофейники и сервизы, громоздились хрустали, вазочки и пивные кружки. Висели деревянные утки вниз головами. Солидно тикали часы. Тишина и уют, вместе с ароматом сигар и кофе, обволакивали это буржуазное немецкое гнездо, как надежная дымовая завеса, от бурь и непогод за окном. Но буря ворвалась и сюда в образе Айседоры. Увидя ее, Есенин молча попятился и скрылся в темном коридоре. Кусиков побежал будить хозяйку, а в столовой начался погром.

Айседора носилась по комнатам в красном хитоне, как демон разрушения. Распахнув буфет, она вывалила на пол все, что было в нем. От ударов ее хлыста летели вазочки с кронштейнов, рушились полки с сервизами. Сорвались деревянные утки со стены, закачались, зазвенели хрустали на люстре. Айседора бушевала до тех пор, пока бить стало нечего. Тогда, перешагнув через груды черепков и осколков, она прошла в коридор и за гардеробом нашла Есенина.

– Quittez ce bordel immédiatement, – сказала она ему спокойно, – et suivez-moi[35].

Есенин надел цилиндр, накинул пальто поверх пижамы и молча пошел за ней. Кусиков остался в залог и для подписания пансионного счета.

Этот счет, присланный через два дня в отель Айседоре, был страшен. Было много шума и разговоров. Расплатясь, Айседора погрузила свое трудное хозяйство на два многосильных «мерседеса» и отбыла в Париж, через Кельн и Страсбург, чтобы в пути познакомить поэта с готикой знаменитых соборов.

<1958>

Г. А. Бениславская
Воспоминания о Есенине

1920 год. Осень. «Суд над имажинистами». Большой зал консерватории. Холодно и не топлено. Зал молодой, оживленный. Хохочут, спорят и переругиваются из-за мест (места ненумерованные, кто какое займет). Нас целая компания. Пришли потому, что сам Брюсов председатель. А я и Яна[36] – еще и голос Шершеневича послушать, очень нам нравился тогда его голос. Уселись в первом ряду. Но так как я опоздала и место, занятое для меня, захватили, добываю где-то стул и смело ставлю спереди слева, перед креслами первого ряда.

Наконец на эстраду выходят. «Подсудимые» садятся слева группой в пять человек. Шершеневич, Мариенгоф и еще кто-то[37].

Почти сразу же чувствую на себе чей-то любопытный, чуть лукавый взгляд. Вот ведь нахал какой, добро бы Шершеневич – у того хоть такая заслуга, как его голос. А этот мальчишка, поэтишка какой-нибудь. С возмущением сажусь вполоборота, говорю Яне: «Вот нахал какой».

Суд начинается. Выступают от разных групп: неоклассики, акмеисты, символисты – им же имя легион. «Подсудимые» переговариваются, что-то жуют, смеются. (Я на ухо Яне сообщила, что жуют кокаин; я тогда не знала, что́ его – нюхают или жуют.) В их группе Шершеневич, Мариенгоф, Грузинов, Есенин и их «защитник» – Федор Жиц. Слово предоставляется «подсудимым». Кто и что говорил – не помню, даже скучно стало. Вдруг выходит тот самый мальчишка: короткая, нараспашку оленья куртка, руки в карманах брюк и совершенно золотые волосы, как живые. Слегка откинув назад голову и стан, начинает читать:

> Плюйся, ветер, охапками листьев, —
> Я такой же, как ты, хулиган.

Он весь стихия, озорная, непокорная, безудержная стихия, не только в стихах, а в каждом движении, отражающем движение стиха. Гибкий, буйный, как ветер, с которым он говорит, да нет, что ветер, ветру бы у Есенина призанять удали. Где он, где его стихи и где его буйная удаль – разве можно отделить. Все это слилось в безудержную стремительность, и захватывают, пожалуй, не так стихи, как эта стихийность.

Думается, это порыв ветра такой с дождем, когда капли не

падают на землю и они не могут и даже не успевают упасть.

Или это упавшие желтые осенние листья, которые нетерпеливой рукой треплет ветер, и они не могут остановиться и кружатся в водовороте.

Или это пламенем костра играет ветер и треплет и рвет его в лохмотья, и беспощадно треплет самые лохмотья.

Или это рожь перед бурей, когда под вихрем она уже не пригибается к земле, а вот-вот, кажется, сорвется с корня и понесется неведомо куда.

Нет. Это Есенин читает «Плюйся, ветер, охапками листьев…». Но это не ураган, безобразно сокрушающий деревья, дома и все, что попадается на пути. Нет. Это именно озорной, непокорный ветер, это стихия не ужасающая, а захватывающая. И в том, кто слушает, невольно просыпается та же стихия, и невольно хочется за ним повторить с той же удалью: «Я такой же, как ты, хулиган».

Потом он читал «Трубит, трубит погибельный рог!..».

Что случилось после его чтения, трудно передать. Все вдруг повскакивали с мест и бросились к эстраде, к нему. Ему не только кричали, его молили: «Прочитайте еще что-нибудь». И через несколько минут, подойдя, уже в меховой шапке с собольей оторочкой, по-ребячески прочитал еще раз «Плюйся, ветер…».

Опомнившись, я увидела, что я тоже у самой эстрады. Как я там очутилась, не знаю и не помню. Очевидно, этим ветром подхватило и закрутило и меня.

Когда Шершеневич сказал, что через полторы недели они устраивают свой вечер, где они будут судить поэзию, я сразу решила, что пойду.

Что случилось, я сама еще не знала. Было огромное обаяние в его стихийности, в его полубоярском, полухулиганском костюме, в его позе и манере читать, хотелось его слушать, именно слушать еще и еще.

А он вернулся на то же место, где сидел, и опять тот же любопытный и внимательный, долгий – так переглядываются со знакомыми, взгляд в нашу сторону. Мое негодование уже забыто, только неловко стало, что сижу так на виду, перед первым рядом.

Эти полторы недели прошли под гипнозом его стихов.

Второй вечер был в Политехническом музее. Тоже не топлено, и тоже молодая, озорная, резвая публика, тоже ненумерованные места. Первые ряды захватили те, кто пришел в 6 часов вечера, за два часа до начала.

Всего вечера я уж не помню. С этих пор на всех вечерах все, кроме Е., было как в тумане. Помню только, как во время суда имажинистов над современной поэзией из зала раздался зычный голос Маяковского о том, что он кое-что знает о незаконном

рождении этих эпигонов футуризма (что-то в этом роде). Через весь зал шагнул Маяковский на эстраду. А рядом с ним, таким огромным и зычным, Е. пытается перекричать его: «Вырос с версту ростом и думает, мы испугались, – не запугаешь этим». В конце вечера С. А. читал стихи, кажется «Исповедь». Читал так же, как и первый раз. Он раньше, до «Страны негодяев», читал всегда с буйством, с порывом.

Я с Яной сидела во втором ряду. Е. весь вечер, когда не читал, а сидел на эстраде, почти все время упорно смотрел в нашу сторону. После окончания, он как раз читал последним, я до сих пор не знаю, как и почему очутилась там, за кулисами. По словам Яны, я сорвалась и бросилась по лестнице на эстраду, потянув и ее за собой. Опомнилась я, уже стоя в узком проходе; за сценой направо в дверь был виден Е. «Яна, ройся в своем портфеле, ищи чего-нибудь там» (это чтобы удобнее было тут стоять). Яна, ошеломленная, выполняет. Вдруг Е. нагло подлетает вплотную и останавливается около меня. Не знаю отчего, но я почувствовала, что надо дать отпор; чем-то его выходка оскорбила меня, и мелькнула мысль: «Как к девке подлетел». – «Извините, ошиблись». И, резко повернувшись, умышленно резким тоном сказала Яне: «Ну, чего ты копаешься, пойдем же». С какой физиономией С. А. остался – не знаю.

Но уже выйдя из музея – цепь мыслей. Такого, не именно его, а вообще такого, могу полюбить. Быть может, уже люблю. И на что угодно для него пойду. Только удивилась: читала в романах, а в жизни не знала, что так «скоропостижно» вспыхивает это. Поняла: да ведь это же и есть именно тот «принц», которого ждала. И ясно стало, почему никого не любила до сих пор. (В 1920 г. мне было 23 года. Единственное увлечение до тех пор я испытала в 1916 г. Как мне вообще свойственно, это был порыв. Были даже поцелуи. Но через два месяца всякое чувство само собой прошло. И с тех пор до С. А. мне и не снилось, что я способна полюбить.) Не любила потому, что слишком большие требования были (подсознательно), много надо было творческого огня и стихии в человеке, чтобы захватить меня своим романтизмом. А это я первый раз почувствовала в Е. В этот же вечер отчетливо поняла – здесь все могу отдать: и принципы (не выходить замуж), и – тело (чего до тех пор не могла даже представить себе), и не только могу, а даже, кажется, хочу этого. Знаю, что сразу же поставила крест на своей мечте о независимости и подчинилась. Тот отпор его наглой выходке был дан так, для фасона. Но не знала тогда, что в будущем, и сравнительно недалеком, буду бороться в себе с этим чувством, буду стараться изменять ему, раздувать в себе малейшее

расположение к другим, лишь бы освободиться от С. А., от этой блаженной и вместе с тем мучительной болезни. Не знала ни о чем, ни о каких последствиях не думала, а так, не задумываясь, потянулась, как к солнцу, к нему.

Яне несдержанно сообщила, что очень понравился Е. «Ну да, он все время на тебя смотрел, потому и понравился». Обозлилась на Яну, но мне было все равно, куда идти, куда иду. Только бы за ним. Причем это «за ним» было совершенно бесцельно. Ничего не собиралась добиваться, я только не могла и не хотела не думать о нем, не искать возможности увидеть и услышать его. И главное для меня в нем был не поэт, а эта бешеная стихийность. Ведь стихи можно в книгах читать, слушать на вечерах. Но для меня это никогда, ни до, ни после, не связывалось с личностью поэта. И позже, уже имея возможность всегда видеть его, когда он начинал читать стихи, я не раз думала, что, кроме всего этого, я могу еще слушать от него самого только что написанные стихи. В этот день пришла домой внешне спокойная, а внутри сплошное ликование, как будто, как в сказке, волшебную заветную вещь нашла. С этого вечера до осени 1922 г. (два года) я засыпала с мыслью о нем, и, когда просыпалась, первая мысль была о С. А., так же как в детстве первой мыслью бывает: «Есть ли сегодня солнце?»

Г. Бениславская

Открылось «Стойло» – клуб «Ассоциации вольнодумцев» (они же и имажинисты). Почти каждый вечер там чей-нибудь доклад. Жаркие, ожесточенные, задорные и вместе с тем веселые споры об образе, о форме и содержании, об урбанизме (извечная пропасть между Мариенгофом и Есениным). Однажды доклад Якулова. Е.,

как и все вечера, поглядывает в нашу сторону (была я и моя подруга Л<идия> Б<ерестова>, Яна не пришла) и вдруг направляется <к нам> и, нагибаясь ко мне, на ухо, как-то взволнованно и грубо, вполголоса говорит: «Послушайте, но так же нельзя, вы каждый вечер сюда ходите…» Тут уж меня взорвало (надо сказать, я много слыхала об его дерзости) – ясно, что сейчас добавит: «из-за меня» или что-нибудь в этом роде. Ну, думаю, и в дураках же ты будешь, так же нагло отвечу: «Да вы что, с ума сошли? Вас-то меньше всего заметила». Все эти мысли в одно мгновение пронеслись в голове, а он в это время доканчивает фразу: «…Я уже сказал в кассе, чтобы вас пропускали как своих, без билета. Скажите фамилию, и я велю кассирше записать». У меня на душе отлегло, но тут же соображаю: нет, таким способом мою фамилию не удастся узнать – и называю бесцеремонно три подряд: Козловская, Бениславская, Берестова. Он пошел к кассирше и, возвращаясь, сообщает, что «я распорядился».

Прошло несколько дней. Ни Яна, ни Лида не могли пойти в «Стойло», иду одна. Вошла. Вечер еще не начался; вдруг ко мне направляется (я глазам не верю) Есенин, здоровается и спрашивает: «Правда, у нас хорошо стало с музыкой?» (Первый вечер в «Стойле» играл оркестр, тот, который много лет до скончания «Стойла» томил нам душу.) Насчет качества музыки я усомнилась, но в общем весь вечер мы проговорили с Е. Говорили о Маяковском. «Да это ж не поэзия, у него нет ни одного образа», – убеждал С. А. Я обещала специально отметить карандашом образы Маяковского и принести в следующий раз. Потом говорили вообще о поэзии и о всяких прочих вещах. С. А. был какой-то очень кроткий и ласковый.

На следующий день Яна не верит, что я познакомилась с Есениным. У меня, правда, ликующие глаза. Но ведь совершенно невероятно, чтобы случилось именно так, как я лишь смутно сама предполагала. «Ну что ж, на следующий вечер пойдем, увидим». А сама со страху думаю: не во сне ли приснилось мне? Вдруг приду с Яной и оскандалюсь. Он не узнает даже.

Вечером сидим в «Стойле», входит С. А. и сразу направляется ко мне. Я даже Яну познакомила с ним.

Я и Яна идем мимо лавки на Никитской. Прошли. Яна, заглянув в окно, увидела, что там Е., без шапки, в костюме. Нечаянно я оглядываюсь на улице: за нами Е., в шубе, без шапки, со связкой книг. Мы несколько дней его не видели. Яну он не узнал. Пришлось знакомить вторично. «Ну, как живете, что делаете?» И я, вероятно от смущения, отвечаю: «Ничего, за

билетами на концерты ходим». Только когда почувствовала толчок Яниным локтем, поняла, что сморозила глупость. Заговорили о критике. С. А. очень интересовался статьями о литературе в зарубежных газетах. Яна обещала ему доставать. Больше всего интересовался статьями и заметками о нем самом и об имажинистах вообще. Поэтому я и Яна доставали ему много газет. Я добывала в информбюро ВЧК, а для этого приходилось просматривать целые комплекты «Последних новостей», «Дня» и «Руля».

И с того дня у меня в «Стойле» щеки всегда как маков цвет. Зима, люди мерзнут, а мне хоть веером обмахивайся. И с этого вечера началась сказка. Тянулась она до июня 1925 года. Несмотря на все тревоги, столь непосильные моим плечам, несмотря на все раны, на всю боль – все же это была сказка. Все же было такое, чего можно не встретить не только в такую короткую жизнь, но и в очень длинную и очень удачную жизнь.

Как-то раз Яна достала какие-то газеты. Передали их Е. (Мы по-прежнему всегда ходили вместе – таким образом легче было скрыть правду наших отношений с С. А.) Заходим за этими газетами. Оказывается, Мариенгоф передал их Шершеневичу. Мы рассердились, т. к. газеты были нужны. Е. погнал Мариенгофа к Вадиму Габр<иэлевичу>. Потом оделся и вместе со мной и Яной пошел туда же. Это был первый ласковый день после зимы. Вдруг всюду побежали ручьи. Безудержное солнце. Лужи. Скользко. Яна всюду оступается, скользит и чего-то невероятно конфузится; я и С. А. всю дорогу хохочем. Весна – весело. Рассказывает, что он сегодня уезжает в Туркестан. «А Мариенгоф не верит, что я уеду». Дошли до Камергерской книжной лавки.

Пока Ш<ершеневич> куда-то ходил за газетами, мы стоим на улице у магазина. Я и Яна – на ступеньках, около меня С. А., подле Яны – А<натолий> Б<орисович>. Разговаривали о советской власти, о Туркестане. Неожиданно радостно и как будто с мистическим изумлением С. А., глядя в мои глаза, обращается к Анат<олию> Бор<исовичу>: «Толя, посмотри, – зеленые. Зеленые глаза».

Но в Туркестан все-таки уехал – подумала я через день, узнав, что его нет уже в Москве. Правда, где-то в глубине знала, что теперь уже запомнилась ему.

С этих пор пошли длинной вереницей бесконечно радостные встречи, то в лавке, то на вечерах, то в «Стойле». Я жила этими встречами – от одной до другой. Стихи его захватили меня не меньше, чем он сам. Потому каждый вечер был двойной радостью: и стихи, и он.

Мы узнали уже, что Е. женат и у него ребенок. Я все пробовала представить себе его ходящим по комнате с ребенком на руках и вообще в этом быту пеленок и пр. (а в те «голые годы» ребенок неизбежно создавал такой быт), и никак такая картина не укладывалась в голову, больно не шло к нему это.

Ноябрь 1920.

Утро. Я работаю у себя на службе. Напротив сидит Кр-ко[38]. Телефонный звонок. Яна: «Слушай, могу сообщить приятную тебе вещь! Оказывается, Е. разошелся со своей женой!» У меня, как говорится, упало сердце, я обозлилась, обругала ее и бросила трубку. Много раз потом я вспоминала этот разговор – почему меня это так задело, почему я обозлилась? Вот что пронеслось молнией в голове: «Есть жена, он ее любит (тогда я еще воображала, что только купцы и фабриканты могут не любить жен и жить с ними), значит, я могу быть спокойной и оставаться пассивной. Любить я могу сколько угодно – и только!..» Становиться на чьем-либо пути тогда я не была способна. Узнав, что он «свободен», для меня ясно, что раз никаких внешних преград нет, то я пойду на все. Я не могу не пойти – это моя внутренняя обязанность завоевывать то, на что я имею право. Почувствовала, что это скорее страшно, а не радостно. Во всяком случае, было ощущение чего-то рокового. И еще – значит, кто-то из них (Е. или жена) несчастен, а я уже тогда любила Е. так же, как и потом всю жизнь, и, увы, не могла радоваться несчастью человека, близкого ему, даже если на этом строилось мое счастье. Смешно и странно, но я до самой могилы – романтик, при всей моей внешней рассудочности и при всем моем «цинизме», как это называет Яна.

Вышли из Политехн<ического>. Идем издалека, решив проследить, где ж он живет. А непосредственно за ним толпа девиц, с возгласами: «Душка Е.!» и т. п. Помню, коробило очень, и обидно было и за него и за себя, хотя мы и шли по другой стороне, не подавая вида, что интересуемся им.

На углу Тверской и Охотного девицы отстали, а мы провожали по всей Никитской, до д<ома> 24, в подъезде которого он скрылся. Было ясно, что <он> живет именно в этом доме. И очень не скоро мы узнали об этой ошибке. Но долго потом этот дом у нас иначе, как «покинутым храмом», не назывался, и по инерции проходили мимо него со страхом и надеждой встретить Е.

В Политехническом музее объявлен конкурс поэтов.

Я и Яна ждем его с нетерпением. Пришли на вечер, заняли

наши места (второй ряд, посередине).

Наивность наша в отношении Есенина не знала пределов. За кого ж нам голосовать? Робко решаем – за Е.; смущены, потому что не понимаем – наглость это с нашей стороны или мы действительно правы в нашем убеждении, что Е. первый поэт России. Но все равно голосовать будем за него.

И вдруг – разочарование! Участвует всякая мелюзга, а Е. даже не пришел. Скучно и неинтересно стало. Вдруг поворачиваю голову налево к выходу и… внизу у самых дверей виднеется золотая голова! Я вскочила с места и на весь зал вскрикнула: «Е. пришел!» Сразу суматоха и переполох. Начался вой: «Есенина, Есенина, Есенина!» Часть публики шокирована. Ко мне с насмешкой кто-то обратился: «Что, вам про луну хочется послушать?» Огрызнулась только и продолжала с другими вызывать Есенина.

Есенина на руках втащили и поставили на стол – не читать невозможно было, все равно не отпустили бы. Прочел он немного, в конкурсе не участвовал, выступал вне конкурса, но было ясно, что ему и незачем участвовать, ясно, что он, именно он – первый. Дальше, как и обычно, я ничего не помню[39].

«Гранд Отель
Пурвилль на море.
19-го июня 1923 г.

Господин Есенин.

Меня уверяли перед моим отъездом, что прилагаются все старания к получению виз для Вас и что Вы уедете на этой неделе. Так ли это? Я узнала в субботу, что Лондон отказывает в транзитной визе, это идиотство, но непреодолимое препятствие. А<йседора?> оставила мне несколько строк, что она Вас отправит в путь с друзьями.

Прошлую субботу выражение Вашего лица мне показалось таким жалостно-болезненным, что я пожелала Вам еще горячей вернуться на милую Вам родину. Вы знаете сами, дорогой господин Есенин, какой заботливостью я Вас окружала и что низко было предположить, что в моем образе действий крылось другое чувство. Мой идеал не сходится с человеком, который Вы есть, кроме того, Вы умеете иногда становиться достаточно неприятным, чтобы заставить забыть, что Вы – очаровательное существо. Но предо мной был только поэт, только мозг, гибель которого я

чувствую, спасти который я хотела; это поэта я хотела вырвать из злополучного для Вас бытия, которым является обстановка, в которой Вы пребываете в Париже и везде в Европе с тех пор, как Вы уехали из России. Можно ли подумать без грусти, что уже два года Вы ничего не говорили, что все, что красиво и чисто в Вашей душе, стирается каждодневно от <со>прикосновения с пошлым бытием. Вы только пьете и любите, и вот и все – ничего не остается, так как Вы любите не только сердцем, так как Вы не можете набраться достаточно энергии для того, чтобы спастись от самого себя. Как я буду счастлива, когда мне напишут, что Вы наконец уехали.

Не мне Вам на это указ<ыв>ать. Однако я подчеркиваю, что для приписываемых мне чувств к Вам странно пожелать это расставание навсегда. Ибо в самом деле я Вас никогда не увижу больше. Это немножечко больно, я так хотела бы знать о Ваших достижениях, может быть, найдутся сколько-нибудь великодушные люди, чтобы рассказать мне, что Вы себя вновь обрели, что у Вас чудные творения и, паче всего, что Вы больше не несчастливы. Не осмеливаюсь говорить, что узнаю, что Вы больше не пьете. Вы слишком мало благоразумны, чтобы так много ожидать от Вас. Но если бы Вы могли пить меньше – если <бы> Вы могли поверить, дражайший, что пить так – значит сокращать Ваши дни – Вы подлинно больны, верьте мне; Вас можно теперь еще вылечить, но через несколько месяцев будет слишком поздно. Чувствуете ли, что я Вам говорю очень искренно и что Вам надо быть немножко разумнее, Вы не имеете права <ни> убить поэта, ни понизить человека, каким Вы являетесь.

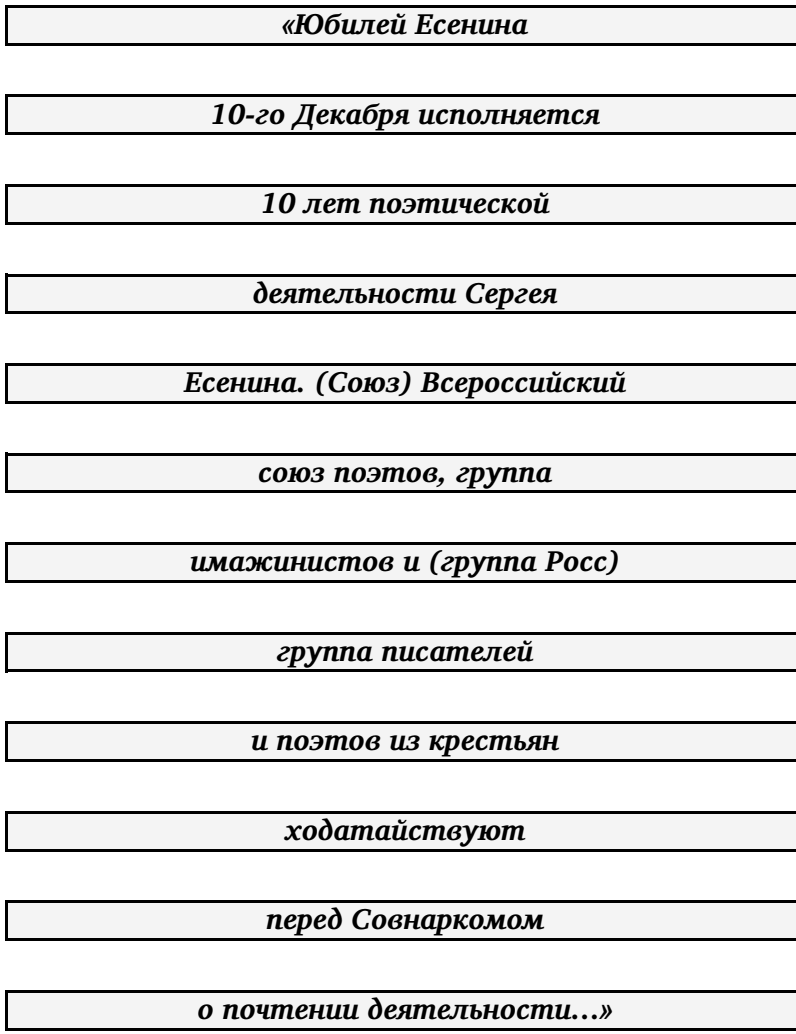
Вы мне обещали прислать Вашу первую книгу или поэму по возвращении. Это будет одна из моих самых прекрасных радостей, если Вы об этом не забудете. Она будет по-русски, но я дам ее перевести – и пойму, потому что понимаю и люблю русскую душу – как люблю балованное дитя.

Если бы память обо мне могла достаточно долго сохраниться у Вас, чтобы удержать Вас, когда Вы снова склонитесь выкинуть сумасшедшее коленце, если бы я обладала какой-то душевной силой, которая внедрила бы в Вас одну только мудрость: не пить больше, я считала б себя благословенной богами.

Увы, не больше как
Очень преданная Вам

Габриэль Мармион».

Точная копия записки С. А.:



Списано с поправками, сделанными им же самим (его почерком).

Это было в декабре (может, в конце ноября) 1923 г. С. А. в «Стойле» рассказывал друзьям: 10 декабря десять лет его поэтической деятельности. Десять лет тому назад он первый раз

увидел напечатанными свои вещи. Сам даже проект записки в Совнарком составил.

Придя домой, рассказал, что Союз поэтов и пр<очие> собираются организовать празднование юбилея. Мы (я, А. Назарова и Яна) отнеслись очень сдержанно к этой идее – мне было ясно, что у нас, как, впрочем, и на всей планете, венчают лаврами только «маститых», когда из человека уже сыплется песок. С. А. стал с раздражением доказывать свое право на чествование: «А, да. Когда умрешь, тогда – памятники, тогда – чествования. Тогда – слава. А сейчас я имею право или нет… Не хочу после смерти, на что тогда мне это. Дайте мне сейчас, при жизни. Не памятник, нет. Пусть Совнарком десять тысяч мне даст. Должен же я получить за стихи».

Наше молчаливое отношение его очень сердило. Пару дней поговорил. Потом никогда не вспоминал о своем юбилее.

В делах денежных после возвращения из-за границы он очень запутался (недаром к юбилею он именно денег ждал от Совнаркома). Иногда казалось, что и не выпутаться из этой сети долгов. Приехал больной, издерганный. Ему <бы> отдохнуть и лечиться, а деньги только из «Стойла». Писать он не был в состоянии, т. к. пил без передышки. По редакциям ходить, устраивать свои дела, как это писательские середняки делают, в то время он не мог, да и вообще не его это дело было. Часто говорят про поэтов: «он не от мира сего», и при этом рисуется слащавый образ с длинными волосами и глазами, устремленными в небеса – в мечтах и грезах, мол, живет. Не знаю, как вообще полагается поэтам. Знаю одно – С. А. не был таким слащавым мечтателем с неземными глазами, но вместе с тем трудно передать, насколько мучительно было для него это добывание денег. Его гордость не мирилась с неудачами, с получением отказа. Поэтому, направляясь в редакцию, он напрягал все нервы, чтобы не нарваться на отказ. Для этого нужно было переводить свою психику на другой регистр.

Говорят, пишут, вспоминают про него – какой он был хитрый, изворотливый, как умел войти в душу всесильного редактора, издателя и пр<очее>. Но при этом забывают случаи, когда С. А. пасовал, неудачно отстаивал свои интересы – как, например, с продажей своих сочинений Госиздату, когда он, почти не глядя, собирался подписывать договор, и только благодаря сестре (Е<катерине> А<лександровне>) и поэту Наседкину (в этом отношении очень практичному и бывалому) получил от Госиздата 10 тысяч вместо 6 тысяч, на которые он уже почти согласился.

Такая же история была с «Анной Снегиной» (или с

«Персидскими мотивами» – точно не помню). Я условилась с частным издателем И. Берлиным продать ему эту вещь за 1000 руб. Предупредила об этом С. А. Пришел Берлин к С. А. и опять завел разговор об этом издании. В конце разговора предлагает за книжку не 1 тыс. р., а всего 600 рублей. И С. А. робко, неуверенно и смущенно соглашается. Пришлось вмешаться в разговор и напомнить о том, что уже условлено за эту вещь 1000 рублей. Тогда С. А. неопределенно заявляет: «Да, мне все-таки кажется, что 600 рублей мало. Надо бы больше!» Выпроводив поскорее Берлина, чтобы переговоры о гонораре вести без С. А., возвращаюсь в комнату. «Спасибо вам, Галя! Вы всегда выручаете! А я бы не сумел и, конечно, отдал бы ему за шестьсот. Вы сами видите – не гожусь я, не умею говорить. А вы думаете, не обманывали меня? Вот именно, когда нельзя – я растеряюсь. Мне это очень трудно, особенно сейчас. Я не могу думать об этом. Потому и взваливаю все на вас, а теперь Катя подросла, пусть она занимается этим! Я буду писать, а вы с Катей разговаривайте с редакциями, с издателями!»

Одно он знал и понимал: за стихи он должен получать деньги. Заниматься же изучением бухгалтеров и редакторов – с кем и как разговаривать, чтобы не водили за нос, а выдали, когда полагается, деньги, – ему было очень тяжело, очень много сил отнимало. И кто знает, кто высчитает – сколько стихотворений могло родиться за счет энергии, потраченной на это добывание. Ведь когда он добивался чего-либо в этом плане, то, вероятно, один он до конца знал, чего это ему стоило, какого нервного напряжения, тем более что в добывании этом он видел что-то унизительное для себя, для своей независимости.

При всем этом надо сказать, что С. А. любил деньги; не раз говорил: «Я хочу быть богатым!» или: «Буду богатым, ни от кого не буду зависеть – тогда пусть покланяются!» Богатый для него было синонимом: «сильный», «независимый», «свободный». Так понимают богатство дети – богатый все может. Так же смотрят на богатство крестьяне: он богатый, ему все можно! Во-первых, ему важно было всегда иметь в кармане деньги, т. е. всегда иметь возможность пользоваться всеми благами и неблагами «культуры и техники» (а он очень ценил и любил в своем личном быту всякие удобства, этой «техникой» предоставляемые!).

Во-вторых, важно было иметь возможность не отказывать назойливой «меньшой братии», которые всякий отказ объясняли скаредностью, да и вообще уважали и уважают кого-либо главным образом за подачки (безразлично – деньгами или натурой!). Правда, и уважение их часто слова доброго не стоит, но, к сожалению, в литературных кругах часто именно они делают

погоду.

В-третьих, важно было иметь возможность помочь близким и родным, к нуждам которых С. А. всегда был очень отзывчив.

Тогда он мог быть спокойным и радостным. Имея при себе деньги, С. А. поил и угощал других, но сам пил меньше, вернее, меньше пьянел. Кроме того, по дороге в какой-либо ресторан он всегда мог отвлечься и попасть вместо ресторана в театр или кино, поехать за город. Как часто бывали дни, когда он хотел не пить, провести их спокойно в кругу настоящих друзей и близких. Но, просидев полдня дома, не имея денег даже на кино, не раз в конце вечера сбега́л и уж, конечно, трезвым домой не возвращался. Приходил или совершенно без сил, или буйным и раздраженным. Ни в театр, ни в кино, ни на концерт один он никогда не ходил. Любил пойти компанией в несколько человек. Платить приходилось за всех – ясно, что в таком положении на это не было денег.

Необходимость урезывать себя будила в нем какую-то своеобразную жадность. Именно своеобразную, т. к. деньги он все равно тратил и раздавал, а потом, когда они приходили к концу, начинал вспоминать, кому и сколько он поотдавал. Главное – он имел право на эти деньги, на эти возможности. Ведь то, что дал человечеству С. А., не дали, не дают и не дадут те сотни и тысячи людей, которые безбедно существуют, имеют свой дом, семью, авто и пр<очие> удобства. Я это говорю не с обывательской точки зрения, не из обывательской зависти, а просто здраво учитывая ценность труда С. А. по сравнению с ценностью труда тех, благополучно существующих. И при этом никто из восхищавшихся и восхищающихся им палец о палец не ударил, чтобы помочь ему устроить хотя бы квартиру!

Нет! Неверно! Грандов, редактор «Бедноты», в период своего увлечения Есениным (осень 1923 г.) подал заявление в Президиум ВЦИК, копии направив Троцкому и Воронскому. Ну а ВЦИК, переслав автоматически «в соответствующую инстанцию», даже не поинтересовался, дошла ли бумага до этой «инстанции». Только, как и надо ожидать, секретариат Троцкого не отнесся к этому вопросу по-канцелярски, а созвонился через некоторое время с редакцией «Бедноты» (ходатайство Грандова было написано на беднотовском бланке) и по возможности помогал если не в получении квартиры (это оказалось неосуществимым), то хотя бы в получении ответа из жилотдела о результатах ходатайства. А результаты были таковы: «Мы сейчас в первую очередь удовлетворяем рабочих, потом ответственных работников, а частных лиц – в последнюю. Поэтому ничего обещать вам не можем. Придите через месяц!». И даже этот ответ

удалось получить только после того, как после неоднократных бесплодных посещений Краснопресненского жилотдела лицо, наводившее справки, силой, вне очереди, ворвалось в кабинет зава. Плакать надо – ведь С. А. так и умер бездомным, а я и А. Н<азарова> знаем двух человек, которые, не будучи рабочими или ответственными работниками, в эту самую осень и в этом самом районе получили себе помещения (Марцел Рабинович получил две комнаты, будучи одиноким). Я знаю, много необходимых и неизбежных жертв можно и до́лжно принести в переходный период, и нельзя, конечно, требовать, чтобы зав. районным жилотделом знал цену Е. Но то, что в Президиуме ВЦИК, очевидно, лишь после смерти узнали ему цену, – иначе нельзя объяснить отписку в виде краткой, ничего не говорящей резолюции, с которой заявление Грандова было переслано в МУНИ[40]. Цену ему узнали, к сожалению, только после смерти; недаром Коган на одном из первых вечеров памяти Е. сказал:

«Со дня его смерти началось его бессмертие».

Но если мы виним Николая I в гибели Пушкина, а Пушкин с точки зрения Николая был вредным явлением и, следовательно, Николай не знал, «на что он руку поднимал», то что же надо сказать про наше правительство, которому равняться по Николаю не приходится и которое не имело права не понимать, какая ценность находится на его попечении, и которое все же не только не способствовало возможности расти дальше дарованию Е., но даже не сумело сохранить его; пусть даже не сохранить, а хотя бы мало-мальски обеспечить бытовые возможности. Ах, Собинову, Гельцер, Неждановой обеспечивают эти возможности, хотя их вклады в духовную культуру неизмеримо меньше, хотя бы уж потому, что их творчество с ними же умирает, а созданное Есениным переживет много поколений. Так хотя бы для этих поколений. Неужели же заботы о хлебе поглотили все внимание и нет места заботам о духовных ценностях? Конечная цель – не хлеб же. Старая история: «Дом горит, а в доме-то ребенок». – «Мы пожар гасили». – «Загасили?» – «А то как же. Конечно загасили». – «А ребенок-то где?» – «Да сгорел, видно». Ох, и взгреет же за это история, вернее, память человеческая. Человечество злопамятно и такие вещи через сто – двести лет припомнит.

Ну так вот, на ходатайстве Грандова кончаются (как на нем же и начались) все заботы об Е. со стороны стоящих у кормила. Единственный – Грандов. Да и тот через несколько месяцев потребовал от меня, чтобы С. А. в нашей квартире не было, т. к. его присутствие нарушает покой квартиры. На мои доводы и возражения, что даже если бы и хотела, я не в силах этого сделать, т. к. С. А. буквально негде жить, и не могу ж я больного

человека, да еще в таком состоянии, под забором оставить, Грандов на эти доводы сказал: «Ну, вот что: я вас предупреждаю, что если Есенин будет у вас и дальше, то я подаю заявление в ЦК, чтобы его выслали за пределы РСФСР как вредный элемент. Я его таковым считаю, и если подам такое заявление, то его вышлют». Первый раз в жизни я реально почувствовала потребность ударить человека; сдержалась, верно потому, что очень не в моих привычках такие способы воздействия. Предложила Грандову действовать как знает, но не забывать, что я со своей стороны (как это сделал бы и Грандов сам на моем месте) не остановлюсь ни перед чем и не постесняюсь раскрыть все карты (скрытой пружиной всему этому были личные отношения: Грандов любил девушку, которая уже несколько лет очень сильно увлекалась С. А.; она и Грандов жили в одной квартире с нами, и потому присутствие С. А. нарушало не только покой вообще, т. к., возвращаясь часто пьяным, он шумел, иногда скандалил, но в особенности – покой этой пары), не пощажу и таким образом дискредитирую его и его заявление в должной мере. Грандов был в бешенстве от моей, как он сам выразился, дерзости. Пришел и потребовал от Яны и Сони В<иноградской>, чтобы они подписали вместе с ним заявление в комендатуру о выселении Е. Они обе отказались, предложив переговорить со мной. На следующий день я доложила Грандову, что С. А. выписан из нашей квартиры (на самом деле С. А. лежал в это время в Шереметевской больнице). На время эта история затихла. Через некоторое время Грандов опять начал поход – хотел уволить меня из «Бедноты», получив таким образом возможность выселить меня, а следовательно, и С. А. из квартиры; от этого шага его удержала Яна.

Вскоре С. А. уехал к Вардину, потом на время в Петроград, и Грандов успокоился.

А в результате всего нам пришлось жить втроем (я, Катя и С. А.) в одной маленькой комнате, а с осени 1924 г. прибавилась четвертая – Шурка[41]. А ночевки у нас в квартире – это вообще нечто непередаваемое. В моей комнате – я, С. А., Клюев, Ганин и еще кто-нибудь, в соседней маленькой холодной комнатушке на разломанной походной кровати – кто-либо еще из спутников С. А. или Катя. Позже, в 1925 г., картина несколько изменилась: в одной комнате – С. А., Сахаров, Муран и Болдовкин, рядом в той же комнатушке, в которой к этому времени жила ее хозяйка, – на кровати сама владелица комнаты, а на полу, у окна – ее сестра, все пространство между стенкой и кроватью отводилось нам – мне, Шуре и Кате, причем крайняя из нас спала наполовину под

кроватью.

Ну а как С. А. трудно было с деньгами – этого словами не описать. Скажут – Е. получал больше других поэтов, у него были слишком большие потребности. Но он ведь и давал неизмеримо больше других поэтов, всех вместе взятых, и ему без этих потребностей нельзя было жить. Неужели ж Демьян Бедный стоит, а Е. не стоил того, чтобы эти потребности удовлетворить? Неужели ж можно было посадить Е. на построчную плату, и больше никаких? Так он долго выдержать не мог. Не раз приходилось спорить с С. А., когда он вопил, что его у себя дома (в России) обижают, что Демьян Бедный получил в Госиздате 35 000 рублей, а он, Есенин, сидит без денег. Когда после этого он буквально благим матом орал: «Отдай, отдай мои деньги!» – всегда приходилось его успокаивать и убеждать, что гонорары Демьяна Бедного его не касаются, что, вероятно, это враки и т. п. Но честно, без всякой педагогики, оценивая это соотношение гонораров Есенина и Бедного, трудно не возмутиться. Демьяна, как в хозяйстве дойную корову, держат в тепле и холе, а Е. – хоть под забором живи. И, конечно, был прав С. А., когда вопил: «Отдай, отдай мои деньги».

Благодаря такому положению он озлобился и стал бесцеремонным, ему стало все равно, где и как получать деньги, он чувствовал свое право на них: раз это право не признают, раз в этой области царит несправедливость – значит, нечего играть в благородство. Очень чуткий ко всякой несправедливости, порывистый как в увлечении, так и в разочаровании, он и здесь быстро пришел к крайности. Раз обижают, обманывают – значит, надо бороться и защищаться. И не случайно высказал он эту философию в «Стране негодяев»:

…Значит, по этой версии
Подлость подчас не порок?

Ну конечно, в собачьем стане
С философией жадных собак,
Защищать лишь себя не станет
Тот, кто навек дурак.

И еще:

…Старая гнусавая шарманка
Этот мир идейных дел и слов.
Для глупцов – хорошая приманка,

Подлецам – порядочный улов.

А если нечего играть в благородство, то, значит, надо печатать стихи в каких угодно журналах, хотя бы по нескольку раз, лишь бы получать за них деньги. Он сам учил меня не сдавать в редакции вырезки из газет, а перепечатывать и продавать их как непечатавшиеся – есть письмо его об этом. В другом письме есть замечательная фраза: «Хорошо жить в Советской России – разъезжаю себе, как Чичиков, и не покупаю, а продаю мертвые души».

А как мы бились с деньгами – это я, Катя и Шура, да, пожалуй, Н<адежда> Д<митриевна>[42] и наша прислуга помнят.

«Прожектор», «Красная нива» и «Огонек» платили аккуратно. Но в журналы сдавались только новые стихи, а этих денег не могло хватить. «Красная новь» платила кошмарно. Чуть ли не через день туда приходилось ездить (а часто на трамвай не было), чтобы в конце концов поймать тот момент, когда у кассира есть деньги. Вдобавок не раз выдавали по частям, по 30 руб., а долги тем временем накапливались, деньги нужны в деревне, часто С. А. просил выслать. Положение было такое, что иногда нас лично спасало мое жалованье, а получала я немного, рублей 70. Всего постоянных «иждивенцев» было четверо (мать, отец и две сестры), причем жили в разных местах, родители – в деревне, сестры – в Москве, а сам С. А. – по всему СССР.

До сих пор вспоминаю с содроганием халтурную книжку «Стихи о России и революции» (слова «и революции» издатель от себя контрабандой протащил, подсунув на подпись последнюю корректуру С. А., а не мне. С. А., конечно, не заметил, а издатель, видите ли, рассчитывал, что заглавие будет звучать более современно и книжка лучше пойдет). Сколько было колебаний перед тем, как издать ее! Сколько писем и телеграмм было послано на Кавказ С. А.! Но делать было нечего: старики в деревне без денег, у меня нескончаемый аванс, у девочек тоже ни одного рубля. Продали. И получали эти деньги тоже по 20–30 руб., которые таким образом ни на что нельзя было употребить, и с долгами расплатиться тоже не удалось. А тут С. А., писавший сначала, что он на Кавказе обеспечен и что ему присылка не требуется, телеграмму за телеграммой: «Высылайте денег».

Еще хуже положение было во время пребывания С. А. в Москве. Расходы увеличивались в десять раз, и мы изнемогали от вечного добывания денег. Вместе с тем было ясно, что это

бремя нельзя взваливать на С. А. Иногда бывало, у С. А. терпение лопалось, он шел сам в какую-либо редакцию, но кончалось это плачевно. Нанервничавшись от бесконечного ожидания денег или попав в компанию «любителей чужого счета», он непосредственно из редакции попадал в пивную или ресторан. В конце концов приезжал ночью пьяный и без денег. Вместе с тем уходить и оставлять его одного дома тоже было страшно: зайдет какой-нибудь из этих забулдыг или по телефону вытащит, и не знаешь, в какой пивной или где еще искать.

Правда, уже с лета 1924 г. (после санатория и больницы) мы за ним не ходили, объяснив, что если раньше бегали и искали его каждый вечер по всем «святым местам», то это потому, что надо было его в целости какими бы то ни было чудесами сохранить до санатория, а вообще так бегать – это значит вконец испортить его. И он все вожжи распустит в надежде, что Галя или Катя выручат.

В добывании денег была еще осложнявшая все сторона. Получение гонорара во многих редакциях – это не то что получение жалованья на службе: обязаны выдать такого-то числа, и все. Нет, гонорар у них выдается почти как милость, потому что, при хронической нехватке денег, любезность бухгалтера и редактора – выдать их сегодня, а не через неделю. Вот тут, если придешь и пустишь слезу, – скорее получишь. Но ни я, ни Катя не умели приходить с жалобным видом, да если бы кто-нибудь из нас и сумел, то воображаю, как С. А., с его гордостью, был бы взбешен. А когда приходишь с независимым видом, то ох как трудно иногда выцарапать этот гонорар. Редакторов тут, конечно, винить не приходится – на их попечении слишком много более нуждающихся. И всех удовлетворить им трудно. Никогда в жизни до этого и после я не знала цены деньгам и не ценила всей прелести получения определенного жалованья, когда, в сущности, зависишь только от календаря.

С. А. в период, когда я его знала, не был настоящим антисемитом. Вся его идеология в этом плане выразилась в первоначальном (кажется) варианте стихотворения «Снова пьют здесь, дерутся и плачут…»:

Защити меня, влага нежная,
Май мой синий, июнь голубой.
Одолели нас люди заезжие,
А своих не пускают домой.

Знаю, если не в далях чугунных
Кров чужой и сума на плечах,

Только жаль тех дурашливых юных,
Что сгубили себя сгоряча.

Жаль, что кто-то нас смог рассеять
И ничья непонятна вина.
Ты Расея моя, Расея,
Азиатская сторона.

Основное в нем было именно: «ничья непонятна вина». В минуты озлобления, отчаяния, в минуты, когда он себя чувствовал за бортом общественной жизни своей родины, когда осознавал, что не он виноват в этой отрезанности, что он хотел быть с советской властью, что он шел к ней, вплоть до попытки вступить в партию, и не его вина, если его желание не сумели использовать, не сумели вовлечь его в общественную работу, если, как иногда ему казалось и как, пожалуй, фактически и было, его отвергли и оттерли. Ведь в конце концов все крестьянство СССР идеологически чуждо коммунистическому миросозерцанию, однако мы его вовлекаем в новое строительство. Вовлекаем потому, что оно – сила, крупная величина. С. А. было очень тяжело, что его в этом плане игнорировали, игнорировали и как личность, и как общественную величину. Положение создалось таким: или приди к нам с готовым, оформившимся миросозерцанием, или ты нам не нужен, ты – вредный ядовитый цветок, который может только отравить психику нашей молодежи.

С. А. очень страдал от своей бездеятельности. Нечем стало жить. Много, очень много уходило и ушло в стихи, но он сам говорил, что нельзя ему жить только стихами, надо отдыхать от них. Отдыхать было не на чем. Оставались женщины и вино. Женщины скоро надоели. Следовательно – только вино, от которого он тоже очень хотел бы избавиться, но не было сил, вернее, нечем было заменить, нечем было заполнить промежутки между стихами.

«Не могу же я целый день писать стихи. Мне надо куда-то уйти от них, я должен забывать их, иначе я не смогу писать», – не раз говорил он в ответ на рассуждения, что нельзя такое дарование губить вином.

Ясно – не мог он работать в каком-либо учреждении завом, но, думаю, многие помнят, как он носился с идеей организовать журнал, как он цеплялся за эту мысль. Помню, после единственного свидания с Троцким, когда Л<ев> Д<авидович> ему обещал содействовать в издании журнала, С. А. восторженно

мечтал об этом журнале. Тогда не удалось это осуществить. Е. уже был болен, его надо было поставить на ноги, а потом привлечь к работе в каком-либо журнале. Ясно, что сам он, конечно, не смог бы организовать. Не знаю, в чем вина – в обычной есенинской неудачливости (у него всегда так складывалось, что при всяких обстоятельствах, при самой большой, иногда неправдоподобной удаче, для себя лично он получал лишь плохие и вредные результаты этой удачи). Ну так вот, в этом ли невезении вина, или вина в том, что никто из имевших возможность поддержать его по-настоящему до конца и не заинтересовался. И эта зацепка, эта возможность заполнить жизнь оказалась миражом. Надо сказать, что в период 1923–1925 гг. С. А. уже не умел цепляться за возможности, не умел пробиваться. Или ему надо открыть двери, или он не пойдет сам. Вот откуда бралось его озлобление, вот откуда «своих не пускают домой». Не раз он говорил: «Поймите, в моем доме не я хозяин, в мой дом я должен стучаться, и мне не открывают».

Я не знаю, чувствовал ли он последние годы по-настоящему жизнь «своего дома». Но он знал твердо, что он-то может чувствовать и понять ее именно так, как «настоящий, а не сводный сын» чувствует и понимает свою семью. И сознание, что для этого он должен стучаться в окошко, чтобы впустили, приводило его в бешенство и отчаяние, вызывало в нем боль и злобу. В такие минуты он всегда начинал твердить одно: «Это им не простится, за это им отомстят. Пусть я буду жертвой, я должен быть жертвой за всех, за всех, кого не пускают. Не пускают, не хотят, ну так посмотрим. За меня все обозлятся. Это вам не фунт изюма. К-а-к еще обозлятся. А мы все злые, вы не знаете, как мы злы, если нас обижают. Не тронь, а то плохо будет. Буду кричать, буду, везде буду. Посадят – пусть сажают – еще хуже будет. Мы всегда ждем и терпим долго. Но не трожь. Не надо».

Тогда он не знал еще, на что пойдет – на борьбу или на тот конец, который случился. И притом больно ведь бить стекла в собственном доме. Больно даже тогда, когда в доме чужие хозяйничают, – дом-то и стекла ведь свое добро. Ему было очень больно. Но его не звали в дом, и этой обиды он не мог забыть. От этой боли он не мог уйти, не мог снести ее. Конечно, большую роль сыграла здесь болезнь. Благодаря обостренному восприятию он осознал и благодаря этому же не мог спокойно разобраться, «где нас горько обидели по чужой и по нашей вине». Вот эти границы чужой и собственной вины смешались. Ему надо было помочь разобраться, и был бы выход из тупика, и было бы чем жить.

Взять хотя бы те краткие периоды, когда он попадал в руки

Вардина, Ионова, Чагина. Не важны их какие-либо сверхчеловеческие достоинства, важно твердое осознание, при котором можно было говорить с С. А. Хотя бы Вардин – он при всей узости его взглядов дал С. А. очень много. Благодаря ему С. А. попробовал посмотреть на мир другими глазами, отбросив свою личную обиду. Такое же влияние было со стороны Ионова – его горение заставило С. А. над чем-то в нашей общественной жизни задуматься (он его натолкнул на «Поэму о 36»). Чагина я не видела, но чувствуется, что он тоже как-то вовлекал С. А. в общественную струю.

Зато, к большому сожалению, влияние Воронского было часто отрицательным. Задерганный Лелевичем, Родовым и прочими напостовцами, и по ряду других причин, он сам довольно пессимистически смотрел на окружающее. Бодрые фразы и унылые мысли. Но что Воронскому – здорово, то Есенину – смерть. Нельзя было давать С. А. прикасаться к этой унылости. Воронский этого не понимал. Не понимал, что Есенина борьба мужиков с господами могла воодушевлять. А всякую борьбу после революции он принимал как обиду – ведь после революции, по его представлению, все должно идти гладко. Поэтому товарищеские и полуоткровенные беседы Воронского действовали на С. А. угнетающим образом. После них он опять начинал вопить об обидах, о напостовцах, захвативших русскую литературу и хозяйничающих в ней.

Надо сказать, что «политическую ориентацию» (как выразился он один раз, ругая Катю: «Никакой у тебя политической ориентации нет», – это в связи с историей с «Октябрем») ему мог дать только мужчина. Было у него в психике чисто мужицкое – самая умная женщина час должна потратить, чтобы убедить его в чем-либо, мужчине же достаточно сказать несколько фраз, и С. А. скорее согласится. Бывали случаи, что Анна Абрамовна Берзинь при всем ее красноречии не могла объяснить того, что Вардин сухим, чуждым Е. языком растолковывал в пять минут.

Еще об антисемитизме Е. Трудно сейчас наспех передать это сложное и противоречивое отношение Е. к евреям.

1) Была древняя российская закваска по отношению к «жидам». Это еще из деревни принес он, и в дореволюционный период такое отношение, вероятно, поддерживалось в среде Ломана и пр<очих> ему подобных.

2) В революционных кругах, в эсеровской среде создалось новое понятие и прежнее исчезло или, вернее, забылось, да и стыдно было «культурному» Есенину помнить об этом.

3) Появилась обида на советскую власть за себя, за то, что

отмели его, за то, что он в стороне от новой жизни, что не он строит ее. Обиделся и за то, что даже в своей области, в поэзии, не он хозяин. Кого винить? Советскую власть, которую ждал, которую приветствовал, – невозможно. Но виновник нужен. Искать долго не пришлось – кстати, попал в окружение Клычковых, Ганиных, Орешиных и Наседкиных (много их у нас на Руси). У них все ясно – жиды, кругом жиды виноваты. Во всем виноваты – не печатают стихов, гонорар не сыпется, как золотые монеты из сказочного ослика, слава и признание не идут навстречу – во всем жиды виноваты.

Почва, вероятно, была готова. Но рассудок еще боролся. Клычковы и пр<очие> для Е. не авторитет. Решительную роль сыграл Распутин, не Григорий Распутин, а Николай Алексеевич Клюев. С Клюевым я встречалась в течение двух-трех месяцев, самое большее. Хитер, одна сплошная хитрость. Но вместе с тем настолько сплошная, что даже и за этот срок (правда, с помощью Кати) мы его раскусили.

С. А. когда-то он любил (быть может, даже влюбленно любил), но, по рассказам самого С. А., тогда же испугался его, старался растлить как поэта, подмять под себя. С. А. неопределенно, но часто говорил о той борьбе, которую пришлось вести с Клюевым за освобождение от его ига (в плане поэзии). В 1923 г. Клюев – неудачник. Слава сорвалась с его удочки и попала к Есенину. Е. для него был баловень счастья, мальчик, перешагнувший через учителя. Сам Клюев за большой славой уж не гнался, но простить С. А. его удачи не мог. И решил подвести мину под него. Клюев старше, хитрее и лучше умеет учитывать последствия. И он учел. После заграницы советская власть приветливо поздоровалась с Е. Даже для нее Е. перестал быть «молодым, талантливым поэтом». Его встретили как взрослого. Еще немного, и он (с точки зрения Клюева) стал бы своим, признанным советским поэтом. И Клюев с его иезуитской тонкостью преподнес Е. пилюлю с «жидами» (ссылаясь на то, что его, мол, Клюева, они тоже загубили). От Клычковых С. А. не принял, а от Клюева взял и проглотил, и опомнился только после санатория, когда, оставшись один, мог разобраться во всей этой истории. Клюев хорошо учел момент и результаты своего плана и, кроме того, то мутное состояние С. А., когда лишь сумей поднести, а остальное как по маслу пойдет. Старое, из деревни царской России, воспоминание о «жидах», личная обида и неумение разобраться в том, «чья вина» («и ничья непонятна вина»), торгашеская Америка с ее коммерсантами («евреи и там»). Добавил Клюев еще историю о себе: «Жиды не дают печататься, посадили в тюрьму». (Клюев только что был выпущен из-под

ареста и всем говорил, что сидел за свои политические убеждения. Лишь через год, кажется, его сестра рассказала С. А., что Клюев был комиссаром по отбиранию церковных ценностей, что-то оказалось нечисто… и его посадили.)

Я несколько раз входила в комнату во время таинственных нашептываний Клюева, но, конечно, при мне Клюев сейчас же смолкал. При этом Клюев умел только нашептывать другим, сам же ходил «смиренной отроковицей» (даже не отроком) и вообще был порядочным трусом. Так, однажды с пьяной компанией попал в драку в Союзе поэтов (на Тверской ул.). Его кто-то задел тоже. Ну, видно, и улепетывал он – я открыла ему дверь, так он пять минут отдышаться не мог и стал такие ужасы рассказывать, что все в его повествовании превратилось в грандиозное побоище, я думала, что никто из бывших там в живых не останется, а через десять минут пришли все остальные как ни в чем не бывало.

Ну так вот, эта отроковица и вызвала тот взрыв, последствием которого был еврейский скандал в пивной, бойкот и суд. Вся эта травля у Е. грозила перейти в помешательство. Вспыхнувшее общее негодование он воспринял как организованный поход евреев против него, каждый любопытный взгляд, который он раньше не заметил бы, ему казался враждебным и подозрительным. Мания преследования ясно начала проглядывать из этого кошмарного пьяного бреда. Это бредовое озлобление грозило укрепиться. Помню, как Приблудный читал отрывок из «Гайдамаков» Шевченко. С. А. сидел рядом со мной и говорил: «Слушайте, слушайте. Вот это самое. И я, если на то пойдет, сам отдам своих детей. Они тоже от еврейки. Плакать буду, но отдам, не пожалею». Наутро, протрезвившись и слушая рассказы о вчерашнем, он сам недоумевал, откуда же это бралось в нем. В трезвом состоянии второе понятие о евреях, вытеснившее первое – о жидах, главенствовало: «Ведь ничего во мне нет против них. А когда я пьяный, мне кажется бог знает что». И у пьяного в тот период всегда всплывали эти разговоры. Надо было много ловкости и знания С. А., чтобы перевести или предупредить такой разговор. Надо было затронуть какие-либо другие больные струны и увести подальше от общественных вопросов и литературы.

Одной из тем была З<инаида> Н<иколаевна>[43].

Ну а после санатория бред прошел, и все это забылось. Рядом с Клюевым вспоминается другой, Алексей Ганин. Каким он был в питерский период, не знаю. С. А. говорил, что он был фельдшером и благодаря встрече с ним, т. е. с Е., соблазнился на

стихописание.

Я его знаю опустившимся, обнаглевшим попрошайкой, озлобленным на весь мир неудачником. До приезда в Москву, до 1923 г., он где-то в северных губерниях (Вологодской) торговал сыромятной кожей. Приехал сюда и обозлился, что таких, как он, поэтов, р-р-р-усских «поэтов», не принимают. С его торгашеской психологией он, конечно, ненавидел советскую власть. Приехал и быстро совсем скрутился – пьянствовал (всегда за чужой счет), стал нюхать кокаин и совсем обозлился. Очевидно, больным он был и раньше. Но здесь у него все в психике перемешалось. Черносотенные разглагольствования, мечты о перевороте и списки будущих министров. В один из этих списков он включил и Е. – министром народного просвещения. Но Е., который, как бы ни ругался на советскую власть, все же не мог ее переменить ни на какую, рассердился, послал Ганина к черту и потребовал, чтобы тот сейчас же вычеркнул его фамилию. Ганин вычеркнул и назначил министром народного просвещения Приблудного. Вообще Ганин с его помешательством был почти так же страшен нам (из-за С. А.), как и Клюев. На С. А. он действовал не разглагольствованиями, а своим присутствием. При нем Е. делался очень раздраженным и болезненно подозрительным, каждую минуту назревал скандал. При этом Ганин нагло требовал вина и вина, и при этом требовал, чтобы С. А. тоже пил с ним. Поэтому при Ганине было почти невозможно удержать С. А. от пьянства. Позднее Ганина расстреляли, заподозрив в организации какого-то тайного общества, найдя у него типографский шрифт. Почти наверное можно сказать, что как организатор тайного общества Ганин был абсолютным нулем. Все его списки и разговоры о перевороте так разговорами и оставались. Шрифт он добыл, так как собственноручно печатал книгу своих стихов (он мне сам ее показывал). Но, не зная его ближе, можно было поверить его бреду и решить, что он активный контрреволюционер. Впрочем, надо сказать, что, когда я и Катя узнали о его расстреле, у нас одно слово вырвалось: «Слава богу!» – до того мы боялись, что этот погибший человек утянет за собой и С. А., которого тогда еще можно было спасти и за которого мы с таким отчаянием и остервенением боролись со всей этой «нищенствующей братией», со всеми подонками, которые, как мухи на мед, липли к нему. Эта нищенствующая братия, она, как раки в тело утопленника, вцепилась в Е. Их было много. С. А. не умел отбиваться от них, Катя еще почти ребенок, и у меня было чувство, что меня одну противопоставили им. Надо было огромное сознание своей правоты, чтобы хватало сил бороться с ними. Помню, как, заходя за С. А. в «Стойло Пегаса»,

чтобы пораньше увести его домой, я проходила сквозь строй враждебных, ненавидящих глаз. Чего только они не делали, чтобы устранить меня. К их величайшей ярости, они никак не могли раскусить наших (моего и С. А.) отношений. Жена. Не жена. Любовница – тоже нет. Друг. Не видали они таких среди себя и не верили в мою дружбу. И потому не знали, с какой стороны задеть С. А. И не понимали, чем же я так приворожила его, что никакими способами не удается поссорить нас.

Первое средство было: «Бабе подчинился». Помню, один раз почти трезвый и сравнительно рано уходил он со мной из этой ямы («Стойла»). Кто-то напрямик сказал ему: «Останься, что ты, ей, что ли, подчиняешься?» У меня все же екнуло сердце, а С. А. обернулся и спокойно, с улыбкой ответил: «Да, ей я подчиняюсь и никак не хочу обижать ее». И пошел со мной домой. Придумали другое: раз я не жена, то надо С. А. внушить подозрение к моей преданности; я оказалась агентом ГПУ, прикомандированным к С. А. Надо сказать, что на одну ночь, пока он <не> протрезвился, это произвело впечатление. Никогда не забуду этого вечера. Привезла я его домой. Обычно укладывала его я, так как он, пьяный, при мне был спокойнее и сдерживал себя. В моем присутствии в течение двух лет произошел только один скандал. Успокаивало его мое спокойствие и моя ровность по отношению к нему; я вскоре изучила до тонкости все его настроения. В отношении его настроения и состояния я была совершенно необычайно для меня чутка. Из постоянной тревоги за него выросла какая-то материнская чуткость и внимательность к нему. Пьяный он ко всем придирался. Иногда пробовал и ко мне, но то, что я никак не реагировала на придирки, его успокаивало, и впоследствии он меня никогда не трогал. Помню, как он говорил, что при мне стесняется ругаться, «но я себя приучу не стесняться вас». Его искренне возмущало подчинение даже в такой форме. Ну так вот, и в этот вечер я зачем-то вышла из комнаты, чтобы уложить его спать. Он лежал одетый на кровати и о чем-то возбужденно шепотом говорил с Катей. «Подождите минуту, Галя», – сказал, когда я вошла. Ждала я очень долго: час или полтора. Потом вышла Катя и позвала меня спать. Мы с ней спали в той же комнате, вдвоем на кушетке. Легли, и вдруг я чувствую, что Катя вся дрожит, и дрожит не от холода, а от какого-то нервного напряжения, ужаса и отвращения. Моментально соображаю, что разговор был обо мне и С. А. чего-нибудь «набредал». Ясно, что она боится меня; в чем и чего боится – еще не понимаю. «О чем тебе Сергей говорил?» Катя что-то неопределенное ответила. Я поняла – если он вселит недоверие ко мне в Катю, тогда надо складывать оружие. Вместо поддержки

она будет мешать. Объяснила это ей и долго уговаривала, чтобы она все рассказала мне. Наконец убедила. Что же ей сказал С. А.? Чтобы она была очень осторожна со мной, так как я вовсе не из бескорыстной любви и преданности вожусь с ним – я агент ГПУ и в любой момент могу спровоцировать его и посадить в тюрьму. Но тут же С. А. стал ей говорить, что если с нами – большевиками – будут расправляться, то она <Катя> все же должна спасти меня, так как, несмотря на это, я для него много сделала. «Или правда, что ты из ГПУ, тогда Сергея надо спасать от тебя, и вообще – куда же тогда Сергей попал? Или, если это не так, – то Сергей сумасшедший, и от этого не легче». Вот как объяснила она мне свое состояние. Вот почему ее трясло при одном прикосновении ко мне, как к какому-то чудовищу, которое затянуло своей сетью и ее, и ее брата. К счастью, удалось ей объяснить происхождение этой нелепицы, и она успокоилась.

Теперь еще поход. Штаб был у Дункан. Конечно, Дункан винить абсолютно не в чем. Она любила Е. до безумия. Жизнь без него казалась <ей> немыслимой, и она всеми силами старалась его вернуть. Но во что это выливалось благодаря бесконечным прихлебателям и всей нищенствующей братии, которые не только Е., но и самих себя за стакан вина продавали!

Дело было так.

После заграницы Дункан вскоре уехала на юг (на Кавказ и в Крым); не знаю, обещал ли С. А. приехать к ней туда. Факт то, что почти ежедневно он получал от нее и Шнейдера телеграммы. Она все время ждала и звала его к себе. Телеграммы эти его дергали и нервировали до последней степени, напоминая о неизбежности предстоящих осложнений, объяснений, быть может трагедии. Все придумывал, как бы это кончить сразу. В одно утро проснулся, сел на кровати и написал телеграмму:

«Я говорил еще в Париже что в России я уйду ты меня очень озлобила люблю тебя но жить с тобой не буду сейчас я женат и счастлив тебе желаю того же *Есенин*».

Дал прочесть мне. Я заметила – если кончать, то лучше не упоминать о любви и т. п. Переделал:

«Я люблю другую женат и счастлив *Есенин*».

И послал.

Так как телеграммы, адресовавшиеся на Богословский переулок (С. А. жил уже на Брюсовском), не прекращались, то я решила послать телеграмму от своего имени, рассчитывая задеть чисто женские струны и этим прекратить поток телеграмм из Крыма:

«Писем телеграмм Есенину не шлите он со мной к вам не вернется никогда надо считаться *Бениславская*».

Хохотали мы с С. А. над этой телеграммой целое утро – еще бы, такой вызывающий тон не в моем духе, и если бы Дункан хоть немного знала меня, то, конечно, поняла бы, что это отпугивание, и только. Но, к счастью, она меня никогда не видела и ничего о моем существовании не знала. Поэтому телеграмма, по рассказам, вызвала целую бурю и уничтожающий ответ:

«Получила телеграмму должно быть твоей прислуги Бениславской пишет чтобы писем и телеграмм на Богословский больше не посылать разве переменил адрес прошу объяснить телеграммой очень люблю *Изадора».*

С. А. сначала смеялся и был доволен, что моя телеграмма произвела такой эффект и вывела окончательно из себя Дункан настолько, что она ругаться стала. Он верно рассчитал, эта последняя телеграмма от нее. Но потом вдруг испугался, что она по приезде в Москву ворвется к нам на Никитскую, устроит скандал и оскорбит меня. «Вы ее не знаете, она на все пойдет», – повторял он. И, несмотря на уверения, что в данном случае добрая половина зависит от моего такта и, кроме того, в квартире на Никитской, если она хотя бы проявит намерение меня тронуть, то ей достанется от всей нашей квартиры и т. п., он все же долго боялся этого.

Близился срок возвращения Дункан. С. А. был в панике, хотел куда-нибудь скрыться, исчезнуть. Как раз в это время получил слезное письмо от Клюева – он, мол, учитель, погибает в Питере. С. А. тотчас укатил туда. Уезжая, просил меня перевезти все его вещи с Богословского ко мне, чтобы Дункан не вздумала перевезти их к себе, вынудить таким образом встретиться с ней. Я сначала не спешила с этим. Но как-то вечером зашла Катя. По обыкновению начав с пустяков, она в середине разговора ввернула, что завтра приезжает в Москву Дункан. Мы решили сейчас же забрать вещи с Богословского, и через час они были здесь. В четверг приехал С. А. с Клюевым и Приблудным из Петрограда. В дальнейшей истории с Дункан немалую роль сыграл тот же Клюев. Поэтому сначала о нем.

О Клюеве от Е. я слышала только самые восторженные отзывы. Ждала, правду сказать, его приезда с нетерпением.

Вошел «смиренный Миколай», тихий, ласковый, в нашу комнату и в жизнь Е. С первой минуты стал закладывать фундамент хороших отношений. Когда я вышла, сообщил С. А. свое впечатление: «Вишневая», «Нежная: войдет – не стукнет, выйдет – не брякнет». Тогда я это за чистую монету принимала. На «Сереженьку» молился и вздыхал, только в отношении к Приблудному вся кротость клюевская мигом исчезала. К Приблудному проникся ревнивой ненавистью. И Приблудный,

обычно доверчивый, Клюеву ни одного уклона не спускал, злобно высмеивал и подзуживал его, играя на больных струнах. Спокойно они не могли разговаривать, сейчас же вспыхивала перепалка, до того сильна была какая-то органическая антипатия. А С. А. слушал, стравлял их и покатывался со смеху. Позже я узнала, что одной из причин послужило то, что в первую же ночь в Петрограде Клюев полез к Приблудному, а последний, совершенно не ожидавший ничего подобного, озверев от отвращения и страха, поднял Клюева на воздух и хлопнул что есть мочи об пол; сам сбежал и прошатался всю ночь по улицам Петрограда.

Сначала я и Аня Назарова были очарованы Клюевым. Почва была подготовлена С. А., а Клюев завоевал нас своим необычным говором, меткими, чисто народными выражениями, своеобразной мудростью и чтением стихов, хотя и чуждых внутренне, но очень сильных. Впрочем, он всю жизнь убил на совершенствование себя в области обморачивания людей. И нас, тогда еще доверчивых и принимавших все за чистую монету, нетрудно было обворожить. Мы сидели и слушали его, почти буквально развесив уши. А стихи читал он хорошо. Вместо обычного слащавого, тоненького, почти бабьего разговорного тембра, стихи он читал каким-то пророческим «трубным», как я называла, «гласом». Читал с пафосом, но это гармонировало с голосом и содержанием. Его чтение я, вероятно, и сейчас слушала бы так же, как и тогда.

Пришла Катя, поздоровалась и вышла в кухню. Я и Аня пошли к ней. «Что это за старик противный, отвратительный такой?» – спросила нас. (Внешность Клюева – лабазник лоснящийся, прилизанный, носил вылинявшую ситцевую синюю рубаху с заплатой во всю спину – прибеднивался для сохранения стиля.) Мы на Катю зашикали, сказали, что она маленькая, еще ничего не понимает, объяснили, что это сам Клюев. Она полюбопытствовала поглядеть его еще, но свое мнение о нем не изменила.

Уже через несколько дней мы убедились, что непосредственное чутье ее не обмануло. Действительно, отвратительным оказался он. Ханжество, жадность, зависть, подлость, обжорство, животное себялюбие и обуславливаемые всем этим лицемерие и хитрость – вот нравственный облик, вот сущность этого когда-то крупного поэта. Изумительно сказал про него С. А.: «Ты душу выпеснил избе (т. е. земным благам), но в сердце дома не построил».

В чем дело, почему в Клюеве умерло все остальное человеческое (не может быть, чтобы никогда и не было), осталась только эта мерзость и ничего человеческого? Быть может, прав С.

А.: «Клюев расчищал нам всем дорогу. Вы, Галя, не знаете, чего это стоит. Клюев пришел первым, и борьба всей тяжестью на его плечи легла». Быть может, потому, несмотря на брезгливое и жалостное отношение, несмотря на отчужденность и даже презрение, С. А. не мог никак обидеть Клюева, не мог сам окончательно избавиться от присосавшегося к нему «смиренного Миколая», хотя и хотел этого. Быть может, из благодарности, что не пришлось ему, Есенину, бороться с этим отвратительным оружием, ханжеством и притворством, в руках; что благодаря Клюеву не испоганилась в конце и его душа, а что эта борьба коверкала душу – это и С. А. сам на себе почувствовал, об этом не раз он с болью вспоминал в последние годы, когда стал подводить итоги, когда понял, что нет ничего дороже, как прожить жизнь «настоящим», «хорошим», когда видел в себе, что все это гнусное для него время все же захлестнуло подлостью душу, и с детской радостью и гордостью говорил: «Я ведь все-таки хороший. Немножечко – хороший и честный». И не случайно в конце сказаны им слова:

Жить нужно легче, жить нужно проще…

Только тогда пришел <он> к сознанию, что все-таки слишком много крутил, слишком много сил отдано на борьбу за «суету сует».

И на самом деле С. А. по существу был хорошим, но его романтизм, его вера в то, что он считал добром, разбивались о бесконечные подлости окружавших и присосавшихся к его славе проходимцев, пройдох и паразитов. Они заслоняли Е. все остальное, и только как сквозь туман, сквозь них виделся ему остальной мир. Иногда благодаря этому туману казалось, что тот остальной мир и не существует. И он с детской обидой считал себя со своими хорошими порывами дураком. И решал не уступать этому окружению <в> хитрости и подлости. И почти до конца в нем шла борьба этих двух начал – ангела и демона. А «повенчать розу белую с черною жабой» он не сумел, для этого надо очень много мудрости – ее не хватило. Помню, как за полгода до смерти С. А., увидав, что Катя сознательно ушла в хитрость, что она наивно считает это главным в жизни, объяснял ей, что надо быть хорошей, что хитрость не цель, а средство, но есть другое – важнее хитрости. «Если есть у тебя что-то за душой – ты можешь, имеешь право хитрить и бороться. А так, ради существования, борется и хитрит только мразь».

Теперь о разрыве с Дункан. Она вернулась в Москву. Начались бесконечные сплетни, которые услужливые

прихлебатели С. А. и Дункан передавали им обоим. С. А. это дергало и озлобляло. Тогда «приятели» стали уговаривать его поехать к ней «объясниться и расстаться „по-хорошему“». Несколько дней тянулись эти уговоры. Всегда разговоры начинались в моем отсутствии. С. А. дома рассказывал обо всем этом мне, но я тогда не учла расшатанность его нервов, не придавала этому значения и старалась только перевести разговор с этой больной для него темы. Центром тяжести были слухи, что С. А. разбогател на ее деньгах. Каким он богатым был после заграницы, это знаем я, Аня и Катя. Были одни долги, дико возраставшие благодаря тому, что он сам пил и поил неисчислимое множество поденных и постоянных прихлебателей. Утром сплошь и рядом не на что было не только завтракать, но и хлеба купить. Спасала булочная в нашем доме, где нас давно знали и теперь стали давать в долг. Правда, С. А., из ложного ли самолюбия или, быть может, из правильного расчета <и> знания всей этой братии, пускал пыль в глаза, и о безденежье почти никто не догадывался. С. А. добросовестно менял каждый день костюмы – единственное богатство, привезенное из Парижа. Вот эти-то костюмы и вызвали молву о нажитых миллионах. Кроме того, фигурировали в сплетнях о Дункан и С. А. всякие небылицы о том, что он про нее или она про него в том или ином месте говорили. Кончилось это все плачевно. Однажды днем приходит И. Аксельрод (о нем после), тоже один из этих бессовестных, гнусных «любителей сильных ощущений» (а выходки С. А. всегда вызывали эти «сильные ощущения») и даровой выпивки, не помню сейчас, один или с кем-нибудь, очень уж примелькалась тогда вся эта братия. С. А. в тот день чувствовал себя разбитым и вставать не собирался. Был здесь и Клюев, жаждавший познакомиться со знаменитой Дункан и, как позже нам стало ясно, ничего не имевший против того, чтобы устроиться и… заменить для Дункан Е. (он никак не мог понять, чем же он хуже С. А.: тоже русский, тоже поэт, тоже крестьянский – за чем же дело стало?). Что они говорили, я не знаю; когда я вошла в комнату, С. А. уже одевался с той тщательностью, как это бывало в решительных случаях его жизни. Спрашиваю Аксельрода: «Куда?» Сдержанный, торжествующий ответ: «К Дункан». С. А. взбудораженный и раздраженный. Попробовала отговорить, но С. А. уже сорвался с причал, был чем-то взбешен, ясно, что словами тут не поможешь; по-настоящему надо было выставить Аксельрода и Клюева, но было поздно. С. А. обещал скоро вернуться, и Аксельрод дал честное слово, что через два часа они привезут С. А. сюда, на Брюсовский.

В два часа ночи вернулся один Клюев, без Е. Я уже спала.

Накинув платье, открыла ему; вошел, как мне показалось, с приготовленными словами: «Все не спите, тревожитесь. Вот ведь жизнь-то какая. Му́ки-то сколько. А Сереженька-то… Что с ним поделаешь, пропащий он совсем. Разве ж это человек? Да он и не стоит такой любви. Да его и любить-то нельзя. И не мужчина он, как же можно его любить. И любовь-то вашу не видит и не ценит. Я его звал домой, да разве он теперь меня, старика, послушает? Так и пошел домой один, вас хоть успокоить. Да зайдем-ка в комнату, – я стояла в передней, – поговорить». И завел разговор издалека: «И красавица-то такая из-за Сереженьки пропадает, и душу с ним потеряешь, а счастья разве дождешься с таким? Другой бы молился на тебя, а Сереженька что понимает? Вот, малиновая, чей это у тебя портрет на стенке висит? (В задушевных разговорах он иногда для красоты слога говорил «ты».) Очень уж лицо хорошее у него. Это вот человек. С этим счастливой можно быть. Такой и любить, как еще любить сумеет, на руках носить будет». Одним словом, плюнь на С. А., брось его, с Покровским куда выгоднее будет. Слушала я все это с интересом, чувствуя, что тут можно раскусить, куда гнет смиренный старик. Наутро С. А. нет. Поздно вечером иду в «Стойло» за деньгами (было условлено, что деньги Е. будут выдавать только мне, а не ему, так как он их тут же пропивал, а на следующий день – опять ни копейки). В «Стойле» был швейцар Александр, полуграмотный, робкий и забитый жизнью, со всеми безразлично почтительный и безропотный, но надо было видеть, как он любил С. А., с какой он тревогой выглядывал из-за двери и следил глазами за ним в те вечера, когда С. А. сильно пил. Как он старался, чтобы поменьше вина подали и чтобы С. А. поскорей домой уехал. Иногда, бывало, не выдержит и подойдет: «Сергей Александрович, вам уж довольно, поверьте мне, я знаю, что больше не надо» (Александр раньше много пил). Надо было видеть, с какой радостью он одевал С. А. и с какими радостными глазами он провожал нас, когда удавалось наконец вытащить С. А. из этого ада, швейцаром которого был Александр. И сейчас, когда ничего уж для С. А. не нужно, и сейчас, вспоминая Александра, так бескорыстно любившего С. А. и так выделявшегося на фоне этих могильщиков-«друзей», невольно хочется хотя бы мысленно сказать ему хорошее большое спасибо. Ко мне сначала он относился безразлично, – вернее, как и всех приятелей С. А., не особенно жаловал. Через несколько дней понял, зачем я хожу в «Стойло», и с этих пор меня встречал так же радостно, как самого Е. При моем появлении, не дожидаясь вопроса, тотчас же сообщал все подробности: «Идите, идите, С. А. в ложе (угловой диванчик членов правления «Стойла») – сегодня

в порядке». Или сокрушенно: «Сергей Александрович волнуются, сегодня уже с приятелями пять бутылок распили».

В этот вечер (когда С. А. пропал у Дункан) Александр как-то растерянно со мной поздоровался. Не понимая, в чем дело, и решив, что С. А. уже ушел, спрашиваю: «Сергей Александрович был?» Александр еще более растерянно: «Да, да, они здесь. Там… б-о-о-льшая компания». Ну, думаю, значит, совсем пьян. И, уже входя в зал, в зеркале на противоположной стене вижу голову С. А., доху и шапку Дункан и еще двоих за этим столом – вот вся большая компания. Как ни в чем не бывало, поздоровавшись кивком головы с С. А., подхожу к кассе – просят подождать, денег сейчас нет. Сажусь на диванчик у кассы почти напротив их столика. Дункан обернулась, внимательно посмотрела. С. А. тоже пристальным долгим взглядом посмотрел, как бы что-то объясняя. Ничего не понимаю. Решила все предоставить естественному ходу вещей. Минут через 15 в кассе появляются деньги. Получаю и собираюсь уходить. С. А. направляется ко мне, здоровается и сдержанным, глухим голосом, как бы стараясь убедить и заставить понять что-то, – то, что сейчас некогда и невозможно объяснять, – говорит полушепотом: «Галя, ничего, понимаете, ничего не изменилось. Так надо. Я скоро приду. И деньги берите здесь, как всегда. И вообще, все по-прежнему». Говорит это, видимо внутри очень волнуясь, напряженно. «Хорошо, только если что-либо изменится – предупредите меня. До предупреждения все будет по-старому». – «Да нет, нет же. Ведь ничего не изменилось. Как вы не понимаете», – опять повторяет С. А. Я поспешила попрощаться и ушла. Смешной С. А. – он тогда не понимал и боялся, что я обозлюсь на его исчезновение, а впоследствии все время восхищался моим тактом. Для меня же это было просто и ясно. Тогда уже я отчетливо знала, что он болен и что для себя я от него ничего не вправе требовать. Решила сделать все, чтобы лечить его. Ни о какой верности, ни о каких обязательствах мне и в голову не приходило. Знала, что если я не помогу, то больше некому подумать о нем. А он уже стоит на краю пропасти.

И на следующий день С. А. тоже не вернулся. Вечером в «Стойле» не был. Я решила спокойно ждать вестей от самого С. А., не обращая внимания ни на какие сплетни, зная, что при уже установившихся между нами правдивых отношениях мне он скажет правду, скажет, в чем дело и чего он хочет дальше. Наконец, на второй день после того, как я встретила его с Дункан, часов в 5–6 захожу в «Стойло». Александр на этот раз радостно сообщает: «Сергей Александрович здесь, сидят в ложе». Но надо было видеть С. А. в этот вечер. Трудно представить себе то

кошмарное состояние, в каком я его нашла. Весь дрожит, все время оглядывается, скрежещет зубами. Когда я подошла – сжал до боли мою руку и все время не выпускал, как будто боялся, что я уйду и оставлю его. Все время повторял: «Надо поговорить, не уходите только». Тут же Клюев, Ганин, Аксельрод и Приблудный. Пьют сами и усиленно спаивают С. А. Шепнула С. А., чтобы не пил сейчас. «Да, да, не буду. Надо поговорить. Меня будут тянуть к Изадоре – а вы не пускайте. Ни за что не пускайте, иначе я погиб». И почти тут же Аксельрод начинает: «Сережа, пора ехать». – «Хорошо, хорошо, сейчас, давай еще немного выпьем, закажи еще вина». И дальше – уговоры, а С. А. все оттягивает. Наконец я заявляю, что С. А. никуда не поедет. Он совершенно болен, и ему надо ехать домой. Ох и обозлилась же эта братия. Начинается почти ругань: «Он дал честное слово, он должен ехать. Дункан сказала, что, если сегодня С. А. не приедет, она не сможет завтра выступать (на следующий день был вечер ее школы) – нельзя же портить ей вечер». Меня взорвало: «Да что ж, по-вашему, С. А. должен себя в жертву приносить, что ли? Ну, не будет выступать, тем хуже для нее. Какое ему до этого дело? Результат пребывания на Пречистенке налицо. В три дня живого места на нем не осталось». Аксельрод, со злобой: «Ну да, мы, конечно, понимаем, что вам очень тяжело его отпускать». (Игра на женском самолюбии.) Я, несмотря на весь ужас и все отчаяние за С. А., даже рассмеялась: «Да это меня совершенно не трогает, если бы он вернулся спокойным, я и сейчас не удерживала бы, а потому бросьте такие приемы». Опять Аксельрод, он вообще больше других усердствовал: «Вы как женщина не понимаете вопросов чести. Для С. А. это позор – не сдержать своего слова». Опять начинаю объяснять, что смешно говорить о чести, когда человек болен, когда он невменяем. Чтобы прекратить пререкания, встаю и вызываю С. А. в коридор, поговорить. Компания почти вцепилась в его рукава: «Едем, и никаких!» Отпустили, когда <он> обещал через минуту вернуться. Что с ним творилось, трудно сказать, но состояние его было такое, точно он ждет конца с минуты на минуту. Ему казалось, что все погибло. Торопливо, дрожащими руками, вынимает из кармана какую-то рукопись (боюсь спутать, кажется, из «Москвы кабацкой»): «Вот, спрячьте. Я записал. Только не смотрите, это не мой, это сумасшедший почерк. Я сумасшедшим записывал. Боялся, не запишу – и пропало». Посмотрел еще раз на рукопись: «Видите, ведь это же не мой почерк, совсем сумасшедший». Я взглянула на рукопись и испугалась сама: почерк-то его, но видно, что писал совсем невменяемым. Сама не понимаю, но было что-то жуткое в этих по-есенински расставленных буквах, в

каждой из которых было такое нечеловеческое напряжение и дикое мучение мечущегося человека, что даже мне, далекой от таких мистических восприятий, почудилось, что смерть стояла рядом с его плечом, когда он записывал. Спрятав поскорее рукопись, спросила, в чем дело, что с ним случилось. Трудно было понять что-либо из его панически бессвязного рассказа. Сразу же, как приехали к Дункан, его деликатно оставили наедине с ней. Сцены, уговоры и т. д. Все время вино. И в конце концов Клюев заставил его курить гашиш. «Этот подлец, я один только знаю, какой подлец, – Клюев дал мне гашиш. Вы думаете, Клюев не может отравить? Галя, вы еще очень мало знаете, вы не знаете всего. О, он все может. Он никого не любит, и ничто ему не дорого. Ему плохо, не удалось – и он никого не пожалеет. Только спасите, не пускайте меня туда». Сам все время дрожит и бледный как мел. Вдруг что-то вынимает из кармана, со страхом и опаской. Как будто сломанная папироска – мундштук от гильзы. Нагибается и на ухо, с отчаянием – все, мол, кончено – говорит: «Это Аксельрод дал, знаете – кокаин, я уж понюхал один раз, только ничего не почувствовал, не действует». Я от ужаса крикнула: «Сейчас же бросьте! Это еще что такое!» И что есть силы ударила его по руке. А он растерянно, как мальчишка, понявший, что балует чем-то нехорошим и опасным, со страхом растопырил пальцы и уронил. Вид у него был такой: избавился, мол, от опасности. Пробирала я его полчаса, и С. А., дрожащий, напуганный, слушал и дал слово, что не только никогда в жизни в руки не возьмет кокаина, а еще в морду даст тому, кто ему преподнесет.

Во время нашего разговора то один, то другой из ожидавших его, чтобы ехать к Дункан, прохаживался мимо нас. С. А. каждый раз хватал меня за руку с испуганным восклицанием: «Тише, тише, молчите» – и глазами показывал, что нас слушают. Как затравленный зверь – кругом враги – не знает, в какую сторону броситься. В конце разговора он спросил: «А у вас револьвер всегда с собой?» – «Да, всегда, а что?» – «Вы знаете, вас хотят избить. Меня предупредил один из них. К вам он почему-то хорошо относится. Вы не знаете, они вас изобьют. Вот увидите, изобьют. Всегда ходи́те с револьвером». – «Зачем же им это надо?» – «Да ну, вы опять не понимаете. За это время они хотят меня совсем туда затащить» (головой кивнул в сторону воображаемой Пречистенки). «Кто вам сказал это, Сергей Александрович?» – «Ну нет, это я вам не скажу, иначе ему плохо будет». Надо сказать, что С. А. сам почти все выбалтывал и поэтому всегда боялся доверить что-либо другому, хотя в конце концов обычно всегда все сам расскажет да иногда еще нескольким лицам. Только очень

больное для себя он умел прятать годами, по-звериному годами помнить и молчать. Так он молчал о жизни у Ломана в Царском (где, очевидно, было много унижений), так молчал о том, как его бил Сахаров, и так же молчал о последнем сроке. В общем, в конце всего этого бессвязного разговора я, кажется, поняла, кто предупреждал – а мне было важно знать, кто меньший и кто больший враг в этой компании, кого ему надо больше остерегаться, – очевидно, это был или Приблудный, или Марцел Рабинович. Сначала я спросила, кто предупреждал, надеясь как-нибудь в связи с этим доказать С. А., что все это его собственная фантазия. Прямо такие вещи в подобном состоянии ему нельзя было говорить. Я же была уверена, что это чистейший бред. Через несколько минут, совершенно случайно, подтвердилось, что разговоры об этом были. Как и надо <было> ожидать, угроза не была осуществлена, эти люди были способны на подлость, но не на поступок, который грозил ответственностью. На несколько минут С. А. отозвал буфетчик «Стойла», я вышла в зал и прислонилась у щита, сделанного из фанеры и отгораживающего проход для артистов. Все вокруг было как в тумане. Надо было пораскинуть умом, как увести С. А. сейчас же домой. Сквозь туман дошла до сознания фраза, произнесенная кем-то из компании С. А.: «Ну, убрать ее можно в два счета. В переулке избить. Недели две не встанет, а там пускай бегает». (Фразу точно не помню, но стиль приблизительно такой.) Боюсь ошибиться; показалось, что голос Ганина. Сразу почувствовала связь этой фразы с предупреждением С. А. Кажется очевидно, что кроме меня им некого было бить и убирать с дороги. Не Дункан же. А на путях С. А. и его «плеяды» больше никого не было. Миклашевской не приходилось непосредственно сталкиваться с ними. С этих пор я на всякий случай всю зиму не расставалась с револьвером и после наступления темноты пешком по нашему переулку не ходила, всегда брала извозчика, боясь, что вправду изобьют и С. А. останется в их власти.

Но на всем этом в тот вечер дело не кончилось. Когда Александр, по моей просьбе, незаметно стянул со стола «плеяды» оставленную шапку, в залог того, что С. А. не сбежит, и, наконец, я вместе с С. А. вышли через черный ход из «Стойла», – он заявил, что надо куда-нибудь поехать успокоиться: в ночную чайную. Никакие убеждения не помогали. С. А. был невменяем и заявил, что тогда он поедет один. Поехали. Я уже знала, что такое ночная чайная. Было жутко ехать вдвоем, без мужчин; в случае чего я – плохая защита против сброда, наполнявшего это учреждение. Но, увы, друзей-мужчин не было. В чайной чуть не разыгралась трагедия. Все столики были заняты. Я хотела уходить, но С. А.

решил выпить бутылку пива у стойки. Подошли. Рядом за столиком сидел какой-то тип цыганистого вида. С другого края столика было свободное место. Увидя, что мне негде присесть, пока С. А. занимается пивом, «цыган» совершенно просто, без всякой задней мысли предложил занять свободное место. Я поблагодарила, но не села. Взбудораженный С. А. усмотрел что-то обидное в словах того и счел нужным вступиться «за честь дамы», сделав какое-то грубое и резкое замечание вроде того, что «знай свое место». Цыган, взбешенный, угрожающе поднялся с места со словами: «А-а, интеллигенция, воображаете много о себе, ну что ж, можно будет и поучить вас». Скандал вот-вот должен вспыхнуть, и несдобровать <бы> С. А. Откуда-то надвинулись со всех сторон приятели цыгана, кругом злые, враждебные глаза завсегдатаев чайной. Я пыталась успокоить обоих, обращаясь то к одному, то к другому, но они уже не слушали. Я невольно оглянулась назад, ища помощи или ближайшей двери, чтобы позвать кого-либо трезвого с улицы. Сбоку подошла проститутка – высокая жгучая брюнетка, с властным, но помятым лицом. Она обратилась к цыгану: «Федя, пойдем, брось». Федя отругнулся многоэтажным и продолжал «разговор» с С. А. Тогда она, шепнув мне на ходу: «Я сейчас уведу его», – ушла и через мгновение подошла, наигрывая на гитаре что-то разухабистое, с выкриками и взвизгиваниями. Внимание Феди и остальных обратилось к ней. «Ну, идешь, что ли?..» – и увела всех к другому столику. Позже, когда этот Федя направился к стойке, она опять подошла ко мне и тихо сказала: «Вы не бойтесь, я его не пущу, пока вы здесь». Сейчас эта история даже мне самой кажется невероятной. В чем дело, заступилась ли она за С. А. или чисто женское сочувствие ко мне руководило ею, не знаю. Знаю только одно, что не будь ее, неизвестно, уцелел ли бы С. А. в этот вечер.

И на этом эта ночь все-таки не кончилась. По дороге домой С. А. на извозчике заснул. В подъезд мы втащили его вдвоем с извозчиком, но дальше он тащить не согласился. Я решила его доставить волоком до лифта. Дотащила, но С. А. проснулся, вскочил и потом упал, ударившись со всего размаху затылком о ступеньки. Затылок гулко стукнул о каменные ступени. Во мне все застыло от ужаса. Я всегда панически боялась именно за его голову. И самое страшное видение в те ночи было: С. А. приносят домой с пробитой, окровавленной головой. Но голова, к счастью, оказалась целой. Наконец, открыв заранее лифт, дотащила его опять, и опять он проснулся и вскочил, чтобы бежать обратно. Но я ему показала на лифт: «Идите, идите, это уборная». С. А. качнулся и попал в лифт. Я захлопнула дверь, нажала кнопку. Когда «уборная» поехала, С. А. моментально пришел в себя. «Что

же это такое?» – совершенно ошеломленный, спросил он. Но я, уже счастливая, что все опасности миновали, объяснила: «Едем домой, теперь уже никуда не сбежите». С. А. тоже рассмеялся: «Да, хорошо, очень хорошо то, что хорошо кончается».

На следующий день С. А. немного успокоился, не пил, боясь, что его пьяным завезут опять «туда». На вечер Дункан послал корзину цветов, но сам не пошел, несмотря на все уговоры. Нарядился в «пушкинский костюм» и был спокойным и веселым весь вечер. Только около 10–11 ч<асов> начал волноваться, что Дункан может вздумать после вечера заехать в «Стойло» и, увидев меня с ним, устроит мне скандал. Условились, что я уйду на всякий случай, а он ее очень быстро выпроводит с таким расчетом, что, когда через полчаса я вернусь, ее уже не будет. Но пока мы уславливались, приехали с вечера Катя и Марцел, сообщив, что Дункан поехала домой, и С. А., спокойный и ясный, вернулся со мной и Катей на Брюсовский. После этого он видел Дункан еще один раз. Его опять подбили поехать. Он перед тем напился пьяным и собрался ехать. Звал сопровождать его Аню Назарову, но ей нельзя было ехать, так как у Дункан могло выяснить<ся>, что она моя подруга. Вошла Катя (дело было в «Стойле»). «Екатерина, едем к Дункан», – обратился он к ней. Я поддержала его – с Катей было не опасно, я знала, что она сумеет вытащить его оттуда. А Катя посещений Дункан боялась пуще всего и расплакалась, уцепившись, как ребенок, за шубу С. А. Удалось ее успокоить и уговорить. Через два часа они вернулись оба на Брюсовский и с хохотом вперебой рассказывали, как Катя не дала Дункан даже поговорить наедине с С. А., как Шнейдер пробовал удерживать, а С. А. напугал его, прикинувшись очень буйным, и как они все же выбрались оттуда, несмотря на то что не было денег на извозчика, а никто из братии намеренно не хотел дать. «Понимаете, как назло ни у кого ни копейки денег не было», – смеялся С. А.

Это была последняя встреча с Дункан. Один узел был распутан, или разрублен – не знаю, как верней.

Только я приехала из Крыма (22 сентября 1924 г.), как Соня Виноградская рассказала, что Е. сдал «Песнь о великом походе» в журнал «Октябрь»; все возмущены его поступком, смотрят на это как на предательство, тем более что сейчас как раз ведется поход против Воронского, которого, вероятно, снимут из «Красной нови». «Понимаешь, и в такой момент Е. сдал одну из своих крупных вещей „Октябрю“; конечно, ему многие руки не подадут», – сказала С. В.

До отъезда я знала, что «Песнь» восторженно встретил отдел

массовой крестьянской литературы Госиздата и вещь была продана туда. Группу и журнал «Октябрь» С. А. ненавидел, его иногда буквально дрожь охватывала, когда этот журнал попадал ему в руки. Травля «Октябрем» попутчиков приводила С. А. в бешенство, в бессильную ярость. Не раз он начинал писать статьи об этой травле, но так и не кончал, так как трудно было писать в мягких тонах, <а> резкую статью не было надежды опубликовать. В чем же дело, как «Песнь» могла попасть в этот журнал? Катя рассказала следующее: С. А. продал «Песнь» отделу массовой литературы. Все переговоры велись главным образом через Анну Абрамовну Берзинь. Одновременно «Октябрь» стал просить поэму для помещения в октябрьском номере. С. А. колебался. Было очень много разговоров, но согласие не было дано. Однажды он послал Катю в Госиздат за деньгами к Анне Абрамовне. Она получила больше, чем предполагал С. А. На радостях накупила пудры «коти», о-де-колон и пр. Вернулась вместе с Ритой, веселая и оживленная, думая обрадовать С. А. покупками (хорошей пудре, духам и т. п. С. А. всегда радовался как ребенок, тем более что при его безалаберной жизни, при постоянно кишевших вокруг него нахлебниках и прихлебателях, часто эти вещи отсутствовали в его обиходе). С. А. спросил, сколько она получила. Узнав, что больше предполагавшейся суммы, задумался, потом вдруг обозлился и поднял крик, чуть не выкинул все купленное, отчаянно ругал Катю за то, что она его продает и предает. «Откуда эти деньги?» – «Да я не знаю, Анна Абрамовна дала», – отвечала совершенно сбитая с толку Катя. Она только много позже поняла, в чем дело. С. А. ушел, вернулся вечером трезвый и опять поднял крик, придравшись к тому, что не было ужина (это его характерная манера. Он никогда не ругался из-за того, что действительно было причиной его возмущения. Клапаном всегда служило что-либо другое). «Ты совсем обо мне не думаешь, не заботишься. Я целый день работал, теперь хочу есть, а ты даже не подумала обо мне. Конечно, я сейчас поеду в ресторан. Ты сама меня в кабаки заставляешь ходить. Никакой „политической ориентации“ у тебя нет», – вопил он в неистовом бешенстве. При всем желании ничего нельзя было тогда понять. «Политическая ориентация» и ужин. Да и вообще от С. А. немного смешно было услышать такое выражение. Ему самому часто говорили о необходимости иметь «политическую ориентацию». Позже стало ясно, при чем тут «политическая ориентация», – взять деньги из «Октября» сумела, а ужина приготовить не сумела. Это был, кажется, единственный раз, когда Катя в суматохе и сутолоке не позаботилась <об ужине>, и надо же было случиться этому в тот злополучный

день.

А причиной было то, что деньги из «Октября» через Анну Абрамовну были выданы в виде аванса за поэму. Поскольку часть денег была уже потрачена, нельзя было сейчас же вернуть их (денег в тот момент у С. А. не было ни копейки). Кроме того, одно дело не дать им поэму, а другое – взять ее обратно. Это значило идти на скандал, объявить открытую войну. У С. А. не хватило бы нервов. А он сам в это время понимал, что ему надо их укрепить и беречь. Кое-какие угрозы «Октябрем» были даны. С. А. мучился, но потом, закрыв глаза, смирился, получил деньги и уехал на Кавказ. Больше всего энергии на получение поэмы для «Октября» было затрачено Анной Абрамовной. Мне многие рассказывали, как она с напостовцами обхаживали С. А., как была устроена вечеринка с участием Тарасова-Родионова, с товарищеским ужином и, конечно, вином. И надо правду сказать, у С. А. было почти безвыходное положение. Деньги были нужны, нервы расшатаны, надо было куда-нибудь уехать из Москвы. С. А. сам однажды признался, что он боялся идти на открытый скандал с напостовцами. «Понимаете, мне нужно было успокоиться. Это самое важное, иначе меня бы не хватило. Но все равно, я бы не согласился, если бы не подвела Екатерина с этими деньгами».

Узнав обо всем этом, я долго ломала голову, как исправить случившееся. Но хороший способ трудно было найти. Написала о создавшемся положении С. А. на Кавказ. Но, очевидно, он махнул рукой, тем более что на Кавказе, вдалеке от Москвы, он понял цену всему этому литературному политиканству. Непосредственно на мое письмо <он> не ответил, но кое-что есть в его письме от <20 декабря 1924 года>:

«Разбогатею, пусть тогда покланяются. Печатайте все, где угодно. Я не разделяю ничьей литературной политики. Она у меня своя собственная – я сам».

Но с тех пор, при всем своем уважении и расположении к Анне Абрамовне, С. А. всегда был с ней настороже.

Исключительная, незаурядная женщина. Умная, но, увы, ее ум часто дает срывы – чисто женская особенность. Честолюбивая, тщеславная, умеющая добиваться намеченного, часто очень отзывчивая и такая часто очень неискренняя. Отношение ее к С. А. – искреннее, большое преклонение, искренняя и большая любовь и тревога за его судьбу, готовность иногда перегрызть горло всему, что враждебно Есенину, и легкомысленные, совершенно необдуманные поступки в отношении его. И, кроме того, в эту бочку меда – тщеславное желание вершить его поэтическими делами, показывать себя рядом с ним. Все ее поступки возникали из такого противоречивого отношения.

Милые, трогательные заботы во время пребывания его в Шереметевской больнице, помещение его в Кремлевскую больницу, чтобы спасти от ареста (проф. Герштейну звонили из милиции, что Е. подлежит заключению под стражу и чтобы туда, в милицию, сообщили о дне выхода Е. из больницы. Герштейн как врач хорошо понял состояние С. А. и выдал эту государственную тайну, предупредив меня. Вообще отношение Герштейна к С. А. было изумительным. Через неделю после пореза руки, когда было ясно, что опасности никакой нет, я обратилась к Герштейну с просьбой, запугав С. А. возможностью заражения крови, продержать его возможно дольше. И Герштейну удалось выдержать С. А. в больнице еще две недели). Вообще в Шереметевской больнице было исключительно хорошо, несмотря на сравнительную убогость обстановки. Там была самая разнообразная публика, начиная с беспризорника, потерявшего ногу под трамваем, кончая гермафродитом, ожидавшим операции. С. А., как всегда в трезвом состоянии, всеми интересовался, был спокойным, прояснившимся, как небо после слякотной серой погоды. Иногда появлялись на горизонте тучи, после посещения С. А. его собутыльниками, кажется, умудрявшимися приносить ему вино даже в больницу. Тогда он становился опять взбудораженным, говорил злым низким голосом, требовал, чтобы его скорей выписывали.

Заботы Анны Абрамовны не прекратились и в Кремлевской больнице. Она часто навещала, прекрасно умела занять С. А., развеселить его. По выходе из Кремлевской больницы она же настояла, чтобы С. А. переехал на квартиру к Вардину, где он, разумеется, стеснялся пить по-прежнему и откуда Вардин со своей кавказской прямотой, как хозяин квартиры, легко выставлял всех литературных собутыльников Е. и прощелыг. Как сейчас помню, Вардин попросил дать ему список всех собутыльников, собирался принять меры, каким бы то ни было образом выслать их из Москвы, и, во всяком случае, в его квартиру им было невозможно попасть. Вардин же вместе с Анной Абрамовной ликвидировали в суде дело о пьяном скандале в милиции, грозившее Е., может быть, тюрьмой. Вардин же, несмотря на узость его взглядов, благотворно подействовал на С. А. в смысле определения его «политической ориентации». Во время пребывания у Вардина было написано стихотворение «Письмо матери», явившееся началом цикла трезвых, здоровых стихов. Здесь вообще была здоровая атмосфера. Тяготило С. А. только одно – ему все казалось, что с ним возятся, надеясь сделать из него «казенного» советского поэта. Но хорошее отношение к Вардину у него осталось навсегда. Даже в письме с

Кавказа к Кате, упоминая, что с Вардиным ему не по пути, он отзывался о Вардине как о прекрасном человеке.

Еще об Анне Абрамовне. Когда С. А. уехал на Кавказ, Анна Абрамовна взялась устроить издание собрания сочинений, вела подготовительные переговоры и вообще принимала энергичное участие в этом. Также всегда помогала, по мере возможности, в налаживании денежных дел в Госиздате.

Но наряду с этим бывало, что, зная состояние С. А., она, очевидно из желания демонстрировать свою дружбу с Е., приводила к нему на дом совершенно чужих для него людей, не справляясь, в каком он состоянии. Я лично помню два таких случая. Один раз пришлось попросить ее увести поскорее такого посетителя, так как С. А. в этот день был страшно возбужден, и даже своим домашним трудно было успокаивать его, а при чужих он всегда делался хуже.

Еще случай. Однажды предложила она С. А. пойти на вечер ВАППа[44], куда ему, конечно, не следовало идти, при существующих отношениях с напостовцами. Незачем было вести его в стан его злейших врагов. И в середине вечера С. А., избегавший тогда сам всего, что могло вывести его из себя, еле сдерживая бешенство, наклонился ко мне: «Галя, ради бога, уйдем сейчас же отсюда, иначе будет плохо». И вышел, не дождавшись даже антракта. Читал Уткин, с резким еврейским акцентом, читал какое-то стихотворение – кажется, из русского быта. С. А. очень нетерпимо относился ко всем инородцам, пишущим не о своем национальном, а «лезущим» в русскую литературу, а тем более к одному из вапповцев, травящих его, Есенина, русского поэта. Хорошо, что С. А. был трезв в этот вечер, а то скандал был бы неминуем, тем более что и Анны Абрамовны самой на вечере уже не было. Она ушла, рассердившись на С. А. еще при входе за невнимание к ней.

Следующий раз она собиралась его повести на диспут о литературной политике, устраиваемый при ЦК партии (весна 1925 г.). Помню, как С. А., уже собиравшегося ехать, я попросила остаться: «Вам не надо ездить, своим присутствием вы ничего не измените. Воронский и другие без вас лучше сумеют отстоять свою точку зрения, а вы не сдержитесь, чего доброго вспыхнет скандал, и это только помешает Воронскому. Да и вам сейчас не надо дергать себя». С. А., как всегда, на секунду задумался, наклонив голову, <и> согласился: «Верно, не поеду, и не надо вовсе». Через несколько минут, радостный, выбежал в коридор: «Идите сюда, Галя. Дайте же я вас поцелую. Вы умная и знаете, что мне нужно». И, к моей большой радости, совсем не поехал.

Странную роль играла Анна Абрамовна в отношении меня и

Кати. Я лично всегда относилась к ней хорошо. Ее внутренний облик, иногда ее выходки мне нравились. Она прошла через огонь и воду. Умная и оригинальная, смелая, не останавливающаяся ни перед какими препятствиями, она не могла не нравиться мне. Но я всегда остерегалась ее бестактности, неискренности и политиканства, поэтому всегда была настороже, и только. Ее отношение ко мне и к Кате постоянно менялось. Самое дружеское в отношении к Кате, иногда даже восторженное, и в это же время она пробовала уверить С. А., что мы стараемся отстранить ее от него (зачем?..). Правда, С. А. тут же, придя от нее, предупредил: «Вы думаете, Анна Абрамовна вас и Катю любит? Терпеть не может, а вы, глупые, ей верите».

При мне она расхваливала меня Сергею Александровичу, спрашивала, почему он не женится на мне, очевидно щупая почву. И тут же усиленно старалась вызвать в Е. увлечение кем-нибудь из своих приятельниц (Анна Ивановна Сухарева, Като). Во время его пребывания у Толстой то честила ее последними словами и т. п., то, когда С. А. хотел уходить от Толстой, заводила с ней дружеские отношения, несмотря на просьбу С. А. не делать этого. Во время моей ссоры с С. А. всячески подливала масла в огонь, настаивала, чтобы С. А. запретил Кате бывать у меня и т. п.

В это же время один раз она разыграла возмущенную добродетель: «Я думала, Галя, что ты любила С., а тебе решительно наплевать на него, тебе нужны были его деньги, а сам он тебя мало интересует» и т. д. Настолько деланно было ее возмущение, что я невольно задумалась, ища подоплеку ее выпадов. И вдруг осенило: играет в «историю», как говорил С. А.; развенчивая по очереди меня, Катю, Толстую, она хочет остаться «единственным другом», единственным «преданным» ему человеком. Я моментально сказала ей это, добавив, что в этой игре она может проиграть, что не надо забывать: во времени правда всегда всплывает, и всплывет ее роль, пожалуй в довольно-таки неприглядном виде. Надо было видеть, как поспешно она забила отбой, начав уверять, что ей самой очень больно так думать обо мне и что если она ошиблась, то, конечно, она больше всех рада, что это только ошибка.

И все же винить Анну Абрамовну нельзя. Несмотря на свое тщеславие и частью благодаря ему, она много сделала для С. А. Что в моей ссоре с С. А. сыграла плохую роль – что ж поделаешь, она была не одна; не она, так другие свое дело сделали бы.

Первое время по возвращении С. А. из-за границы постоянным активным собутыльником был С. Борисов-Шерн, бывший сотрудник «Красной нивы» и, кажется, «Известий». На

доводы, что С. А. нельзя пить, он отмалчивался или, в буквальном смысле, отмахивался, но вместе с тем упорно спаивал С. А., старался затащить его в какой-нибудь кабак или «к девочкам». Как и все, он знал установившийся порядок: если втянуть С. А. в компанию, то все оплачивает он, вино, извозчики и даже «девочки» – все за его счет. С. А. сам неоднократно рассказывал, как приятели подбивали его пойти к проституткам, прекрасно зная, что проституток он боялся, как чумы. Ему казалось, что они все, все до единой, больны и, в случае чего, они неизбежно наградят и его тем же. Поэтому ни трезвый, ни пьяный он никогда не мог решиться на это – страх преодолевал все. Но приятелям было важно, чтобы С. А. был в компании лишь для того, чтобы он расплачивался. У меня до сих пор есть записка от Борисова-Шерн<а> к С. А.:

«На сегодня достал одну. Пойдем».

Это было в 1923 г. Я С. А. <тогда> меньше знала и, по правде сказать, прочтя записку, почувствовала брезгливость к нему, только позже узнала, что С. А. тут ни при чем.

К той же плеяде принадлежал и Иосиф Аксельрод. Знаю, что в 1921 г., по словам Кати, он подметал мусор в книжном магазине Мариенгофа и Есенина на Никитской. В 1923 г. он уже советский служащий, кажется в 3-й типографии Транспечати. Врезался в память трюк, который «плеяда» выкинула однажды. Зашла я за С. А. в «Стойло». Часов в 12 собрался он ехать домой, но его подбили на минуту зайти в «Привал энтузиастов» (был такой ночной кабак литераторов в Леонтьевском пер.). Е. сорвался. «Сергей Александрович, куда же вы, а домой?» – «Сейчас, сейчас. Я сейчас». А сам уж ничего не слышит, торопится за ними. Приглашая его, меня, чтобы избавиться от моего присутствия, демонстративно не зовут. Конечно, на меня это мало подействовало. Они бегом туда, а я не отстаю. С. А. был уже пьян, но, войдя в «Привал», на минуту опомнился: «Где же Галя? Галя где?» Увидев меня, успокоился. Его тотчас же подхватили и чуть ли не под руки увели, оставив меня одну. Трудно передать мое самочувствие. Непривычная к этим трущобам, одна среди полупьяных и совсем пьяных, наглых, сальных физиономий. Наконец попала в комнату, куда увели С. А. Села с краю у стола, решив, что ни в коем случае не убегу. Попробовал кто-то меня угостить вином, но я его поблагодарила с таким видом, что всякое желание угощать прошло. С. А., стоя за другим концом стола, городит какую-то пьяную чушь, с выкриками, слезами, «бия себя в грудь». Никто его не понимает, но следят за ним с интересом, как смотрят обычно на «рыжего» в цирке. До чего же

мне хотелось всем им морды набить (таких только бить надо, более культурных методов воздействия они не почувствуют) за то, что Е. для них паяц, и только. Поили его со всех сторон. Вдруг С. А. встревоженно поднимается: «Галя, где Галя?» Подхожу. «Мне надо ехать домой. Иначе мозг кончится, кончится здесь (показывает на голову). Вы не отходите, сейчас пойдем домой». Но, дойдя до раздевальни, мне пришлось быть свидетельницей разговора, при воспоминании о котором меня до сих пор тошнит. Подходит какой-то тип: «А, Сережа, как ты? Поедем к …» С. А. отнекивается. «Чего ж „нет“? Что, у тебя стои́т? Знаешь, у меня стои́т, да как еще». И С. А., который мог часами матерщинить, закорчился от такой циничности, смущенно отвечает: «Да, у меня тоже, все время. Ну, пока, пока». Так в школе неразвращенные мальчики, боясь быть поднятыми на смех, стараются не отставать от более опытных, похабных разговоров и пр<очего>.

О родных. Их у С. А. по-настоящему не было. Кровное чувство у всех Есениных очень сильно, потому С. А. всегда тянулся к своим. Обидеть стариков или сестер значило объявить себя его врагом. И чем сильней тянуло С. А. к своим, тем больше возмущало его их отношение. Любя С. А., уважая его и немного с удивлением относясь к тому положению, какого он добился, и старики, и за ними Катя прежде всего видели в нем золотой мешок. В первую очередь были мысли и разговоры о деньгах. С их точки зрения, они правы. По сравнению с деревенскими он был богат, очень богат. И потому, не считаясь с положением его дел, они обращались к нему за деньгами сплошь и рядом, <в> и без того трудные моменты. С. А. бесился, что с ним не хотят считаться, и возмущался, что эти люди высшее благо и счастье жизни видят в деньгах.

«Я их знаю, знаю. Только дай и дай. За этим и в Москву ездят. Я для них – дойная корова. Мне не жаль, понимаете, не жаль, но я знаю их – жадные. Туда как в бездонную бочку – сколько ни сыпь, все мало. И все мужики, все такие. Знаете, я не люблю крестьян. Им только деньги нужны. В этом мире им на все наплевать. Только давай. Вы думаете, я люблю деревню? Мужиков? Я их хорошо знаю – каждый только о своем кармане думает».

Помню, как один из «дядьев» (Александр Федорович, брат матери) обхаживал С. А. в 1925 г. в Константинове. Он его поил и всячески старался угодить ему: пел песни, плясал, в любви объяснялся. И через каждые десять минут вворачивал свою заветную думу: «Сережа, дай ты мне 2000 руб., только 2000, торговлю открою». И С. А., очевидно, чтобы полюбоваться, как тот будет продолжать ухаживать, убедительно говорил: «Конечно,

дам. Сейчас у меня нет, а приезжай в Москву, у меня скоро будет много денег, ну и дам тогда». Такое же отношение к имуществу С. А. было и у Кати. Сколько раз я объясняла ей, что она никаких прав на его деньги и вещи не имеет и потому должна довольствоваться минимальным, что это преступление – сорить его деньгами. Что С. А. зарабатывает деньги не горбом, а потом и кровью. И если он сам может ими сорить, то никто, кроме него, не имеет этого права. Этого Катя никак не могла понять. Потому что с детских лет, вероятно, благодаря родителям усвоила совсем другие взгляды. И по-прежнему приходила, требовала денег и денег и даже в 20 лет не задумывалась: не пора ли самой начинать зарабатывать? В марте 1925 г. С. А. приехал с Кавказа и, заметив, что Катя небрежно учится, испугался, что ничего из нее не выйдет. Стал резко и грубо ей говорить: «Ты как думаешь, не пора ли на свои хлеба? А? Я тебе больше денег не стану давать. До осени живи, а там, пожалуйста, сами заботьтесь. Шурку я шесть лет буду учить и кормить, а тебе пора уж самой думать».

К Кате у С. А. была какая-то болезненная, тревожная любовь. Он знал, что они во многом похожи друг на друга, как близнецы, что воспринимают и чувствуют почти одинаково. Знал свои ошибки и страшно боялся повторения их Катей. Кроме того, он не раз говорил, что он имел право на многое, потому что знал себе цену, а ей этого нельзя. На мои утверждения (я тогда очень верила «в Катю», в ее одаренность и ум), что Катя умная, не раз говорил: «Нет, хитрая она. Все в ней – хитрость, а не ум. Я не такой – я все-таки хороший, а она все хитрит, хитрит». Разговорами о деньгах он хотел заставить ее задуматься о будущем и испытать ее гордость. Однажды после такого разговора с Катей, повторявшегося последние месяцы изо дня в день, он сказал мне: «Нет, нет, она не такая, как я, как вы, как Шурка. Она – паразит». Вообще Катя в жизни С. А. совершенно невольно была злым гением, постоянно нарушая и без того неустойчивое душевное равновесие его и, кроме того, опять-таки невольно, являясь камнем преткновения с окружающими. Трудно представить, но я хорошо знаю, что в разрыве С. А. с Мариенгофом (которого С. А. очень любил) она сыграла главную роль, хотя С. А. почти не говорил об этом. А корни были вот в чем. Когда С. А. был за границей, денежные дела у Мариенгофа были очень плохи. «Стойло» закрылось, магазин ничего не давал, и Мариенгоф с Мартышкой[45], ждавшей тогда ребенка, форменным образом голодали. Я это знаю от лиц, живших в одной квартире с ними. Катя, по ее словам, не знавшая нужды при С. А., неоднократно обращалась к Мариенгофу, зная, что часть денег из магазина принадлежит С. А., но денег не

получала. Не зная, а может быть, по легкомыслию не желая вникнуть в положение Мариенгофа, она возмущалась и, кажется, даже писала С. А. о том, что Мариенгоф не дает денег. Во всяком случае, по возвращении <Есенина> из-за границы она говорила об этом С. А., который, как и следовало ожидать, страшно обозлился на Мариенгофа. Как оказалось, Сахаров, во время пребывания С. А. за границей, купил у Мариенгофа их книжный магазин, кстати сказать, уплатив только небольшую часть денег. Вскоре после возвращения С. А., за что-то ругая Мариенгофа, добавил: «А вы не знаете, как его не любит моя сестра, терпеть его не может». Тогда я еще не видела и не знала Катю. Позже эта фраза многое мне уяснила в резкой перемене отношения С. А. к Мариенгофу. Навело на эти размышления письмо Мариенгофа к Старцеву. С. А. как-то раз, возмущенный, показывал мне фразу из письма Мариенгофа: «Из-за границы Сергей пишет о сестре. Придется и ей уделять кое-что». Вот это «придется» С. А. не мог переварить, понимая его как нежелание, а не как невозможность «уделять».

Трудно передать, сколько нервов было истрепано из-за Катиной «девственности». Началось это в 1923 г., когда ему показалось, что Катя интересуется Приблудным. Слишком длинно описывать все разговоры, советы «класть компрессы», если «чешется», и т. п. К моему ужасу, эти разговоры заводились, для пущего устрашения Кати, в присутствии посторонних людей и ее самой. Иногда хотелось просто побить С. А. за его дикий цинизм, с которым он распекал Катю. Опять-таки позже поняла. Он боялся за нее, зная себя и свою несдержанность в отношении женщин, боялся, что Катя пойдет по тому же пути. Тем более боялся, что Катя – женщина, и ей не простится то, что легко прощается мужчинам.

Кате пришлось еще раз сыграть плохую роль в жизни брата. За ней давно начал ухаживать поэт В. Ф. Наседкин, а ей нравился Приблудный. Наседкин добивался ее согласия на брак, Катя уверяла меня и всех, что он ей противен, что она ни за что не пойдет за него. А С. А., из боязни, что увлечение Приблудным пойдет дальше, настаивал на браке с Наседкиным, грозя «ссадить» ее с своей шеи, доказывал, что потом она очень полюбит Наседкина и т. д. Катя, измученная всем этим, не раз жаловалась мне, говорила, что она в отчаянии, да и сама я, слыша все эти выпады, говорила С. А., что прошли те времена, когда можно было выдавать замуж против желания, распоряжаться сестрой как имуществом. Наседкину тоже сказала: «Брось свои домогательства, все равно Катя твоей женой не будет. Да и не желала бы тебе такую жену. Горя с ней будет много, ее трудно

будет приручить». Так как я, единственная из всех, окружавших С. А., осмелилась открыто встать на защиту Кати, то Наседкин решил, что все препятствия во мне, не будет меня – и Катя будет вынуждена согласиться. К этому он имел основания, так как Катя – вообще слабая натура и не умела отстаивать себя перед С. А., а потому невольно пряталась под мою защиту. И действительно, после ухода С. А. с Никитской Катя сдалась. С. А., вероятно, был прав, он больше меня знал натуру Кати, знал, что ей важно обеспечить как материальную поддержку, так и присутствие того, что обычно именуется мужем, одну ее нельзя было оставлять. Ну, так вот. Соображения Наседкина о препятствии в моем лице привели к тому, что он с Сахаровым начали целый поход против меня, воздействовав на самое больное место С. А., не раз говорившего мне: «Вы свободны и вольны делать что угодно, меня это никак не касается. Я ведь тоже изменяю вам, но помните – моих друзей не троньте. Не трогайте моего имени, не обижайте меня. Кто угодно, только чтоб это не были мои друзья». (Они подсунули ему клевету о том, что я будто бы изменяла <ему> с Ионовым. Конечно, тут уж С. А. не мог не обозлиться. Все это случилось, когда они возвращались с С. А. без меня из деревни в Москву с той злополучной свадьбы. Об этом дальше.) Конечно, со стороны С. А. была огромная уступка. Его внутреннее отношение было чисто мужицкое: «Моя, и больше никаких». Но, зная, что я не покорюсь и не могу быть «верной женой», тогда как себя он не лишает свободы в отношении других женщин, и вместе с тем не желая порывать со мной, он внушил себе взгляд культурного человека – мы, мол, равны, моя свобода дает право и на свободу женщине. Я никогда не скрывала своих увлечений, но С. А. сам знал (я ему подтверждала), что – что бы ни было – я всегда его, всегда по первому зову все абсолютно брошу. Знал он также, что виноват передо мной не меньше, чем я перед ним, и что он не вправе требовать от меня верности. Но все изменилось в марте 1925 г., после его приезда с Кавказа. Я больше не могла выдумывать себе увлечения, ломать себя, тогда как я знала, что по-настоящему я люблю только С. А., и никого больше. Единственное сильное чувство, очень бурно и необузданно вспыхнувшее к Л.[46], я оборвала сама. Из-за нескладности и изломанности моих отношений с С. А. я не раз хотела уйти от него как женщина, хотела быть только другом. И перед возвращением его с Кавказа я еще раз решила, что как женщина уйду от него навсегда. И поэтому, закрыв глаза, не раздумывая, дала волю увлечению Л. И даже это я оборвала сразу, как только поняла, что от С. А. мне не уйти, эту нить не порвать, и С. А. любит меня, насколько он вообще может сейчас любить. Я знала,

что так, как З<инаиду> Н<иколаевну>, он никого никогда не будет любить. С. А. было объявлено, что теперь моим увлечениям конец. В конце марта он снова уехал на Кавказ и вернулся в мае. Он скучал там. Он, по его словам, не знал и не хотел знать ни одной женщины. «Когда ко мне лезли, я говорил: „У меня есть Галя“. Но сейчас берегитесь меня обидеть. Если у меня к женщине есть страсть, то я сумасшедший. Я все равно буду ревновать. Вы не знаете, что это такое. Вы пойдете на службу, а я не поверю. Я вообще не могу тогда отпускать вас от себя, а если мне покажется, то бить буду. Я сам боюсь этого, не хочу, но знаю, что буду бить. Вас я не хочу бить, вас нельзя бить. Я двух женщин бил, Зинаиду и Изадору, и не мог иначе, для меня любовь – это страшное мучение, это так мучительно. Я тогда ничего не помню, и в отношении вас я очень боюсь этого. Смотрите, быть вам битой». Я тогда знала, что повода не может быть, и потому смеялась, что меня-то не придется бить. Увы, пришлось, и очень скоро. Пришлось не по моей вине, а стараниями Сахарова и Наседкина был разбужен зверь в С. А.

Уже во вторую поездку на Кавказ С. А. начал «беспокоиться» обо мне. Характерно: с Кавказа приехал, вопреки обыкновению не предупредив телеграммой. Нагрянул, что называется.

Вскоре <я> поехала в деревню на свадьбу его двоюродного брата. С. А. пил исступленно и извел всех. Самодурствовал, буянил, измучил окружающих и себя. У меня уже оборвались силы. Я уходила в старую избу хоть немного полежать, но за мной сейчас же прибегали: то С. А. зовет, то с ним сладу нет. Как-то раз утром разбудил меня на рассвете, сам надел Катино платье, чулки и куда-то исчез. Я собиралась спать еще, но его все нет. Пришлось встать, пойти на поиски. Наконец на свадьбе нашла. С. А. там обнимает всех и плачет: «Умру, умру скоро. От чахотки умру». И плачет-разливается. Все на него, разинув рот, дивуются: «Сергунь, ты должен быть сильным. Ведь за тебя стыдно, как баба плачешь». Вскочил плясать, да через минуту опять давай плакать. Потом пошли с гармошкой по деревне. С. А. впереди всех, пляшет (вдруг окреп), а за ним девки, а позади парни с гармонистом. Красив он в этот момент был, как сказочный Пан. Вся его удаль вдруг проснулась. Несмотря на грязь и холод (а он был в Катиных чулках, сандалии спадали с ног, и мать на ходу то один, то другой сандалий подвязывала), ему никак нельзя было устоять на одном месте, хоть на одной ноге, да пляшет.

Потом пошел к попу Клавдию (его товарищ детства)[47] – навещать. Тот лежал, как говорили, при смерти. Пришел, всех перетревожил, всех напугал своим заявлением: «умру, умру». Наконец увели его оттуда. «Пойдем, пойдем в кашинский сад, я

тебе все покажу», – и в том же костюме, ряженый, понесся в сад. Перед тем был дождь, было слякотно и очень холодно, только что немного прояснилось. Вдруг С. А. увидел Оку. «Пойдем купаться», – и бегом с горы к Оке. Я в отчаянии: ведь у него чахотка. Выкупаться сейчас – это значит конец, наверняка. Вбежали на паром, а с того берега лошадей перевозят. «Поедем на хутор, хочешь, верхом поедем? – спрашивает С. А. – Я тебе все там покажу». Что он хотел мне показать в кашинском саду и на хуторе, я до сих пор не знаю. Вероятно, свою молодость. Взяли лошадей. Я пустила галопом; оглядываюсь: С. А. трусит на своей лошади, и видно, удовольствие это небольшое. Подождала. «Знаешь, на ней очень больно ехать». Предложила поймать из табуна другую, но он не сумел поймать. Наконец встретили конюха на оседланной лошади, забрали у него и поехали. Но через пять минут С. А. слезает, чтобы напиться воды, а потом вдруг ложится на землю: ему худо стало, от тряски очевидно. Попросил, чтобы я сошла с лошади к нему, и лег ко мне на колени головой. Начался дождь, земля совершенно сырая, С. А. почти не одет. Я чувствую, что беда. Начинаю подзадоривать его: «Ну, скис как баба, вставай и сейчас же садись на лошадь, как не стыдно». С. А. открывает глаза и вдруг с такой обидой и болью, как будто я невесть что сказала: «И ты, и ты ничего не понимаешь. Не надо, не буду на твоих коленях. Вот она, родная, все поймет», – и ложится головой на землю, мокрую и холодную. Я отвязываю свою лошадь и во всю мочь мчусь к пастухам: «Слушайте, там Серега Есенин свалился с лошади, с сердцем припадок. Давайте телегу, довезти его домой». Хотя бы один шевельнулся. «Да я ж вам заплачу, давайте только телегу». Начинают двигаться, но нехотя: «А ты деньги сейчас давай, а то, ну потом не заплотишь». Поняла, отчего и за что С. А. презирал этих самых крестьян. Почему говорил, что «это все г… Им только давай деньги, а так они на весь мир плюют». Обругала их от души «сволочами» и еще как-то. Тогда зашевелились. Обещали сейчас приехать. Поскакала туда, где остался С. А. Подъезжаю – ни его, ни лошади. Мчусь дальше по дороге – едет мой С. А. шажком, ногами побалтывает. «Ты куда?» – «Домой». – «Да дом-то в другой стороне». Повернул обратно и потом уже шагом благополучно добрались до парома. Во всей этой истории, кроме ужаса за С. А. с его чахоткой, всплыло осознание того, как С. А. отвык от деревни – ни верхом ехать, ни лошадь из табуна поймать не может, и какой он чужой своим деревенским. Так, любопытство к его выходкам, и больше ничего.

Вернулись в избу. С. А. забрался на постель, я около него прилегла, и меня трясучка схватила. Под дождем я насквозь

промокла и наволновалась. С. А., как маленький, умоляет меня: «Ну перестань, не надо, перестань же дрожать». Когда это не помогло, он вдруг завопил матери: «Мать, разотри ее скорей, разотри». Потом схватился за голову и убежал к печке, чтобы не видеть, продолжая вопить: «Мать, да разотри ж ее скорее, слышишь, она умрет сейчас». Я забралась на печку, чтобы ему не видно было меня. С. А. и все остальные (Муран, Сахаров, Наседкин) сели закусить перед дорогой. Старики и гости стали опять пробирать С. А. за его дикие выходки. Я с печки еще подбавила: «Купеческого сынка или помещика-самодура изображаешь». С. А. обернулся и замахнулся на меня тарелкой. Но, как всегда, увидев, что я не испугалась, успокоился и запустил только куском хлеба с этой тарелки. Кончили закусывать. Зовет меня ехать. Но я отказалась: я приеду потом. С. А. обиделся, но все же, уходя и попрощавшись со всеми, подошел к печке: «Ну, иди, дура, поцелую тебя». Уехали.

Прошло четыре дня. Вхожу в 7 час. утра (в субботу, 13 июня) на Никитскую, со мной приехал его двоюродный брат Илья. Меня встречают искаженные лица Оли (наша прислуга) и Надежды Дмитриевны (соседка по квартире). «В комнату можно? Сергей спит?» – «Да». В коридоре нет ни одного чемодана С. А. Открываю дверь: в комнате никого. Чистота и порядок. Постель прибрана. И вместе с тем какая-то опустошенность.

Оказывается, по рассказам Оли и Н<адежды> Д<митриевны>, приехали из Константинова какие-то странные, как заговорщики. День или два шушукали<сь>, замолкая при Оле. Донеслись до нее только слова Наседкина: «Значит, надо скорей бежать отсюда». Ночью С. А. разбудил Олю укладывать его вещи. Получив отказ, сложили сами и утром, в 8 ч., взяли подводу и перевезли все к Наседкину. Потом оказалось, что С. А. рассказали, будто бы я изменяла ему со всеми его друзьями, как, напр<имер>, с Ионовым. Рассчитано было прекрасно. Вероятно, план исходил от Сахарова.

В отношении Сахарова к С. А. было много непонятного. Много от Сальери. Он любил, и он же всеми мерами топил С. А. Совершенно не считаясь с тем, что для С. А. было пагубно. В чем дело, точно определить не умею, но отдельные факты помню так же, как помню всегдашний непреодолимый страх за С. А., когда на горизонте появлялся Сахаров. Страх был тем сильнее, что во мне против Сахарова отчетливых доводов не было. Он как будто не мог быть отнесен к числу нахлебников, он неглуп, а благодаря огромной, изумительной хитрости даже кажется умным, любит и чувствует литературу, язык. От С. А. слышала раньше только хорошее о Сахарове. И все же всегда при появлении Сахарова

замирало сердце. Объясняла <это> себе тем, что Сахаров, как и другие, тянет С. А. пить, а он, как никто, умел всегда вытянуть Е. куда-нибудь в пивную или в ресторан.

Фактов же было немного.

Первый: в 1923 г. <Есенин> едет в Питер к Клюеву. Не успел достать денег, в последнюю минуту занял 20 или 30 руб. у Александра (швейцара в «Стойле»). Сахаров сказал, что билеты он сам всем купит (ехали: С. А., Сахаров, Аксельрод и Приблудный). Я, Аня, С. А. и Приблудный приезжаем на вокзал. Билеты через кого-то нам передали. Оказывается, жесткий вагон и место не спальное. «А где же Сашка?» – спрашивает С. А. Я и Аня, уже поняв, в чем дело, стараемся отвлечь мысли Е., чтобы он хотя бы сейчас не понял, в чем дело. А дело вот в чем: Сашка предпочел ехать в мягком, и, поскольку у С. А. в тот момент не было денег, ему предоставили жесткие места. С. А. все же понял. Стали убеждать: Сахаров, мол, себе купил раньше билет, а потом докупал для Е., когда уже не было мягких мест. Но С. А. с его болезненной подозрительностью и недоверием уже невозможно было разубедить. Надо было знать С. А. (а Сахаров знал его, быть может, лучше нас, так что это была не случайная оплошность, не случайное невнимание), чтобы понять, что это было огромным унижением, тем более когда это делает тот, кого С. А. считает другом. Не то важно, что жесткий вагон, а важно, что спекулянт Сахаров, пользуясь отсутствием денег, удостаивает Есенина, знающего себе цену, знающего, что Сахаров по сравнению с ним моль, билета в жестком вагоне. Такие вещи С. А. всегда замечал. Удар был очень силен. С. А., поняв это, не мог даже продолжать разговаривать вообще. Зато я и Аня не выдержали и изругали Сахарова, как умели. Было ясно, что если не хватало денег на все мягкие места, то Сахарову следовало бы ехать вместе с С. А. в жестком. Это первый факт.

Надо сказать, что Сахаров вообще любит блага жизни и всякие удобства. С другой стороны, он всегда по-злому завидовал С. А. в его славе, в его таланте и никогда не мог простить ему это. Поэтому трудно сказать, чем был вызван этот поступок: исключительным себялюбием или хуже – желанием унизить С. А., уколоть его по больному месту.

Второй: после заграницы С. А. почувствовал в моем отношении к нему что-то такое, чего не было в отношении друзей: что для меня есть ценности выше моего собственного благополучия. Носился он со мной тогда и представлял меня не иначе как: «Вот познакомьтесь – это большой человек». Или: «Она – настоящая» и т. п. Поразило его, что мое личное отношение к нему не мешало быть другом; первое я почти всегда умела

спрятать, подчинить второму. И поверил мне совсем. «Другом» же представил меня и Сахарову. Сахаров, очевидно, тогда уже решил, что лучше отстранить меня. До сих пор он себя считал единственным другом.

Помню, осенней ночью шли мы по Тверской к Александровскому вокзалу. Так как С. А. тянул нас в ночную чайную, то, естественно, разговор зашел о болезни С. А. (Есенин и Вержбицкий шли впереди.) Это был период, когда С. А. был на краю, когда он иногда сам говорил, что теперь уже ничто не поможет, и когда он тут же просил помочь выкарабкаться из этого состояния и помочь кончить с Дункан. Говорил, что если я и Аня его бросим, то тогда некому помочь и тогда ему будет конец.

Из какого-то разговора раньше я поняла враждебность Сахарова ко мне. Решила, что думает: «Для себя, мол, цепляется и борется за Е., рассчитывая вылечить и удержать потом около себя». Надо было рассеять это и как-нибудь дать ему понять или почувствовать, что это не так. Заговорила о С. А., о том, что он гибнет и я не знаю, чем его спасти и остановить. «Хоть бы женщина такая встретилась, чтобы закрутила ему голову как следует, подчинила его себе, может быть, это его спасет», – добавила я, чтобы Сахаров понял, насколько мне лично ничего не надо. И вдруг Сахаров стал пространно объяснять, что женщине тут нечего встревать, что С. А. безумно любит Дункан, незачем его уводить оттуда, все равно он к ней вернется. Сейчас он от нее уходит потому, что его натура такова: ломать свою и ее жизнь. Только вернувшись к Дункан, С. А. успокоится. И пьет он сейчас из-за любви к Дункан.

В таких сложных ситуациях я тогда была очень наивна, пряма и доверчива. Если это говорит лучший друг Е., знающий его и вообще умный, то не ошибаюсь ли я, вмешиваясь в историю с Дункан? Не приношу ли я своей прямотой и своими заботами вред Е.? Быть может, этим я больше расшатываю его нервы. И не смешно ли с моей стороны вмешиваться в такие сложные отношения и воевать с мельницами? Мне для С. А. ничего не было жаль, но донкихотствовать я не имела ни малейшего намерения. Вот мысли, которые всплыли после разговора с Сахаровым. Несколько дней я обдумывала, не уйти ли, предоставив Е. воле волн.

Через несколько дней я с С. А. всю ночь разговаривала. Говорили на самые серьезные темы. Я стала спрашивать о Дункан, какая она, кто и т. д. Он много рассказывал о ней, рассказывал, как она начинала свою карьеру, как ей пришлось пробивать дорогу. Говорил также о своем отношении <к ней>: «Была страсть, и большая страсть, целый год это продолжалось, а

потом все прошло – и ничего не осталось, ничего нет. Когда страсть была, ничего не видел, а теперь… боже мой, какой же я был слепой. Где были мои глаза? Это, верно, всегда так слепнут». Рассказывал, какие отношения были. Потом говорил про скандалы, как он обозлился, хотел избавиться от нее и как однажды он разбил зеркало, а она позвала полицию. «Это с тех пор пьяным мне кажется, что меня преследуют. Это она так напугала». Рассказывал, как он убегал от нее. Не мог без дрожи вспоминать, как она поместила его в «сумасшедший дом», где к нему никого не пускали, а она приходила на ночь. Этого «сумасшедшего дома» он не мог ей забыть. «Я там в самом деле чуть с ума не сошел. Вы, Галя, не знаете, это ведь ужас, когда кругом сумасшедшие. Один больной все время кричал, а другой все время повторял одни и те же фразы. Я думал, что я сам сойду с ума». Я пробовала объяснить, что она, очевидно, растерялась и сам он довел ее до такого поступка. «Да, она меня очень любила, и я знаю – любит. А какая она нежная была со мной, как мать. Она говорила, что я похож на ее погибшего сына. В ней вообще очень много нежности».

Во время этого разговора я решила спросить, любит ли он Дункан теперь. Может быть, он сам себя обманывает, а на самом деле мучится из-за нее. Надо сказать, что, когда мы бывали вдвоем, мы почти всегда умели по-хорошему и честно говорить правду. В такие минуты С. А. не мог врать. Бывало, задашь какой-либо вопрос, на который ему не хочется отвечать. При других он соврет не запнувшись. Разговаривая вот так, вдвоем, единственное, что он мог сделать, это смущенно и упрямо замотать головой и заявить: «Ну, нет. Этого я вам не скажу». Но врать не станет. У нас было какое-то внутреннее условие в таких случаях говорить совершенно правдиво и честно. Вот и сейчас помню, как после вопроса: «Сергей Александрович, слушайте, скажите по-честному, не так ли это?» – он или сразу прямо ответит, или задумается. И, глядя на него, видишь по глазам, что он сам внутрь себя смотрит, и разбирает, и прислушивается к себе и к вопросу, а потом, чуть вскинув голову (узнал, понял), прямо глядя в глаза, ответит. И я ни разу не помню, что <бы> на такой серьезно заданный вопрос он солгал. Знаю также: слегка нагнув голову и вслушиваясь, он иногда слушал собеседника, когда не мог понять, куда тот гнет, не мог схватить, к чему ведет разговор, и, поняв иногда на полуслове, вскидывал головой и дальше, случалось, уже не слушал совсем – главное понял.

Когда я сказала, что, быть может, он, сам того не понимая, любит Дункан и, быть может, оттого так мучается, что ему в таком случае не надо порывать с ней, он твердо, прямо и

отчетливо сказал: «Нет, это вовсе не так. Там для меня конец. Совсем конец. К Дункан уже ничего нет и не может быть». Повторил опять: «Да, страсть была, но все прошло. Пусто, понимаете, совсем пусто». Я рассказала ему все свои сомнения. «Галя, поймите же, что вам я верю и вам не стану лгать. Ничего там нет для меня. И спасаться оттуда надо, а не толкать меня обратно».

После этого разговора я поняла (не зная тогда мотивов), что Сахаров меня провоцировал.

Третий факт, вскоре после второго. Когда С. А. переехал ко мне, ключи от всех рукописей и вообще от всех вещей <он> дал мне, так как сам терял эти ключи, раздавая рукописи и фотографии, а что не раздавал, то у него тащили сами. Он же замечал пропажу, ворчал, ругался, но беречь, хранить и требовать обратно не умел. Насчет рукописей, писем и пр<очего> сказал, чтобы по мере накопления все ненужное в данный момент передавать на хранение Сашке (Сахарову). «У него мой архив, у него много в Питере хранится. Я ему все отдаю». С Сашкой он считался, как ни с кем из друзей, верил ему и его мнению. Вскоре, отобрав все, что можно было сдать в «архив», я отдала Сахарову. Но когда я хотела это сделать в следующий раз, С. А. сказал, что больше Сахарову ничего не давать и, наоборот, от Сашки надо все забрать и привезти сюда. Надо сказать, что в отношении стихов и рукописей распоряжения Е. были для меня законом. Я могла возражать ему, стараясь объяснить ту или иную ошибку, но если С. А. не соглашался с возражениями, то я всегда подчинялась и исполняла его распоряжения. Я считала, что он – хозяин такого дарования – вправе распоряжаться полновластно своими стихами и рукописями (я не говорю о последних месяцах, когда он за многое, даже за рукописи, уже не мог отвечать). Первое время моего знакомства, когда в только что написанных стихах я видела те или иные недочеты, я, правда, всегда говорила об этом, но сначала всегда приходилось преодолевать какую-то робость; вообще в эту область я вмешивалась очень осторожно. И С. А. привык прислушиваться к таким очень робким замечаниям и научился выпытывать у меня, что же именно мне не нравится. Почти всегда считался с такими замечаниями. Я всегда знала, что если духовно я лучше С. А., тверже, прямее и смелее его, то в человеческих отношениях я больше вижу, чем он, который, при всей его дьявольской хитрости, в сто раз наивнее меня. Поэтому во мне никогда не было почтительного преклонения перед ним как перед человеком (я не говорю о внешней уступчивости – считаться в этом плане, да еще при его состоянии, было бы мелочностью). Во всем остальном <я> чувствовала себя вполне

равной ему, но в области творчества я знала, что он стоит на другом конце лестницы. Правда, позже поняла, что теоретическое незнание этой области у меня покрывалось чутьем, и поэтому впоследствии вносила поправки куда смелее.

Ну, так вот, и здесь, хотя было бы удобнее сдавать все Сахарову, так как у нас приходилось хранить в чемодане, спорить не стала, указав только, что Сашка ведь очень обидится.

Кажется (в той суете, в которой мы тогда жили, трудно все точно запомнить), Сашка спрашивал про рукописи. Но я к этому времени уже научилась хитрить и под разными предлогами уклонилась от прямого ответа. Впоследствии пришлось настаивать, чтобы С. А. рукописи взял у Сахарова, так как они хранились даже незапертыми.

Четвертый случай. С. А. был на Кавказе. Встретилась на улице с Сахаровым, тот спрашивал про С. А.: как живет, пишет ли стихи и пр<очее>. Предложила зайти как-нибудь ко мне – покажу. Вскоре пришел, сначала веселый и приветливый. Прочитав стихи, которые ему очень понравились, он как-то померк. Посидел, поскулил на жизнь вообще и на то, что Сергей свинья, ему ни слова не написал, и очень скоро ушел. Приехал С. А. Сахаров ему говорит, что вот, мол, такой-сякой, сколько времени о тебе известий не было. С. А., не поняв, ответил: «Так ты б зашел бы сюда (разговор был у нас на Никитской). Здесь всегда все обо мне знают». Сахаров опять насупился и пробормотал что-то вроде: «Здесь-то здесь, а я ничего не знал». К этому времени он уже определенно невзлюбил меня. Когда С. А. начинал говорить обо мне как о друге и пр., Сахаров всегда иронически улыбался и молчал. Я тогда не задумывалась об отношении ко мне его приятелей, не приходило в голову как-то завоевывать их расположение к себе. Для меня было важно мое хорошее отношение к С. А., которое, как это редко в жизни бывает, было даже на деле доказано. Я сама к Сахарову относилась хорошо и, несмотря на тревогу за С. А., радовалась появлению Сахарова. Он, с присущим ему юмором, всегда вносил оживление.

Пятый. В деревне, на Троицу 1925 г., куда мы ездили на свадьбу двоюродного брата Е., после бесчисленных диких выходок Е., находившегося все эти дни в невменяемом состоянии (его первый раз в жизни видела таким самодуром, ни с кем и ни с чем в жизни не считающимся, совершенно распоясавшимся), я, Сахаров и Наседкин стали пробирать и отчитывать С. А. Я их раньше уговорила отругать его как следует. Обычно бывало так, что за его спиной возмущались его выходками, а при нем только посмеивались, невольно поощряя его. Я знала, что осуждение тех, кого он считал друзьями, и особенно мужчин, произведет на него

большее впечатление, нежели моя проборка. <Мы> ругались за издевательство над стариками, за то, что он всех заставляет жить только своей особой и пр<очее>. С. А., почти протрезвевший, был смущен, стал оправдывать<ся>. Тогда Наседкин, налив стаканы, заявляет: «Ну, будет, кончено, давайте выпьем за лучшего друга Сергея». Все берут стаканы, и я тоже, предполагая, что тост за Сахарова. Каким-то образом выясняется, что это за меня. Я невольно взглянула на Сахарова – у него передернулось лицо. Спас положение С. А., с обычной именно в таких случаях <проницательностью> понявший, что для Сашки это слишком. В его присутствии назвать лучшим другом кого-либо другого, да вдобавок еще женщину… «Нет, мой лучший друг – Сашка, он мой старый друг, и я пью за него».

Пустяк, ерунда. Но из этой ерунды выросла нелепая и доконавшая (С. А. весной 1925 г. был опять в очень тяжелом состоянии) его трагедия, вернее, трагикомедия. Начало сахаровского замысла вытекало отсюда. Остальное зависело от его хитрости, изворотливости и от знания слабых струн С. А. Сахаров был ревнив и завистлив, как обыкновенная маленькая женщина. Пока он был единственным (тщеславие ли, корысть ли к рукописному наследству или только чистая ревность – не знаю) – он мог оберегать Е. Но если С. А. <находился> на попечении кого-либо другого, Сахаров делал все, чтобы это попечение обанкротить. Он даже говорил, что в бытность в Питере он прекрасно сдерживал С. А., тот не пил и был совершенно здоровым. В Москве же Сахаров всегда возвращался с С. А. пьяным. Об отношении Сахарова я писала С. А., но не знаю, преувеличено ли там что-либо моей тревогой за него. Я и сейчас думаю, что все это правда.

Исключительная нежность, любовь и восхищение были у С. А. к беспризорникам.

Это запечатлелось в стихотворении «Русь бесприютная».

Характерный штрих. Идем утром по Тверской. Около Гнездниковского 8–10 беспризорников воюют с Москвой. Остановили мотоциклетку. В какую-то «барыню», катившую на лихаче, запустили комом грязи. Остановили за колеса извозчика, задержав таким образом автомобиль. Прохожие от них шарахают<ся>, торговки в панике, милиционер беспомощно гоняется за ними, но он один, а их много. «Смотрите, смотрите, – с радостными глазами кричит С. А., – да они все движение на Тверской остановили и никого не боятся. Вот это сила. Вырастут – попробуйте справиться с ними. Посмотрите на них: в лохмотьях, грязные, а все останавливают и опрокидывают на дороге. Да это ж

государство в государстве, а ваш Маркс о них не писал». И целый день всем рассказывал об этом государстве в государстве.

– Галя, приезжайте на Николаевский вокзал.
– Зачем?
– Я уезжаю.
– Уезжаете? Куда?
– Ну это… Приезжайте. Соня приедет.
– Знаете, я не люблю таких проводов.
– Мне нужно многое сказать вам.
– Можно было заехать ко мне.
– Ах… Ну, тогда всего вам хорошего.
– Вы сердитесь? Не сердитесь, когда-нибудь вы поймете.
– Ничего. Вы поймете тоже. Всего хорошего.
– Всего хорошего.
2/XI-25. 8 ч. вечера.

Причины:

1. Болезнь. Такое состояние, когда временами мутнеет в голове и все кажется конченым и беспросветным.

2. Полное одиночество – ни сестер (Катя была потеряна для него, а Шура ребенок), ни родителей (они ему чужие), ни жены (много женщин, и у них или своя жизнь, или неинтересны ему), ни друзей, ни (а это очень важно было Сергею) детей (они были не с ним).

3. Оторванность от жизни страны – только пилигрим, а не участник ее.

4. Житейские тяготы. Нужна квартира, ее нет. Нужны деньги – из-за них приходится мыкаться по редакциям. И при этом со всех сторон долги и со всех сторон требуют и требуются деньги: старикам, сестрам, Толстой; наконец, в это же время З<инаида> Н<иколаевна> потребовала на Танечку сразу 1000 рублей. А деньги в Госиздате приближались к концу; за 7 месяцев были уже получены, оставалось еще 4–5 месяцев. А дальше? Опять мытарства по журналам из-за построчного гонорара? Ведь в Госиздат продано все. Никаких книг больше он в течение 2 лет издавать не мог. А прожить на гонорар за новые вещи было трудно, да и вещей этих не было.

И тут же – некуда голову прислонить. Толстую не любил, презирал и, убедившись в этом, разошелся; своего дома нет. Жить по знакомым с его состоянием он не мог. И в конечном итоге – некуда деться.

Сел, подытожил, что ждет в будущем и ради чего можно принять это? Ради стихов, ради того, чтобы дать больше, чем

дано. А дал не то, что мог бы дать, об этом он сам сказал («Русь уходящая»). Наверстать и исправить в сложившихся условиях казалось невозможным. Не пить, при той жуткой опустошенности, не мог. Не было ни одной зацепки. И в этот момент инстинкт жизни уступил место воле к избавлению и покою.

Что ж, если целью были: слава, богатство и счастье, а это оказалось пустым делом, зачем тянуть дальше?

И вместе с тем – пройди эта ночь, быть может, несколько раз такие ночи могли повториться, но пройди они мимо, не останься он один, он мог бы еще прожить и выбраться из омута. Через 1–2 года он бы перебесился, успокоился, простившись с молодостью, как-то перебродив за эти 1–2 года, мог бы найти другие ценности в жизни.

Несомненно, мысли о конце у него не раз бывали. Взять хотя бы стихотворение:

Ну целуй меня, целуй,

Не в ладу с холодной волей
Кипяток сердечных струй.

Но было и другое:

Но, обреченный на гоненье,
Еще я долго буду петь…

Что такие моменты бывали, видно по стихам, но в них же видны и другие:

Мне пока умирать еще рано.
Ну, а если есть грусть – не беда!..

То же есть и в «В …..[48]

Нельзя все оценивать, подгоняя к случившемуся концу. Как и у всех – настроения чередовались, отчаяние и безразличие сменялись радостью. Во многих <стихах>, правда, есть грусть, но она не от отчаяния, а скорее от любви к жизни и невозможности примириться с сознанием, что все имеет свой предел, что, как ни радей, все равно оборвется.

Я знаю, я вижу, как он остался один в номере, сел и стал разбирать и мысли, и бумаги. Была острая безнадежность. И знаю

еще: уже оттолкнув тумбу, он опомнился, осознал, хотел вернуться и схватился за трубу. Было поздно. Мать (Т<атьяна> Ф<едоровна>) говорит – берег лицо – тогда бы он не держался за горячую трубу, а отталкивался бы об стену.

Мариенгоф был настоящим другом Сергею.

Как Крученых подлизывался к Сергею (это когда Крученых приехал в Москву).

Хорошим для С. был Марцел Рабинович (это Аня пусть запишет). (Как отнесся к помещению в санаторий на Полянке (17 декабря 1923 г., Б. Полянка, 52, угловая комната во двор, 2-й этаж), отвез в Шереметевскую больницу и вообще не тянул пить.)

Перед выходом из санатория на Полянке сказала С.: «Вы ничем мне не обязаны. Если вы почему-либо не хотите возвращаться ко мне на Никитскую – не бойтесь, скажите только прямо. Помните, что вы свободны, и я никак и никогда не посягну на вашу свободу».

* * *

<Последние полторы строки густо зачеркнуты и не поддаются прочтению.>

А. Л. Миклашевская
Встречи с поэтом

Сложное это было время, бурное, противоречивое… Во всех концах Москвы – в клубах, в кафе, в театрах – выступали поэты, писатели, художники, режиссеры самых разнообразных направлений. Устраивались бесчисленные диспуты. Было в них много и надуманного и нездорового.

Сложная была жизнь и у Сергея Есенина – и творческая и личная. Все навязанное, наносное столкнулось с его настоящей сущностью, с настоящим восприятием всего нового. И тоже и бурлило и кипело.

Познакомила меня с Есениным актриса Московского камерного театра Анна Борисовна Никритина, жена известного в то время имажиниста Анатолия Мариенгофа. Мы встретили поэта на улице Горького (тогда Тверской). Он шел быстро, бледный, сосредоточенный… Сказал: «Иду мыть голову. Вызывают в Кремль». У него были красивые волосы – пышные, золотые… На меня он почти не взглянул.

Это было в конце лета 1923 года, вскоре после его возвращения из поездки за границу с Дункан.

С Никритиной мы работали в Московском камерном театре. Нас еще больше объединило то, что мы обе не поехали с театром за границу: она потому, что Таиров не согласился взять визу и на Мариенгофа, я из-за сына.

С Никритиной мы были дружны и связаны новой работой. У них-то по-настоящему я и встретилась с Есениным. Он жил в этой же квартире.

В один из вечеров Есенин повез меня в мастерскую Коненкова. Обратно шли пешком. Долго бродили по Москве. Он был счастлив, что вернулся домой, в Россию. Радовался всему как ребенок. Трогал руками дома, деревья… Уверял, что все, даже небо и луна, другие, чем там, у них. Рассказывал, как ему трудно было за границей.

И вот наконец он все-таки удрал! Он – в Москве.

Целый месяц мы встречались ежедневно. Очень много бродили по Москве, ездили за город и там подолгу гуляли.

Была ранняя золотая осень. Под ногами шуршали желтые листья…

– Я с вами как гимназист… – тихо, с удивлением говорил мне Есенин и улыбался.

Часто встречались в кафе поэтов «Стойло Пегаса» на

Тверской, сидели вдвоем, тихо разговаривали. Есенин трезвый был очень застенчив. На людях он почти никогда не ел. Прятал руки, они казались ему некрасивыми.

Много говорилось о его грубости с женщинами. Но я ни разу не почувствовала и намека на грубость.

Все непонятнее казалась мне дружба Сергея Есенина с Анатолием Мариенгофом. Такие они были разные.

– Анатолий все сделал, чтобы поссорить меня с Райх (жена Есенина). Уводил меня из дому, постоянно твердил, что поэт не должен быть женат: «Ты еще ватные наушники надень». Развел меня с Райх, а сам женился и оставил меня одного… – жаловался Сергей.

Очень не нравились мне и многие другие «друзья», окружавшие его. Они постоянно твердили ему, что его стихи, его лирика никому не нужны. Прекрасная поэма «Анна Снегина» вызывала у них иронические замечания: «Еще нянюшку туда – и совсем Пушкин!» Они знали, что Есенину больно думать, что его стихи не нужны. И «друзья» наперебой старались усилить эту боль.

«Друзей» устраивали легендарные скандалы Есенина. Эти скандалы привлекали любопытных в кафе и увеличивали доходы.

Трезвый Есенин им был не нужен. Когда он пил, вокруг него все пили и ели на его деньги.

Как-то сидели в отдельном кабинете ресторана «Медведь» Мариенгоф, Никритина, Есенин и я.

Он был какой-то притихший, задумчивый…

– Я буду писать вам стихи.

Мариенгоф смеялся:

– Такие же, как Дункан?

– Нет, ей я буду писать нежные…

Первые стихи, посвященные мне, были напечатаны в «Красной ниве»:

Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали.
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.

Есенин позвонил мне и с журналом ждал меня в кафе.

Я опоздала на час, задержалась на работе. Когда я пришла, он впервые при мне был нетрезв. И впервые при мне был скандал.

Есенин торжественно подал мне журнал. Мы сели. За соседним столом что-то громко сказали по поводу нас. Поэт вскочил. Человек в кожаной куртке схватился за наган. К

удовольствию окружающих, начался скандал…

Казалось, с каждым выкриком Есенин все больше пьянел. Вдруг появилась сестра его Катя. Мы обе взяли его за руки. Он посмотрел нам в глаза и улыбнулся. Мы увезли его и уложили в постель. Я была очень расстроена. Да что там! Есенин спал, а я сидела над ним и плакала. Мариенгоф «утешал» меня:

– Эх вы, гимназистка! Вообразили, что сможете его переделать! Это ему не нужно!

Я понимала, что переделывать его не нужно! Просто надо помочь ему быть самим собой. Я не могла этого сделать. Слишком много времени приходилось тратить, чтобы заработать на жизнь моего семейства.

О моих затруднениях Есенин ничего не знал. Я зарабатывала концертами.

Мы продолжали встречаться, но уже не каждый день. Начались репетиции в театре «Острые углы».

Чаще всего встречались в кафе, каждое новое стихотворение он тихо читал мне.

В стихотворении «Ты такая ж простая, как все…» больше всего самому Есенину нравились строчки:

Что ж так имя твое звенит,
Словно августовская прохлада?..

Он радостно повторял их.

Как-то сидели Есенин, я и С. Клычков. Есенин читал только что напечатанные стихи:

Дорогая, сядем рядом,
Поглядим в глаза друг другу.
Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную вьюгу.

С. Клычков похвалил, но сказал, что они заимствованы у какого-то древнего поэта. Есенин удивился: «Разве был такой?» А минут через десять стал читать стихи этого поэта и хитро улыбался. Он знал этого поэта наизусть. Есенин очень хорошо знал литературу, поэзию. С большой любовью говорил о Лескове, о его замечательном русском языке. Взволнованно говорил о засорении русского языка, о страшной небрежности к нему в те годы. Он был очень образованным человеком, и мне было непонятно, когда и как он стал таким, несмотря на свою сумбурную жизнь.

Третьего октября 1923 года, в день рождения Есенина, я зашла к Никритиной. Мы все должны были идти в кафе. Но еще накануне Есенин пропал, и его везде искали. В. Шершеневич случайно увидел его на извозчике и привез домой. Сестра Катя увела его, не показывая нам.

Он объяснял свое исчезновение тем, что «мама мучалась еще накануне с вечера».

Читая «Роман без вранья» Мариенгофа, я подумала, что каждый случай в жизни, каждый поступок, каждую мысль можно преподнести в искаженном виде.

И вспомнилось мне, как в день своего рождения вымытый, приведенный в порядок после бессонной ночи Есенин вышел к нам в крылатке и широком цилиндре, какой носил Пушкин. Вышел – и сконфузился. И было в нем столько милого, детского. И ничего кичливого, заносчивого.

Взял меня под руку, чтобы идти, и тихо спросил: «Это очень смешно? Но мне так хотелось хоть чем-нибудь быть на него похожим».

За большим, длинным столом сидело много разных его друзей, и настоящих и мнимых. Мне очень хотелось сохранить Есенина трезвым на весь вечер, и я предложила всем желающим поздравить Есенина чокаться со мной: «Пить вместо Есенина буду я!»

Это всем понравилось, а больше всего самому Есенину.

Он остался трезвым и очень охотно помогал мне незаметно выливать вино.

В театре «Острые углы» я играла в инсценированном рассказе О. Генри «Кабачок и роза». Я сыграла женщину, абсолютно непохожую на меня в жизни. За кулисы Есенин прислал корзину цветов и маленькую записочку: «Приветствую и желаю успеха. С. Есенин. 27.X.23 г.».

Очень не понравился мне самый маститый его друг – Клюев. По просьбе Есенина он приехал в Москву. Когда мы пришли в кафе, Клюев уже ждал нас с букетом. Встал навстречу. Волосы прилизанные. Весь какой-то ряженый, во что-то играющий. Поклонился мне до земли и заговорил елейным голосом. И опять было непонятно, что было общего у них, как непонятна и дружба с Мариенгофом. Такие они оба были ненастоящие.

И оба они почему-то покровительственно поучали Сергея, хотя он был неизмеримо глубже, умнее их. Клюев опять говорил, что стихи Есенина сейчас никому не нужны. Это было самым страшным, самым тяжелым для Сергея, и все-таки Клюев продолжал твердить о ненужности его поэзии. Договорился до того, что, мол, Есенину остается только застрелиться. После

встречи со мной Клюев долго уговаривал Есенина вернуться к Дункан.

Есенин познакомил меня с Михаилом Кольцовым, Литовским и его женой, с Борисовым. Встречи с ними всегда были интересными и носили другой характер, чем встречи с его «друзьями».

В один из свободных вечеров большой компанией сидели в кафе Гутман, Кошевский и актеры, работавшие со мной. Есенин был трезвый, веселый. Разыскивая меня, пришел отец моего сына. Все его знали и усадили за наш стол. Через секунду Есенин встал и вышел.

Вскоре он вернулся с огромным букетом цветов. Молча положил мне на колени, приподнял шляпу и ушел.

Через несколько дней опять сидели в кафе. Ждали Есенина, но его все не было.

Неожиданно он появился, бледный, глаза тусклые… Долго всех оглядывал. В кафе стало тихо. Все ждали, что будет.

Он чуть улыбнулся, сказал: «А скандалить пойдем к Маяковскому». И ушел.

А. Л. Миклашевская

Я знала, что Есенина все больше и больше тянет к Маяковскому, но что-то еще мешает им сблизиться.

С Маяковским я встречалась раза три, почти мельком. Но у меня осталось чувство, что он умеет внимательно и доброжелательно следить за человеком. В жизни он был другой, чем на эстраде.

Я жила в комнате вдвоем с сыном. Как-то вечером сидела у

себя на кровати и что-то шила. В дверь постучали, и вошел Маяковский (он был в гостях у соседей). Попросил разрешения поговорить по телефону.

– Вы – Миклашевская?

– Я.

– Встаньте, я хочу посмотреть на вас.

Он сказал это так просто, серьезно, что я спокойно встала.

– Да… – сказал он.

Поговорил немного о театре и так, не дотронувшись до телефона, ушел. И хотя он ни словом не обмолвился о Есенине, я понимала, что интересовала его только потому, что мое имя было как-то связано с именем Есенина.

Маяковский думал о нем. Его волновала судьба Есенина.

Второй раз, увидев меня в антракте на каком-то спектакле, подошел, поздоровался и сказал:

– Дома вы гораздо интересней. А так я бы мог пройти и не заметить вас.

Режиссер Н. М. Фореггер предложил мне за какой-то соблазнительный паек участвовать в его концертах в Доме печати на Никитском бульваре. Приготовил со мной акробатический танец. Когда я вышла на сцену в розовой пачке, я увидела Маяковского. Он стоял облокотившись на эстраду. У него были грустные глаза. Я танцевала и чувствовала, что ему жалко меня. Кое-как закончив свой злосчастный танец, я сказала Фореггеру: «К черту твой паек! Больше выступать я не буду».

По совету Мариенгофа и Никритиной (я об этом не знала) Есенин хотел меня устроить в театр Мейерхольда. Очень возбужденный пришел к Всеволоду Эмильевичу и заявил: «Если не примешь Миклашевскую, буду бить». И хотя Мейерхольд всегда неплохо говорил обо мне как об актрисе, я не смогла пойти к нему разговаривать о работе. Я очень была огорчена тем, что оказалась вне театра.

Мы встречались с Есениным все реже и реже.

Увидев меня однажды на улице, он соскочил с извозчика, подбежал ко мне.

– Прожил с вами уже всю нашу жизнь. Написал последнее стихотворение:

Вечер черные брови насопил.
Чьи-то кони стоят у двора.
Не вчера ли я молодость пропил?
Разлюбил ли тебя не вчера?

Как всегда, тихо прочитал все стихотворение и повторил:

Встречали Новый год у актрисы Лизы Александровой: Мариенгоф, Никритина, Соколов (в то время – актер Камерного театра). Позвонила Дункан. Звала Лизу и Соколова приехать к ней. Лиза ответила, что приехать не могут:

– Мы не одни, а ты не захочешь к нам приехать – у нас Миклашевская.

– Миклашевская? Очень хочу! Сейчас приеду!

Я впервые увидела Дункан близко. Это была очень крупная женщина, хорошо сохранившаяся. Я, сама высокая, смотрела на нее снизу вверх. Своим неестественным, театральным видом она поразила меня. На ней был прозрачный бледно-зеленый хитон с золотыми кружевами, опоясанный золотым шнуром с золотыми кистями, на ногах – золотые сандалии и кружевные чулки. На голове – зеленая чалма с разноцветными камнями. На плечах – не то плащ, не то ротонда, бархатная, зеленая. Не женщина, а какой-то очень театральный король.

Она смотрела на меня и говорила:

– Есенин в больнице, вы должны носить ему фрукты, цветы!.. – И вдруг сорвала с головы чалму. Произвела впечатление на Миклашевскую – теперь можно бросить!.. И чалма полетела в угол.

После этого она стала проще, оживленнее. На нее нельзя было обижаться: так она была обаятельна.

– Вся Европа знайт, что Есенин был мой муш, и вдруг первый раз запел про любоф – вам, нет, это мне! Там есть плохой стихотворень: «Ты такая ж простая, как все…» Это вам!

Болтала она много, пересыпая французские фразы русскими словами, и наоборот. То как Есенин за границей убегал от нее. То как во время ее концертов (напевает Шопена), танцуя, она прислушивалась к его выкрикам, повторяя с акцентом русские ругательства. То как белогвардейские офицеры – официанты в ресторане – пытались упрекать его за то, что он, русский поэт, остался с большевиками. Есенин резко одернул их: «Вы здесь находитесь в качестве официантов! Выполняйте свои обязанности молча».

Уже давно пора было идти домой, но Дункан не хотела уходить. Стало светать. Потушили электричество. Серый, тусклый свет все изменил. Айседора сидела согнувшаяся, постаревшая и очень жалкая.

– Я не хочу уходить, мне некуда уходить… У меня никого нет… Я одна…

Есенин уехал в Баку. Я выезжала со спектаклями и концертами в разные подмосковные города. Сезон 1924/25 года работала в Московском театре сатиры.

Есенин прислал с поэтом Приблудным «Москву кабацкую» с автографом: «Милой Августе Леонидовне со всеми нежными чувствами, выраженными здесь». В сборнике было напечатано семь стихотворений, собранных в цикл «Любовь хулигана», с посвящением мне.

Приблудный надолго задержал книгу. Галя Бениславская заставила его принести ее и потом приходила проверить. Приблудный извинялся, что присланное мне письмо он передал Толстой. Так я и не получила письма.

Третьего октября 1924 года меня разбудили в восемь часов утра. Пришел Есенин. Мы уже встречались очень редко, но тревога за него была еще сильней. Он стоял бледный, похудевший.

– Сегодня день моего рождения. Вспомнил этот день прошлого года и пришел к вам… поздравить… Меня посылают в Италию. Поедемте со мной. Я поеду, если вы поедете.

Вид у него был измученный, больной. Голос – хриплый.

Мы шли по улице, и у нас был нелепый вид. У него на затылке цилиндр (очевидно, опять надел ради дня рождения), на одной руке – лайковая перчатка, и я – с непокрытой головой, в накинутом на халат пальто, в туфлях на босу ногу. Но он перехитрил меня. Довел до цветочного магазина, купил огромную корзину хризантем и отвез домой.

– Извините за шум. – И ушел неизвестно куда.

Уезжая в 1922 году за границу, Есенин просил Мариенгофа позаботиться о сестре Кате: выдавать ей деньги – пай Есенина в кафе поэтов и в книжной лавке на Никитской. Мариенгоф не выполнил обещания. Когда Есенин узнал об этом, они поссорились. И все-таки, когда Мариенгоф с Никритиной были за границей и долго не возвращались, Есенин пришел ко мне и попросил: «Пошлите этим дуракам деньги, а то им не на что вернуться. Деньги я дам, только чтобы они не знали, что это мои деньги».

Подолгу пропадал и опять появлялся. Неожиданно, окруженный какими-то людьми, приходил за кулисы на репетиции. Смирно сидел. Чаще – все бросали репетировать и просили его читать стихи.

Опять приехал ко мне на Никитскую и повез меня куда-то, за кем-то мы заезжали и ехали дальше, куда-то на окраину Москвы. Сидели в комнате с низким потолком, с небольшими окнами. Как сейчас вижу: стол посреди комнаты, самовар. Мы сидели вокруг

стола. На окне сидела какая-то женщина, кажется, ее звали Анна. Есенин стоял у стола и читал свою последнюю поэму – «Черный человек».

Он всегда хорошо читал свои стихи, но в этот раз было даже страшно. Он читал так, будто нас никого не было и как будто «черный человек» находился здесь, в комнате.

Я видела, как ему трудно, плохо, как он одинок. Понимала, что виноваты и я, и многие ценившие и любившие его. Никто из нас не помог ему по-настоящему.

В последний раз я видела Есенина в ноябре 1925 года, перед тем как он лег в больницу.

Был болен мой сын. Я сидела возле его кроватки. Поставила ему градусник и читала вслух.

Вошел Есенин и, когда увидел меня возле моего сына, прошел тихонько и зашептал:

– Я не буду мешать…

Сел в кресло и долго молча сидел, потом встал, подошел к нам.

– Вот все, что мне нужно, – сказал шепотом и пошел.

В дверях остановился:

– Я ложусь в больницу, приходите ко мне.

Я ни разу не пришла. Думала, там будет Толстая…

О смерти Есенина мне позвонили по телефону.

Всю ночь мне казалось, что он тихо сидит у меня в кресле, как в последний раз сидел.

Помню, как из вагона выносили узкий желтый гроб, как мы шли за гробом.

И вдруг за своей спиной я услышала голос Клычкова:

– Ты видел его после больницы?

– Я встретил его на вокзале, когда он ехал в Питер. Ох и здорово мы выпили!

Мне хотелось ударить его.

Когда я шла за закрытым гробом, казалось, одно желание было у меня – увидеть его волосы, погладить их. И когда потом я увидела вместо его красивых, пышных, золотых волос прямые, гладко причесанные, потемневшие от глицерина волосы (смазали, снимая маску), мне стало его безгранично жалко.

Есенин был похож на измученного, больного ребенка. Все время, пока гроб стоял в Доме печати на Никитском бульваре, шли гражданские панихиды. Качалов читал стихи. Зинаида Райх обнимала своих детей и кричала: «Ушло наше солнце». Мейерхольд бережно обнимал ее и детей и тихо говорил: «Ты обещала, ты обещала…»

Мать Есенина стояла спокойно, с каким-то удивлением

оглядывая всех. В день похорон нашли момент, когда не было чужих, закрыли двери, чтобы мать могла проститься как ей захочется.

После похорон начались концерты, посвященные Есенину. В Художественном театре пел Собинов, читал стихи Качалов.

Но потом пошла спекуляция на смерти Есенина. Очень уговаривали и меня выступать на этих концертах. Читать стихи, посвященные мне. Я, конечно, отказалась. Но устроители все-таки как-то поместили мою фамилию на афише.

В день концерта Галя Бениславская привела ко мне младшую сестру Есенина – Шуру, почти девочку. Ей тогда, наверно, не было и пятнадцати лет. Галя сказала, что Шура хочет идти на концерт послушать, как я буду читать.

– Я не хочу, чтобы Шура ходила на эти концерты. Вот я и привела ее к вам, чтобы вы почитали ей здесь.

– Галя, я не буду читать на концерте. Я не поеду.

Как просияла Галя, как вся засветилась!

…Вскоре после смерти Есенина я уехала работать в Брянский театр.

<1939>

Ш. Н. Тальян
Воспоминания

Как-то в декабре 1924 года я вышла из школы и направилась домой. На углу я заметила молодого человека выше среднего роста, стройного, русоволосого, в мягкой шляпе и в заграничном макинтоше поверх серого костюма. Бросилась в глаза его необычная внешность, и я подумала, что он приезжий из столицы.

…В Батуме я снимала одну комнату вместе с сестрой Катей, 23-летней девушкой, тоже учительницей. Нашей непосредственной соседкой была массажистка Елизавета Васильевна Иоффе, которая дружила с нами, особенно с Катей. Она знакома была с Повицким, журналистом.

В тот же день вечером Иоффе ворвалась к нам в комнату со словами: «Катра, Катра, известный русский поэт хочет познакомиться с нашей Шаганэ». Есенин с Повицким были в это время у нее. Мы пошли. От нас и гостей в крохотной комнатке Иоффе стало невозможно тесно. После того как мы познакомились, я предложила всем идти гулять в парк. Больше подробностей этой первой встречи я не могу вспомнить.

На следующий день Есенин с Повицким опять зашли и предложили нам принять участие в литературном вечере, где мы могли бы встретить и других их знакомых. Вечер должен был состояться на квартире Повицкого, в которой жил и Есенин. Мы решили прийти.

…На следующий день, уходя из школы, я опять увидела его на том же углу. Было пасмурно, на море начинался шторм. Мы поздоровались, и Есенин предложил пройтись по бульвару, заявив, что не любит такой погоды и лучше почитает мне стихи. Он прочитал «Шаганэ ты моя, Шаганэ…» и тут же подарил мне два листка клетчатой тетрадочной бумаги, на которых стихотворение было записано. Под ним подпись: «С. Есенин».

Есенин прочитал еще два стихотворения, которые, как он пояснил, были написаны им в Тифлисе («Улеглась моя былая рана…», «Я спросил сегодня у менялы…»). Конечно, я задала ему тут же вопрос: кто же такая Лала? Он ответил, что это имя вымышленное. Тогда я не поверила, но много лет спустя поняла, что это было правдой.

В одну из последующих наших встреч, которые теперь происходили почти ежедневно, он прочитал новое стихотворение «Ты сказала, что Саади…».

…Когда Есенин встречал меня в обществе других мужчин,

например моих коллег-преподавателей, то подходил сам, знакомился с ними, но уходил обязательно со мной.

Всегда приходил с цветами, иногда с розами, но чаще с фиалками. Цветы сам очень любил.

4 января он принес книжку своих стихов «Москва кабацкая» (Ленинград, 1924 г.), с автографом, написанным карандашом: «Дорогая моя Шаганэ, Вы приятны и милы мне. С. Есенин. 4.I.25 г., Батум».

Вместе с книжкой он принес фотографию, на которой на берегу моря запечатлены он, Повицкий и еще двое незнакомых мне мужчин, с написанным на обороте стихотворением «Ты сказала, что Саади…». Над стихотворением была надпись: «Милой Шаганэ», а под стихотворением подпись: «С. Есенин». Текст стихотворения состоял из четырех строф, как в первой публикации его.

…Есенин интересовался нашей национальной поэзией. Соседи имели «Антологию армянской поэзии» в переводах Брюсова, и Сергей Александрович, бывая у нас, нередко просил принести эту книгу и читал ее. Особенно живой интерес проявил он к Чаренцу и, узнав, что последний будет в Батуме, нетерпеливо ждал его и часто спрашивал: «Ну что, не приехал ваш Чаренц?» Но Чаренц прибыл в Батум после отъезда Есенина в Москву.

Шаганэ Тальян

Есенин был добрым, чутким человеком. Тогда нередко встречались беспризорные, и, бывало, ни одного из них не оставлял без внимания: остановится, станет расспрашивать, откуда, как живет, даст ребенку денег, приласкает. В такие минуты он вспоминал свое детство, говорил, что вот он тоже был когда-то ребенком, беспечно резвился и бегал. Однажды, увидев беспризорных ребятишек, Есенин сказал мне приблизительно так: «Вот, Шаганэ, там и Пушкин, и Лермонтов, и я».

Однажды в конце декабря шел сильный снег – явление очень редкое в Батуме. На второй день Есенин приехал к нам на санях, оживленный, веселый, и мы отправились кататься по Махинджаурской дороге. Мы впервые ехали на санях, и, наверное, Есенин хотел показать нам, мне и сестре, всю прелесть этой езды. На полдороге он, извинившись, попросил разрешения сесть на козлы: гнал коня, смеялся, веселясь как ребенок. Потом говорил, что ему нравятся лошади, запах навоза.

Животных он действительно любил. Увидит бездомную собаку, купит для нее булку, колбасу, накормит и приласкает. Глаза его в это время становились особенно ласковыми и добрыми. У Повицкого была собака, которую Есенин часто ласкал.

…Сергей Александрович любил приходить по вечерам, пить чай с мандариновым вареньем, очень понравившимся ему. Когда я отсылала его писать стихи, он говорил, что уже достаточно поработал, а теперь отдыхает. Если он не встречался со мною на улице, то непременно приходил к нам домой.

Как-то я заболела, а сестра уходила на службу. Все три дня, пока я болела, Сергей Александрович с утра являлся ко мне, готовил чай, беседовал со мной, читал стихи из «Антологии армянской поэзии». Содержание этих разговоров мне не запомнилось, но можно отметить, что они были простыми, спокойными.

Есенин взял себе на память мою фотографию, причем он сам ее выбрал из числа других.

Это снимок 1919 года. Я снята в гимназической форме. На обороте карточки я своей рукой сделала надпись.

В другой раз он сказал мне, что напечатает «Персидские мотивы» и поместит мою фотографию. Я попросила этого не делать, указав, что его стихи и так прекрасны и моя карточка к ним ничего не прибавит.

…Незадолго до отъезда он все чаще и чаще предавался кутежам и стал бывать у нас реже.

Вечером, накануне отъезда, Сергей Александрович пришел к нам и объявил, что уезжает. Он сказал, что никогда меня не забудет, нежно простился со мною, но не пожелал, чтобы я и сестра его провожали. Писем от него я также не получала.

С. А. Есенин есть и до конца дней будет светлым воспоминанием моей жизни.

А. А. Берзина (Берзинь) Воспоминания

Приходилось ли вам терять своих близких, а потом, спустя много лет, вдруг отчетливо услышать голос ушедшего, и так ясно, со всеми привычными интонациями, с упреком, усмешкой, лаской… О, как этот голос живо напомнит вам все, что вы утратили. И вот встанет перед вами и сам человек, и все, что он делал, и вспомнишь свое отношение к этому человеку, вспомнишь ту, давно ушедшую, минуту.

Ты вновь увидишь воочию свою молодость, обретешь свои силы, радость, уверенность, и опять, как прежде, почувствуешь себя дерзновенным… Тогда хочется продлить эти отошедшие в прошлое минуты, и тогда хочется вспоминать, плакать и смеяться, чтобы, насладившись всем, опять забыть на какое-то время…

Сейчас трудно рассказать о том, когда и как поняла, что на пути встал замечательный поэт. Всегда казалось, что не очень люблю поэзию и плохо в ней разбираюсь, однако стихи Сергея Александровича запоминались сразу, без видимых усилий.

Было уже не смешно, что Сергей Есенин носит цилиндр, что он любит выфрантиться, он уже потерял нелепость в своем пустопорожнем, почти маскарадном костюме. Не замечаешь смешные, претенциозные стороны, не раздражают его причуды. Ему хочется, и пусть. Ему доставляет удовольствие такой маскарад – пусть рядится, он доволен, и это – главное…

Улыбка у Есенина была светлая, притягательная, а смех – детский, заразительный. Когда Сергей Александрович смеялся, окружающим хотелось мягко и нежно улыбаться, будто глядишь на проказы милого и счастливого ребенка.

Он сам больше всех радовался разным выходкам и незатейливым анекдотам, которыми он широко делился с каждым, но был ненадоедлив, а просто весел, и в своей веселости – щедрым.

Надо точно припомнить, как началась влюбленность в него, как постепенно, утрачивая нежность, радость, она переходила в другое, более сильное чувство…

В мою жизнь прочно вошла вся прозаическая и тяжелая изнаночная сторона жизни Сергея Александровича. О ней надо подробно и просто рассказать, так, чтобы стало ясно, как из женщины, увлеченной молодым поэтом, быстро минуя влюбленность, я стала товарищем и опекуном, на долю которого

досталось много нерадостных минут, особенно в последние годы жизни Сергея Александровича. Это очень трудно, и большая ответственность ложится на мои, не очень теперь сильные, плечи. Но будем надеяться, что во все время работы, хоть изредка, пусть на мгновение прозвучит голос, смех… и это видение воскресит ушедшее.

* * *

На Тверской, между Большим и Малым Гнездниковскими переулками, открылось кафе «Стойло Пегаса». Организаторами и владельцами являлась группа поэтов-имажинистов, во главе которой стоял Сергей Есенин.

Москва времен нэпа ни в какой мере не была похожа на старую, дореволюционную Москву и не была похожа на Москву, которую мы оставляли в 1918 году, уезжая на Восточный фронт. Надо сказать, что Москва никогда чистотой не отличалась, а в те годы она была засыпана подсолнечной шелухой, какими-то бумажками, просто мусором, в котором преобладала чешуя и шкурки от сухой воблы. Дома выглядели неряшливо, многие подъезды были забиты досками и фанерой. По центральным улицам стадами бродили разряженные в пух и прах люди, в которых никто и никогда не признал бы москвичей. Именно разряженные, потому что чувствовалось, что весь туалет выставляется напоказ, чтобы все видели, скажем, манто меховое и мех дорогой, туфли новые и тоже дорогие, даже серьги, большие и блестящие, казались вынутыми из чужих ушей и вдеты в мочку, чтобы не украшать, а блестеть и лезть в глаза. Тогда в первый раз увидели такие серьги на улице. Прежде их надевали в театр, на вечер, к соответствующему платью, прическе, к тому или иному стильному туалету. Кажется, мелочь, но она била в глаза, раздражала, удивляла безвкусием, будто человек надел на себя все, что имел, и части его костюма кричали разноголосо, не попадая в тон. Все носило случайный характер. Не стоит останавливаться на мелочах, на негармоничной пестроте толпы и отдельных, почти гротесковых фигурах. Позже мы видели очень удачное их изображение в театре В. Э. Мейерхольда.

По вечерам эта толпа развлекалась. Были открыты рестораны, всякие кафе: почти на каждой улице были свои «Чашки чая». В этих кафе подвизались незадачливые и постаревшие актрисы, просто «актрисочки», девушки непременно из «бывших хороших семейств», будто хорошее перестает быть хорошим после революции. (Мне до сих пор не удалось постичь слово «бывшие»

применительно к понятиям «хороший» и «большой». До сих пор мы слышим: «бывший большой человек» или «бывшая хорошая семья» – разве от того или иного события настоящий большой человек перестает им быть или настоящая хорошая семья становится плохой?)

Самое страшное, что было в этой толпе, отчего просто хотелось плакать, – это их речь, разговор. Они первые начали коверкать наш милый московский говор. Эти дикари, играющие в культурных людей, будто только овладевали языком нашей страны, вводя хлесткие, но какие-то наглые голые слова: шамать, бузить, на большой, чинарики… (Отсюда, я думаю, выросли и ублюдки слова – ничего и все выражающие – современные излюбленные слова нашей «модной» молодежи: мощь, фирменно, чувак и т. д.)…

Жили мы тогда в Б. Гнездниковском переулке, в большом, самом высоком доме, на шестом этаже. В подвале этого дома помещался театр Балиева «Летучая мышь», а позже на основе этого театра зародился Советский театр сатиры. Мы были частыми посетителями этого театра и дружили с некоторыми актерами, в частности с Иваном Зениным. Непринужденность и милая внешность, простота Ивана Ивановича Зенина делали его приятным гостем и товарищем, а молодость позволяла называть его просто Ванечка.

В один из вечеров, после спектакля, Иван Иванович предложил пойти в кафе «Стойло Пегаса». Перед глазами тотчас встали два поэта: Есенин и Мариенгоф. Оба они, по не известной никому причине, ходили по Тверской и прилегавшим к ней переулкам в цилиндрах, Есенин даже в вечерней накидке, в лакированных туфлях. Белые шарфы подчеркивали их нелепо бальный вид. Эти два молодых человека будто не понимали, как неестественно выглядят они на плохо освещенных, замусоренных улицах, такие одинокие в своем франтовстве, смешные в своих претензиях на светскую жизнь, явно подражая каким-то литературным героям из французских романов. Есенин ходил слегка опустив голову, цилиндр не шел к его кудрявым волосам, к мелким, женственным чертам его лица.

Представив себе эту пару, почему-то идти в «Стойло Пегаса» не хотелось, но Зенин так уговаривал, читал незнакомые стихи, – пришлось согласиться, и, благо кафе помещалось за углом, через пять минут сидели за одним из столиков. Народу было много. В левом углу, наискось от входной двери, находилась «ложа имажинистов», просто-напросто угловой диван и перед ним стол больших размеров, кажется круглый, а напротив двери возвышалась небольшая эстрада.

В ложе сидели Мариенгоф, Есенин, Шершеневич и пышноволосая молодая женщина.

Столы обходил официант с листом бумаги, на котором все присутствующие расписывались.

Официант положил листок перед Зениным, и Иван Иванович что-то написал и передал листок официанту. Тот, взяв листок, направился к другому столику, но Есенин, поднявшись с дивана, остановил официанта и, взяв у него листок, просмотрел его, потом, отдав листок, подошел к нашему столику.

– Что же вы, Ванечка, не познакомили меня с вашей женой? – обратился он к Зенину.

Зенин смутился, так как он, шутки ли ради или не желая назвать мою фамилию, зная мое отрицательное отношение к организаторам этого кафе, написал на листке: «супруги Зенины». Все это выяснилось позже, а тут, естественно, я вспылила и очень резко ответила:

– Во-первых, не супруги, во-вторых, меня удивляет ваша бесцеремонность, вы подходите к столу, куда вас вовсе не приглашали.

Есенин удивленно посмотрел на меня, отступая к ложе, несколько раз проговорил:

– Простите, простите, пожалуйста!

Зенина задела моя резкость, и он доказывал, что во всем виноват он, что его глупая шутка послужила поводом к такому неприятному инциденту, и предложил уйти из кафе. Но уж тут заартачилась я:

– Разве это все, что показывают в этом кафе?

На соседних столиках никто не обратил на все происшедшее никакого внимания, разговаривали мы тихо, а в кафе стоял уже гул, так как все столики были уже заняты, а в дверях толпились опоздавшие.

Зенин насупился, разговор у нас с Иваном Ивановичем не клеился. Мне оставалось только рассматривать публику, очень разношерстную и довольно крикливую во всех отношениях.

Наконец, на эстраду поднялся Шершеневич и объявил, что у Есенина болит горло, а потому его стихи будет читать артист Камерного театра по фамилии (кажется) Юдин. На подмостки легко поднялся худощавый, темноволосый человек и стал читать стихи Есенина «Исповедь хулигана». С первых же слов стихи понравились, мне было странно, что их писал этот бледнолицый, синеглазый человек, который покусывал довольно красивые, несколько тонкие губы, искоса посматривая, чуть прищурившись, в нашу сторону.

Когда Юдин кончил читать, я прямо посмотрела в глаза

Есенина, спрашивая взглядом:

«Неужели это написали вы?»

Он улыбнулся и вдруг кивнул головой. Он понял вопрос. Меня это удивило и почему-то расстроило, было жалко, что обидела этого большого ребенка, который пишет душевные и чистые стихи.

Конца вечера мы ждать не стали и вышли из кафе. Зенин молчал всю дорогу, и хоть была она очень коротка, все же молчание его было непривычно.

На другой день с утра, потом на работе, а позже, возвращаясь из Госиздата, проходя мимо кафе, я очень остро ощущала недовольство и жалела о поспешных резких словах.

К вечеру решила, что непременно вместе с Иваном Ивановичем пойду в кафе и постараюсь загладить свой поступок. Но, к удивлению, Ванечка наотрез отказался идти в кафе – куда угодно, только не туда!

И вот вечером, сидя у себя дома, я все же решила пойти в кафе, а так как одной идти было неудобно, вызвала по телефону знакомую молодую женщину, которая готова была в любую минуту пойти со мной куда угодно. Я ей не объясняла, почему я хочу пойти и именно туда.

В кафе мы пришли раньше, чтобы занять удобный столик в углу, откуда хорошо была видна ложа, но сами мы были не на виду. Публики подходило все больше, и вот уже заняты все столики, а Есенин все еще не появлялся. Но вот и он, в компании с неизменным Мариенгофом, Шершеневичем и неизвестными молодыми людьми. Они все расположились в ложе.

Кто и что читали в этот вечер, я совершенно не помню. Знаю, что Есенин не выступал. К концу вечера я попросила Ольгу, свою спутницу, подойти к Сергею Александровичу и сказать, что его просят к столику в углу. Ольга, несколько растерявшись от неожиданного поручения, все же храбро выполнила его и, в сопровождении Есенина, направилась в мою сторону. Есенин же, поняв, куда ведет его Ольга, вдруг остановился, нахмурился и быстро проговорил что-то, повернулся и пошел назад к ложе.

Ольга с пылающими щеками села за столик и сказала:

– Он велел передать, что никогда, ни за что с вами знакомиться не будет!

Мы вышли из кафе. Накрапывал дождь. Ольга, усмехаясь, сказала:

– Так вам и надо. Очень уж вы самоуверенны. Так вот все по первому вашему зову с готовностью побегут знакомиться с вами!.. Молодец Есенин, право слово, молодец!

У меня и без того было скверно на душе, а тут она со своими

высказываниями.

– Вы ничего не знаете, Ольга, и молчите.

– Пусть не знаю, а все равно он – молодчина.

– Хорошо! Идите, Ольга, ко мне домой. Вот вам ключи, и готовьте кофе. Я сейчас приду с Есениным.

Почему я в этом была уверена, до сих пор не знаю, но я повернулась от Ольги и решительно пошла в кафе. Зайти туда еще раз я не хотела, ждать кого-то было не в моем характере, я обошла дом кругом и, завернув в переулок, вошла в темный, совсем незнакомый двор. Придерживаясь правой стороны, старательно выбирая дорогу, пошла почти ощупью по двору. Задняя дверь кафе светилась тусклой лампочкой, но шум, доносившийся из открытой двери, показывал, что я у цели. Войдя в тесный коридор, я прошла несколько шагов и столкнулась с уставшим официантом, который фанеркой обмахивал разгоряченное лицо.

– Попросите сюда Сергея Александровича, – настоятельно проговорила я.

Официант, видимо привыкший, что поклонницы вызывают поэтов таким именно образом, пошел выполнять поручение.

Сергей Александрович, вялый, щуря глаза, вошел в полутемный коридорчик и спросил:

– Кто меня спрашивает?

Я шагнула к нему. Он попятился:

– Я же сказал, что никогда с вами знакомиться не буду…

Уж не помню, какими словами выражала я свое возмущение, мне казалось, что он меня смертельно обидел. Одно я точно помню, что, захлебываясь словами, сказала, какое отвратительное впечатление он на меня тогда произвел, сказала, что Зенин пошутил, а я обиделась и на Зенина, и на него, Есенина, и, наконец, сказала, что мне понравились его стихи и захотелось исправить свое грубое и нетактичное поведение – и вдруг наталкиваюсь на встречную грубость и непонимание. Ну что же, пусть, значит, действительно никогда больше мы не познакомимся и не подружимся.

Я резко повернулась и вышла на темный двор, под усилившийся за это время дождь. У меня горели уши, такая злость и обида охватила меня, что я ничего не видела и ничего не слышала. Мне кажется, что я просто бежала по Тверской. Недоуменные взгляды встречных прохожих заставили меня идти медленнее, и тут только я услышала голос Есенина:

– Постойте, куда же вы?

Он торопливо шел за мной, без пальто и шляпы, прямо по лужам, не разбирая дороги. Он поравнялся со мной и пошел

рядом, что-то говорил, но я не разбирала слов, а потому ничего ему не отвечала.

Но вот и наш дом. Я вошла в вестибюль, Есенин шел за мной. Дежурившая в подъезде женщина удивленно проводила нас взглядом. Было уже поздно, лифт не работал, и мы молча поднимались на шестой этаж.

Ольга, услышав звонок, открыла дверь, посмотрела на Есенина и разочарованно проговорила:

– Все-таки пришли?

Не помню точно, как завязался разговор, как пили кофе, помню только, мы с Ольгой сидели в одном большом кресле и слушали Сергея Александровича. Он еле слышно, легкими шагами ходил по комнате, останавливался перед нами и читал, до утра читал свои стихи, и серый рассвет, лениво входивший в огромное окно, увидел двух молодых, присмиревших, зачарованных стихами женщин и побледневшего, вдохновенного поэта, которого не смущала маленькая аудитория, широко распахнувшая сердца искренним, полным тепла, мягким строкам стихов Есенина. Вот так я познакомилась с Сергеем Александровичем Есениным.

* * *

В молодости люди обычно начинают дружить с первого слова, с первого взгляда, с первого знакомства, но я не могу сказать этого о наших дальнейших отношениях с Сергеем Александровичем. Много было таких моментов, которые мешали нам подружиться. Встречалась я в то время, главным образом, с военной публикой, хоть фронт и перестал существовать, но спайка осталась. И все, почти все, за редким исключением, фронтовые товарищи, признавая Сергея Александровича хорошим поэтом, резко отрицательно относились к кафе «Стойло Пегаса». Дома у нас Сергей Александрович держал себя неуверенно. Его отпугивала, видимо, внешняя суровость и подтянутость некоторых товарищей из нашей среды.

В те месяцы мы виделись только в те дни, когда заходила я вечером в «Стойло Пегаса». Тогда Сергей Александрович непременно шел меня провожать, независимо от того, что приходила я в кафе не одна. Мы некоторое время гуляли по переулкам, если была хорошая погода, и всякий раз у подъезда дома он непременно говорил:

– Мы очень редко видимся. Приходите почаще!

Но все это резко изменилось, когда мои родители и мои дети,

которые еще по старой привычке жили у дедушки с бабушкой, из совхоза переехали в Москву на постоянное жительство. Мы перебрались на самый верхний этаж, где была большая квартира, и вот уже в эту квартиру зачастил Сергей Александрович. Он сразу стал проще, милее и интереснее. У моей матери, большой любительницы старинных русских песен, и у Сергея Александровича нашлось общее – они могли петь часами, причем Сергей Александрович пел самозабвенно, прикрыв глаза.

В это время я из ВСНХ перешла работать редактором в Гослитиздат. Очень часто возвращаясь с работы, слышала еще у лифта, что в нашей квартире поют. Это значит, что Сергей Александрович у нас. Он обычно сидел на полу, на маленьком коврике, прислонившись спиной к шкафу, а мать сидела в кресле. Мое появление смущало их очень мало. Правда, иногда Сергей Александрович, словно очнувшись, говорил, что уже он и так засиделся, и торопился куда-то уйти.

Не помню ни одного его визита к нам в нетрезвом виде. Мне даже казалось тогда, что о его выпивках и скандалах ходят легенды. Несколько раз приходилось ссориться с товарищами, которые очень решительно и, как мне тогда казалось, понаслышке придавая досужим сплетникам больше веры, чем мне, утверждали, что Сергей Александрович пьяница и дебошир. Сергей Александрович в это время кончал «Пугачева» и наконец сдал в печать. Его рассердило, когда я заметила, что «Записки Пугачевского бунта» А. С. Пушкина послужили ему основанием и, пожалуй, единственным материалом к написанию этой поэмы. Сергей Александрович встал из-за стола и ушел, холодно простившись со мной. Тем не менее на другой день днем он пришел в Госиздат и усиленно настаивал на том, что хочет познакомить меня со всей своей компанией из «Стойла Пегаса». Зная его обидчивость, я сказала, что непременно вечером приду в их кафе, но твердо решив туда не заходить. И вдруг Сергей Александрович пропал. Я не видела его неделю. Потом вторую. Не помню, кто-то сказал мне в Госиздате, что Есенин много пьет в компании с Айседорой Дункан. Я отмахнулась от этих слухов, не придавая им значения. Но вот вышел «Пугачев» отдельным изданием, и, проходя по Никитской, мимо магазина, в котором продавалась эта книжка (она вышла в «Товариществе поэтов», был такой дутый кооператив), я зашла, чтобы ее купить. Около прилавка стоял Есенин, перед ним лежало несколько экземпляров «Пугачева». Он взял книжку и, с очень теплой надписью, передал мне. Мы вышли из магазина вместе, он был рассеян, несобран, словно что-то забыл. Таким я его видела только тогда, один-единственный раз. Уже у нашего дома он неожиданно сказал:

– Я, кажется, уезжаю!

Что-то поразило меня в этой обычной фразе, то ли тон, то ли его вид.

– Надолго?

– Не знаю. Я ничего еще не знаю.

Он как-то торопливо простился и пошел совсем будто малознакомый человек. Я смотрела ему вслед. Он оглянулся, остановился, вдруг заулыбался и приветливо помахал рукой.

И опять как в воду канул. Я решила, что непременно пойду в кафе поэтов.

Никто из товарищей не хотел пойти со мной, одной пойти было неудобно, но тут зашел по делу к мужу брат Бориса Бреслава, и я позвала его пойти со мной вместе. Он охотно согласился.

В кафе было, как всегда, полно, но нам удалось найти два свободных стула, и мы подсели к столику одних знакомых.

Имажинисты запаздывали, публика шумела, многие начинали хлопать, что-то кричали. Но вот от двери мимо нашего столика прошли: впереди – Мариенгоф, Шершеневич, потом какая-то дама в меховом манто и шапке с вуалеткой на лице, а за этой дамой следом шел в меховой, помнится, чуть ли не в бобровой, шапке С. Есенин. Он шел, не глядя по сторонам, ничего не замечая, ни с кем не раскланиваясь. Особенно обидно показалось, что он прошел мимо меня, как мимо стены.

А. А. Берзина

Все они уселись в углу, в своей ложе. Забегали официанты, и тут, видимо, кто-то сказал Сергею Александровичу, что я в кафе. Он растерянно оглядел столики и, взглянув на меня, улыбнулся и сейчас же подошел к нам. Первые слова, которые он произнес, были:

– Она здесь! Вы видели?

– Кто? – удивилась я.

– Айседора!

Я поглядела в его сияющие глаза, в улыбающееся лицо и вдруг поняла, что он переполнен счастьем, переполнен любовью.

– Это хорошо! – машинально сказала я.

– Идемте, я познакомлю вас с ней! Она – удивительная женщина. Я все понимаю, что она говорит. Идемте.

– Нет, Сергей Александрович, мне пора домой, в другой раз.

– Хорошо, тогда скажу, что провожу вас и быстро вернусь!

– Сергей Александрович, я же не одна, и меня совсем не надо провожать.

– Хорошо, – явно обрадовался Сергей Александрович.

Он сказал:

– Очень жаль, что я не увижу вашу маму, вы передайте ей мой привет. – Глядя на мое недоуменное лицо, он добавил: – Я уезжаю с Айседорой за границу. Она моя жена!

* * *

Может быть, все, что я пишу о Сергее Александровиче, сухо и скучновато, но мне хочется возможно правдивее описать все, что сохранила память. Я нарочно не проставляю дату его отъезда, потому что не помню, а справочных материалов под рукой нет. Скажем, в предыдущих заметках забыла рассказать о таком существенном факте, как начало болезни Сергея Александровича Есенина. Сегодня остановлюсь именно на этом.

Первого февраля, в день моего рождения, 1923 года, среди приглашенных должен был присутствовать и Сергей Александрович.

Все уже были в сборе, а Сергея Александровича все еще не было. Откуда-то он позвонил и сказал, что скоро будет. Мы не садились за стол, но время шло, а его все не было. Мы перестали его ждать, и вечер пошел своим чередом. Довольно поздно меня вызвал по телефону чей-то взволнованный женский голос и сказал, что Сергей Александрович лежит в больнице Склифосовского, что он упал и поранил очень сильно руку, что меня просят срочно поехать к нему и я все на месте увижу. Пообещав приехать на другой день, мне все же было как-то странно, что звонила незнакомая женщина и что она была явно чем-то встревожена. Я рассказала обо всем Илико Вардину, и он обещал на другой день поехать со мной вместе. Так и сделали. Вардин зашел за мной на работу, и мы поехали на Сухаревскую площадь.

Есенин лежал в палате не один. Очень встревоженный, напуганный. Мы старались его уговорить, что опасности никакой нет, что поправится он быстро, тогда он зашептал:

– Вы видели в коридоре милиционера, около двери?

– Нет, не видели.

– Он там стоит и ждет, чтобы арестовать меня!

– За что?

Он начал рассказывать что-то бессвязное о том, что он упал и рукой нечаянно разбил окно, что вот порезался, явился милиционер и хотел арестовать, и опять о том, что разбил окно. Мы, как могли, успокоили его, пообещав, что его никто не тронет. Он с неестественным, холодным блеском в глазах, настороженно и недоверчиво слушал нас. Мне казалось, что у него какое-то потрясение, а Вардин решил, что он с перепоя.

Мы вышли из палаты и зашли в контору узнать, что с С. А. Дежурный врач, к нашему удивлению, подтвердил, что милиционер действительно находился некоторое время в больнице, чтобы забрать Сергея Александровича, где-то наскандалившего, но что врачебная администрация упросила удалиться милиционера, так как это нервировало больных. Сказал, что отделение милиции обязало их, то есть администрацию, поставить в известность, когда Сергей Александрович будет выписываться. По правде сказать, мы оба, то есть я и Вардин, растерялись, но тут же решили, что будем добиваться, чтобы Сергея Александровича возможно скорее перевезли в кремлевскую больницу, которая тогда еще находилась в самом Кремле.

На другой день Вардин позвонил мне и сказал, чтобы я пошла к Апросову, он, кажется, был главврачом или зав. кремлевской больницы, чтобы с ним договориться о С. А. Есенине. Когда я пришла к Апросову, Сергей Александрович был уже в кремлевке, его перевезли в карете «скорой помощи», и уже он был освидетельствован несколькими врачами.

Меня удивило это – «несколькими врачами».

– Разве у него так плохо с рукой?

Апросов улыбнулся:

– Нет, не с рукой, а с головой. Мы хотим его поместить в очень хорошую больницу для нервнобольных.

Он мне тут же дал адрес и сказал, что сегодня лучше его не видеть, а через день-два я могу навестить Сергея Александровича в этой больнице.

Действительно, это лечебное заведение было очень хорошо устроено и нисколько не напоминало больницу. Все пациенты ходили в своих, домашних, привычных костюмах, посетителей

принимали внизу, в небольшой уютной гостиной.

Помню, что Сергей Александрович спустился ко мне по деревянной, красивой лестнице, вымытый, чистый, совершенно спокойный, от тревоги не осталось и следа. Он поблагодарил, что его забрали «с этой ужасной больницы», имея в виду больницу Склифосовского, потом сказал, что очень скоро выпишется, так как чувствует себя хорошо. Мы договорились с Мариенгофом – он был у меня, – что устроим большой вечер в Политехническом. Долидзе берет устройство на себя.

Ушла я тогда совершенно успокоенная, все происшедшее мне показалось недоразумением, и даже не позвонила Апросову, чтобы узнать, чем же болен Сергей Александрович.

* * *

Из-за границы доходили слухи, и все нерадостные, что Сергей Александрович пьет, скандалит. Было грустно, что пропадает где-то хороший русский поэт и мы не в состоянии чем-нибудь помочь ему.

Интерес к кафе «Стойло Пегаса» пропал окончательно; проходя мимо, уже не тянуло зайти туда, потому что Сергея Александровича не было.

И вот, ранней осенью, в один из очень ясных дней, возвращаясь из Госиздата, увидела афишу, на которой огромными буквами значилось: «СЕРГЕЙ ЕСЕНИН», а подойдя ближе, прочитала, что сегодня в Политехническом музее, по возвращении из-за границы, выступит поэт Сергей Есенин…

Не помню, как отошла от афиши, знаю, что была большая обида: Сергей Александрович приехал и не зашел…

Машинально зашла в парикмахерскую, где всегда делала маникюр и причесывалась, и, почти ничего не видя, села за маленький столик своей постоянной мастерицы. Та, желая развлечь посетителя, залопотала что-то о погоде. Мне машинально пришлось согласиться, что погода действительно прекрасная.

– Это потому, что я приехал! – услышала я знакомый голос Сергея Александровича.

Он сидел за соседним столиком у другой маникюрши и, повернувшись в мою сторону, улыбался.

– Откуда вы? – удивилась я.

– Во-первых, здравствуйте. Вот сейчас освободят мои руки, и мы поздороваемся как следует, а во-вторых, у вас сегодня очень вкусный борщ на обед!

– Борщ? Какой борщ?

– Я у вас обедал и пробыл почти весь день. Принес билеты на вечер, вы были в Госиздате, мама оставила меня обедать. Я только что от вас.

– Когда вы приехали? – спросила я делано-равнодушным тоном.

– Вчера! И видите, сегодня уже выступаю.

Он был ослепительно веселый, приветливый, ласковый и милый. Он сел рядом со мной, дожидаясь, когда освободят мои руки. Он был рад, что дома, в Москве. Он повторил это несколько раз. Все время улыбался, и лицо его было ясное и спокойное.

Выйдя из парикмахерской, мы расстались, он куда-то торопился, а я пошла домой. У меня в комнате на столе лежали билеты, и мама подробно рассказала, как они провели время с Сергеем Александровичем.

Мне не сиделось дома. Я позвонила товарищу, который работал в Богородском, на заводе «Каучук», и поехала к нему в гости. Но, приехав туда, я заволновалась, что опоздаю на вечер С. А., и тогда мой товарищ, видя, что я нервно настроена, вызвал из гаража машину и поехал меня проводить до Политехнического музея. Проехав несколько домов, мы увидели огромное поле лиловато-розовых астр, крупных, сильных, очень красивых. Мне захотелось привезти букет осенних цветов Сергею Александровичу. К счастью, это было садоводство, и мы купили целый сноп милых цветов.

В Политехническом народу собралось много, надо было пробивать себе дорогу, мой провожатый помог мне и уже в вестибюле, прощаясь, предложил, что пришлет к концу вечера машину, и мы можем приехать с Сергеем Александровичем ужинать к ним домой. Я очень обрадовалась и сказала, что непременно приеду с Сергеем Александровичем.

Мое знакомство с Айседорой Дункан

С Айседорой Дункан я познакомилась после возвращения Сергея Александровича из-за границы. Был концерт в филиале Большого театра (бывший Зимина). Театр был плохо освещен, переполнен преимущественно молодежью, сцена, огромная и очень уж почему-то голая, поразила меня своим непраздничным видом. Выступала Дункан и с ней школа ее имени, которой в Москве руководила Ирма Дункан, приемная дочь танцовщицы. То ли я была плохо настроена, то ли я ничего не поняла, но от выступления Дункан я ждала большего, и насколько большего! Я видела и старую опустившуюся грудь, и излишне жирные, дрожавшие при каждом движении ляжки, и скованную порывистость, которая не могла быть и легкой, и изящной – годы брали свое. Да и публика посмеивалась, отпуская далеко не лестные замечания, впрочем, это меня только сердило. Я привыкла уважать таланты. А что она была талантлива, в этом сомнения, конечно, не было. Мне все-таки было странно, что такая пожилая женщина рискнула выйти на сцену чересчур голой, именно голой, а не обнаженной. Хотелось ее побольше укутать в этот газ, который будто невзначай падал с плеч и обнажал дряблое тело до пояса.

Мы уже хотели уйти, дожидаясь антракта, как вдруг на сцену вышел Сергей вместе с рабочими сценами и стал помогать им перетаскивать рояль. Раздались голоса: «Есенин пьян как цуцик». Сергей был действительно пьян, он излишне суетился и не помогал, а явно мешал рабочим сцены. Кто-то зааплодировал, Сергей не обращал внимания ни на выкрики, ни на аплодисменты. Решила пойти за кулисы и увести его домой. Он увидел меня и сейчас же подошел.

Она, видимо, была очаровательна. Это заметно по ее улыбке, притягательной, но уже явно заученной, и по глазам: они все еще очень хороши. Ясные глаза ребенка, пусть капризного, избалованного, но все же ребенка. И слова она произносит растягивая, несколько нараспев. Странная и непривычная манера разговаривать. Она полуголая стоит в уборной, все еще тяжело переводя дыхание, но уже с заученной улыбкой протягивает приветливо руку. Рука тянется вверх, она привыкла, что ей целовали руки все: мужчины и женщины, ярые поклонники ее таланта. Годами лобзали, и потому правая рука так вызывающе виснет в воздухе. Ничего не остается, надо взять руку и стряхнуть вниз в крепком рукопожатии. Она недоуменно смотрит в глаза и опять улыбается. Что-то поет-говорит, и мы расстаемся, Есенин

выходит за мной.

– Видела, какая? – Он еще гордится ею.

И вдруг ринулся на сцену передвигать рояль. Из свиты Дункан подходит мужчина, слегка вьющиеся волосы, довольно интересный, и говорит, что полезно было бы увести Есенина домой, а то назревает скандал, в театре сенсация, когда он на сцене передвигает рояль, явно мешая рабочим.

Пробую уговорить Сергея, но это бесполезно. Он ссылается на то, что должен быть до конца в театре, раз она выступает. Ухожу из-за кулис. В зрительном зале шутки, смех, переговариваются, перешептываются. Называют фамилию Есенина – и слышится: «Пьяный, пьяный, пьяный».

Когда он только перестанет пить? Видимо, никогда.

Вечер безнадежно испорчен, кажется, что свет горит тускло, в зрительном зале висит какая-то дымка, курят нетерпеливые и не приученные еще зрители, пуская дым в рукав. Не отвыкли еще после Гражданской. И шум, постоянный шум, ровный, как будто работает испорченный вентилятор. Надо уходить домой. С другой стороны, хочется увидеть коронный номер сегодняшнего вечера. Дункан будет танцевать «Интернационал».

Сижу и жду. Милые девочки из студии Айседоры феями пронеслись по сцене, невесомые, легконогие создания в белых прозрачных одеждах. Очень красиво, большой художник отобрал и скомпоновал движения танца, чтобы получилась такая воздушная гирлянда.

Но вот и последний заключительный номер – «Интернационал». На сцене очень много красного: и свет, и флаги, и просто красные полотнища. На сцене она – Дункан. По сцене мечется старая женщина, обнажив висящие дряблые груди. Господи, почему это – «Интернационал»? Дряблые ноги и позы классических богинь, в которых каждое мгновение застывает танцовщица, не пленяют и не радуют. Мы сами очень молоды, очень эгоистичны, не верим, что сами будем стары и не прощаем никакой попытки, которая не приводит к победе. Да, танцовщица не победила, и потому апофеоз награждается жидкими аплодисментами, и публика идет к выходу, обмениваясь нелестными замечаниями по адресу голой старухи. Кое-кто пытается защитить танцовщицу, ее новаторство, ее попытку воплотить в танец революционный гимн; переговариваясь, выходим на улицу, темно, народ разбредается по домам, даже спора не вышло. Впрочем, и так все ясно. Еще один низвергнутый идол.

Сергей никогда больше не заговаривал со мной о Дункан. Говорили, что он от нее прятался, скрывался, – но только слухи,

сам он, повторяю, никогда больше ни словом, ни намеком не напоминал о своей любви, о страстном увлечении несомненно яркой женщиной и талантливой танцовщицей Айседорой Дункан.

* * *

Сергей Александрович знал очень хорошо, что чтением стихов он просто обезоруживал человека, и потому всякий раз, когда были причины на него не только сердиться, но даже гневаться, он входил в квартиру, будто ничего не произошло, и с места в карьер сообщал, что он написал новые стихи, или просто начинал читать свои старые стихи. Гнев проходил, испарялся, и он считал себя амнистированным. Есенин охотно читал стихи везде: будь то поезд, улица, квартира, он читал даже в ночлежке, куда потянула нас неудержимая молодость, властно познававшая мир даже с изнанки, а к тому же писатель Леонид Максимович Леонов, а тогда просто Леня, собирал материал для своего романа «Вор». Мы шатались по пивным, ели раков, пили пиво, которое всем было противно, к нам подходили какие-то люди, садились, разговаривали, выпивали заказанное нами пиво и отходили, некоторые прирастали к столу в надежде, что мы угостим их еще кружкой, но у нас было мало денег, и они, разочарованные, уходили. Однажды с нами пошел Кожевников, не помню, как его звали, не помню, откуда он взялся, но он очень решительно предложил пойти в знаменитую ночлежку «Ермаковку». Он сказал, что собирает сам какой-то материал, и мы пошли, слепо веря, что с нами ничего страшного произойти не может, и действительно ничего не происходило из ряда вон выходящего, при нас странные постояльцы ночлежки сдерживались, не ругались, старались изъясняться изысканным языком, картузом обметали нары, чтобы могли присесть. Их явно радовало наше доверие и открытое отношение к ним. Оживленной беседы не получалось, мы не знали, с чего начать разговор, а они смотрели на нас, непрошеных гостей, явно не понимая, зачем мы к ним пожаловали. Кое-кто пытался что-то спросить. Мы сказали, что среди нас Есенин, но они никак не реагировали. Мы перешли в комнату, где помещались женщины, и тут Сергей вдруг начал читать стихи. Читал очень хорошо. Его слушали женщины и мужчины, которые пришли следом за нами в женскую спальню. Стоявшая впереди женщина, пожилая и оборванная, плакала горючими слезами, слушая Сергея Александровича.

Мы прошли еще по нескольким комнатам, спустились этажом

ниже, бледный Сергей был явно взволнован чтением, но больше не пытался ничего читать.

Когда мы покинули ночлежку, поэт, бывший с нами, товарищ Есенина, вдруг сказал:

– А эта женщина, которая плакала, она ничего не поняла…

– Почему? – встрепенулся Сергей.

– А потому что она совсем, совсем глухая. Я задержался и попробовал с ней разговаривать, так мне все сказали, чтобы я зря и не пытался, она все равно ничего не слышит.

Сергей насупился и всю дорогу домой промолчал. Он молча простился с нами и пошел.

А теперь мне кажется, что этот милый и славный поэт просто все придумал, чтобы рассердить Сергея Александровича, я все собираюсь его спросить, но помнит ли он, как это было в самом деле?

Женитьба Сергея Александровича

В один из ненастных летних вечеров мне позвонил Сергей Александрович и пьяным голосом просил непременно к нему подойти. Он жил тогда в Брюсовском переулке, вместе с Галиной Бениславской, сестрами Шурой и Катей.

Мне не хотелось идти к ним, было уже поздно, да к тому же голос Сергея… Все располагало к тому, чтобы не идти.

Через несколько минут опять звонок. И опять Есенин просит прийти и, как всегда, когда он пьян, начинает прикидываться, что его обижают и что им пренебрегают: «Я за тобой приползу. Пойми, что я женюсь и тут моя невеста…»

– Какая невеста? – спрашиваю я, удивленная и встревоженная его новыми выдумками.

– Толстая Софья Андреевна! – говорит он торжествующе.

Я не знала тогда, что внучку Льва Николаевича Толстого звали, как и бабушку, Софья Андреевна, и потому, смеясь, отвечаю:

– А Льва Николаевича там нет?

Сергей что-то бормочет, трубку берет Галя Бениславская и разъясняет, что действительно у них в гостях Софья Андреевна Толстая, поясняет, кто она, и просит непременно прийти.

Поднимаясь в лифте к дверям квартиры, в которой жили Есенины и Бениславская, я слышу, как играют баянисты. Их пригласил Сергей Александрович из театра Мейерхольда. Знаменитое трио баянистов.

В маленькой комнате и без того тесно, а тут три баяна наполняют душный, спертый воздух могучей мелодией, которую слушать вблизи трудно. Гармонисты, видимо, приложились тоже и потому стараются вовсю, широко разводя мехи баянов. Рев и стон.

За столом сидят Галина, Вася Наседкин, Пильняк Борис Андреевич, двоюродный брат Сергея[49], который за ним ходил по пятам, незнакомая женщина, оказавшаяся Толстой, Шура и Катя, сестры Сергея. Сам он пьяный, беспорядочно суетливый, улыбающийся, как падший ангел. Он усаживает меня между Пильняком и Софьей Андреевной. Сам садится на диван и с торжеством смотрит на меня.

Галина Артуровна встает и выходит по хозяйским делам на кухню, то принесет чистую тарелку, то закуску, хлеб. Она все время в движении.

Шура, Катя, Сергей поют под баяны, но Сергей поет с перерывами, смолкая, бессильно откидываясь на спинку дивана,

но опять выпрямляется и опять поет. Лицо у него бледное, губы он закусывает – это показывает очень сильную степень опьянения.

Я поворачиваюсь к Софье Андреевне и спрашиваю:

– Вы действительно собираетесь за него замуж?

Она очень спокойна, и ее не шокирует такой гам и шум, царящий в комнате.

– Да, у нас вопрос решен, – отвечает она и прямо смотрит на меня.

– Вы же видите, он совсем невменяемый. Разве ему время жениться, его в больницу надо положить. Лечить его надо.

– Я уверена, – отвечает Софья Андреевна, – что мне удастся удержать его от пьянства.

– Вы давно его знаете? – задаю я опять вопрос.

– А разве это играет какую-нибудь роль? – Глаза ее глядят несколько недоуменно. – Разве надо обязательно долго знать человека, чтобы полюбить его?

– Полюбить, – тяну я, – ладно полюбить, а вот выйти замуж – это другое дело…

Она слегка пожимает плечами, потом встает и подходит к откинувшемуся на спинку дивана Сергею. Она наклоняется и нежно проводит рукой по его лбу. Он, не открывая глаз, отстраняет ее руку и что-то бормочет. Она опять проводит рукой по его лбу, и он, открыв глаза, зло смотрит на нее и опять отбрасывает руку.

– Блядь, – говорит он неожиданно и добавляет совсем нецензурную фразу.

Она спокойно отошла от него и села на свое место как ни в чем не бывало.

– Вот видите, разве можно за него замуж идти, если он невесту материт?

И она опять очень спокойно говорит:

– Он очень сильно пьян и не понимает, что делает.

– А он редко бывает трезвым… – стараюсь внушить ей, что выходить за него нельзя.

– Ты же знаешь, – обращаюсь я к Гале, – что Сергей болен, какая же тут свадьба.

Она устало машет рукой, и в ее глазах я вижу боль и муку:

– Пусть женится, не отговаривай, может быть, она поможет и он перестанет пить…

– Ты в это веришь, Галя?

Она утвердительно кивает головой.

В коридор выходят остальные. Только трое баянистов продолжают раздирать квартиру раздольными широкими песнями, какие были бы уместны за городом на лоне природы.

Сергей под их музыку спит, откинув голову. Лицо его бледно, губы закушены.

Усталая Галя провожает нас до двери. С Софьей Андреевной идет, кажется, брат Сергея.

Пильняк дорогой открывает тайны, что Софья Андреевна жила с ним, а теперь вот выходит за Сергея. Он говорит об этом, а за очками поблескивают его насмешливые глаза.

Мне ни о чем говорить не хочется.

Зачем это делает Сергей – понять нельзя. Явно, что он не любит и не пылает страстью, иначе он прожужжал бы все уши, рассказывая о своем увлечении. Впрочем, об этом он говорит только тогда, когда пьян, но я третьего дня видела его пьяным, он ничего не говорил о своей женитьбе.

…Утром он позвонил мне в Госиздат и сказал, что хочет прийти ко мне вечером с Соней, так как он вчера, кажется, плохо держал себя. Голос его совершенно трезв. Я соглашаюсь встретиться с ним вечером.

По дороге из Госиздата зашла в магазин, чтобы купить кое-что для предстоящего визита. На Дмитровке встретила певца Белостоцкого. Он сказал, что уезжает за границу, учиться в Италию. Мы шли и разговаривали, он поднялся со мной в квартиру. Наши были все в отъезде. Мы были в доме одни. Я стала накрывать на стол, так как Сергей обещал прийти не позже шести часов. Белостоцкий рассказывал о предстоящем путешествии. Я все думала, как это все странно, Сергей собирается жениться – и без всякой радости, пьяный, какие-то баянисты, страшный шум в квартире… все неясно.

Пришел Сергей с Софьей Андреевной, потом Юра Либединский. Сергей где-то уже успел выпить, и лицо его бело, будто вымазано мелом, и опять прикусывает губы. Софья Андреевна, высокая женщина, очень похожая на своего деда, только что без бороды, пришла в чужой дом, к чужой женщине, чтобы говорить о свадьбе. Сергей, как только вошел, сразу заявил, что пришел именно говорить о своей женитьбе. Он все твердит Софье Андреевне, что я его друг, что он со мной очень считается. Она согласно кивает головой и повторяет:

– Я это знаю, Сергей Александрович, знаю!

Белостоцкий с удивлением смотрит на все происходящее. Сергей начинает говорить отрывистыми фразами, хмель овладевает им все больше и больше.

Вдруг он зовет меня в другую комнату и просит, чтобы туда вошел и Либединский.

Мы втроем сели в кабинете Берзина, и Сергей, вдруг с испуганным и напряженным лицом, проговорил:

– Я поднял ее подол, а у нее ноги волосатые… Я закрыл и сказал: «Пусть Пильняк, я не хочу… Я не могу жениться».

Все это он говорит достаточно громко, Либединский покраснел. Ему явно было неудобно. Юра подошел и плотно закрыл дверь в комнату, где оставались Софья Андреевна и Белостоцкий. Сергей продолжал жаловаться:

– Я человек честный, раз дал слово, то я его сдержу. Но поймите, нельзя же так? Волосы хоть брей…

– Тише ты, Сергей, – напрасно уговаривал Либединский Есенина.

А Сергей перешел уже на то, как будет справлять свадьбу. Он перечислял, кого позовет, а кого не позовет, и все твердил, что «графьев» он не позовет, не надо, пусть их будет только пять человек… С ним никто не спорил, и он стал смеяться пьяным смехом и повторял все, что очень здорово выйдет:

– Сергей Есенин и Толстая, внучка Льва Николаевича… Вот…

Мы поспешили увести его к невесте и сидели, разговаривая почти до рассвета. Москва успела выспаться и проснуться, а мы все разговаривали, ни до чего толком не договорившись. Ничем и никак я не могла убедить Софью Андреевну – сначала вылечить, а потом выйти замуж. Она стояла на своем, что Сергей перестанет пить, как только будут жить вместе. На все его обидные, оскорбительные разговоры она тоже не обращала ни малейшего внимания.

Ушли они вместе, оставив горький осадок. Белостоцкий, ошарашенный, смотрел на меня удивленно, не находя слов для расспросов. Он, видимо, слышал все, о чем мы говорили в соседней комнате.

Сергея я не отговаривала от женитьбы, так как Галя Бениславская не возражала. Я видела, что она очень страдает, но все же говорила, что так будет лучше. Лучше? Для кого лучше?

Потом этот несчастный попугай достал медное кольцо, и Сергей стал считать после этого, что жениться надо непременно, и очень много говорил о джентльменстве, но все как-то нескладно, бестолково.

На свадьбу я не пошла, да и не хотела я видеть всего этого.

А вот проводить их на Кавказ, куда они собрались в качестве свадебного путешествия, я пришла.

Провожала я их тепло, мне стало казаться, что он перестанет пить, если у них будет ребенок. Шутя подарила им маленькую куколку и ванночку, чтобы ее купать. По этому поводу из Баку Сергей мне прислал открытку. В общем, они уехали, и все понемногу стали успокаиваться.

Вернувшись из путешествия, они стали жить у Софьи

Андреевны. Я к ней немного привыкла. Уже называла ее Соня и даже стала говорить с ней на «ты».

Квартира у нее была большая, на Пречистенке, в одном из переулков, с балконом.

Помню, что после приезда он пришел за нами, чтобы пойти к нему в гости. Я пошла с дочкой, так как Сергей сказал, что купил живую рыбу и специально выпустил ее в ванну, она будет плавать до нашего прихода.

Действительно, придя к ним, мы сразу пошли в ванную. Большая, шустрая рыба плавала в ванне. Сергей был очень весел, много шутил, совсем не пил в этот день, и мы очень хорошо провели время до обеда, а после обеда собрались в кино на Арбатскую площадь.

Мы шли по бульварам пешком, так как надо было отвести дочку домой, она еще была мала, и мы не хотели ее брать в кино. Мы шли с ней несколько впереди, и я ее спросила:

– Понравилось тебе у Сережи?

– Да, – ответила она живо. – Только он сам очень похож на белую вошку…

Я остановила ее, но было уже поздно. Сергей услышал это и очень обиделся. Я увидела, как у него испортилось настроение.

Мы проводили ее домой, и он с ней прощался не так сердечно, как делал это всегда.

Мы пошли в кино. Но среди сеанса нам всем надоело, и мы вышли из кино. Они меня провожали с Соней. Мы распрощались у дверей нашего дома.

А на другой день мне уже звонила Соня и жаловалась, что Сергей опять запил, пьет безобразно, скандалит, уходит из дома.

К Сергею повадился какой-то пропойца-музыкант приходить на лестницу. Придет и играет на скрипке под дверью. С ним Сергей и уходил пьянствовать.

В эти дни мне приходилось его вытаскивать из ресторана «Ампир», где он, допившись до бесчувствия, колотил вдребезги посуду, зеркала, опрокидывал столы и стулья.

Страшное зрелище застала я в «Ампире». Среди битой посуды ничком лежал Сергей Александрович, тесно сомкнув губы. Я видела, что он уже все понимает, но прикидывается бессознательным. Я нагнулась и сказала:

– Сережа, поедем домой.

Он не вставал, мне противно было до него дотронуться: он весь был покрыт блевотиной.

– Сережа, – позвала я его еще раз. – Если ты не пойдешь, я уйду, и тебя заберут в милицию.

Он шевельнулся, потом приподнялся и открыл глаза. Я

помогла ему подняться и вывела из ресторана.

Мне совсем не было стыдно возиться с пьяным Сергеем, я очень хорошо понимала, что он очень болен, и знала, что ему надо было лечь в клинику и лежать много времени, чтобы прийти в себя.

Это были последние и самые, может быть, страшные запои.

Как-то утром позвонила Софья Андреевна и попросила срочно приехать: Сергей громит квартиру.

Приехала. Квартира являлась передо мной во всем страшном разгроме. В столовой было перебито все, что можно было перебить, вплоть до люстры.

И опять на груде черепков и осколков лежал пьяный и грязный Сергей.

И опять пришлось долго его уговаривать, чтобы он встал, пошел в ванную, переменил белье и костюм. Он встал и пошел. Меня поразила его бледность. Он никогда ярким цветом лица не отличался. Сестра его Катя, старшая из сестер, была тоже очень бледной, но тут Сергей был просто мертвенно-бледен. Пока он приводил себя в порядок, нянечка Толстых убирала столовую. Собственно, вся уборка заключалась в том, что вымели черепки и осколки, переменили скатерть, а на стенах висели портреты Льва Николаевича, фотографии, все стекла были побиты. Сергей старался чем-нибудь тяжелым угодить непременно в портрет и кричал:

– Надоела мне борода, уберите бороду!..

Он пришел из ванной чистый, молчаливый. Я стала с ним разговаривать. И еще когда он был в ванной, я позвонила Вардину, с которым Сергей очень считался, и просила приехать. Сергей встретил Вардина хорошо, но тоже молчаливо. Я, в присутствии Сергея, стала рассказывать о его художествах, но Вардин предложил перейти в другую комнату, а Сергей лег в столовой на кушетку.

Пока мы говорили и советовались, Софья Андреевна решила навестить Сергея. Я не пускала ее, но она все же пошла. Вардин стал звонить, куда можно устроить Сергея на излечение, сговаривался с Санотделом Кремля.

Вдруг из столовой раздался резкий крик. Мы вбежали туда и застали такую картину: Сергей лежал на кушетке, а Соня стояла, закрыв лицо руками, лицо было в крови. Сергей перебил ей переносицу.

– Что ты, разбойник, делаешь! – закричала я.

Он закрыл глаза и не откликался.

Пришлось вызывать врача для Сони. Она, кажется, уже понимала, что Сергей очень сильно болен.

Еще по осени Сергей с балкона сбросил свой бюст работы Коненкова, уверяя, что Сереже (так он называл свой бюст) очень жарко и душно. Он вынес бюст на балкон, поставил на балюстраду и, посмотрев, что внизу никого нет, столкнул бюст на улицу. Упав с огромной высоты, естественно, глина рассыпалась на сотню кусков.

Когда Вардин стал его спрашивать, что все это значит, Сергей не открыл глаз, притворившись, что не слышит.

Мы пробыли довольно долго у Сони, стараясь ее утешить и помочь.

Сергея удалось устроить в поликлинику к Ганнушкину на Девичьем Поле.

Сергей просил передать мне, чтобы я к нему не приходила, так как только я виновата в том, что его заперли в психиатрической клинике.

Стараясь не раздражать больного Сергея, я не ходила его навещать. Но прошло очень немного дней, и он просил Катю, свою старшую сестру, передать мне, что если я не приду, то он уйдет из больницы.

Накупив гостинцев, я пришла вечером в клинику. Дежурил врач Александр Яковлевич Аронсон, мой хороший знакомый. Он просил, прежде чем подняться к Сергею, зайти к нему в кабинет. Я так и сделала. Александр Яковлевич спросил меня:

– Нет ли режущих и колющих предметов в свертке, веревок или шнурков?

– Почему вы об этом спрашиваете? – удивилась я.

– Потому, что Сергей Александрович очень плох, и если бы он был не Есенин, то мы бы его держать в клинике не стали, так как его болезнь давно и подробно изучена и для нас не представляет интереса…

И Александр Яковлевич Аронсон назвал по-латыни эту болезнь.

– Впрочем, – сказал он, – идите, он ждет вас.

Поднимаясь по лестнице на второй этаж, увидела на площадке второго этажа Сережу. Он был чисто вымыт, в сером костюме, с пушистыми волосами, в белом шелковом пуловере.

– Где же ты пропала? – встретил он меня упреком. – Я давно тебя жду.

Мы вошли в его комнату. Это была комната направо. Я стала накрывать стол и расставлять всякие вкусные вещи. Дверь в его комнату стояла настежь раскрытая, ее придерживал чурбачок, плотно забитый в пол.

– Почему дверь не закрывается, Сережа?

– Здесь везде двери открыты. Только я никуда не хожу, я их

всех боюсь. Сегодня в женском отделении одна бегала с бритвой, с лезвием от безопасной бритвы, и я испугался.

Он стал подробно излагать, как он не хочет ни с кем общаться, потому что тут много больных, и опасно больных. Предупреждал, чтобы я была осторожна, так как на этой же площадке расположены женские палаты и что там лежит и та, которая бегала с бритвой.

Потом Сергей стал читать стихи, которые он написал уже здесь, в больнице, в числе их был и «Лимонный свет». Мы много говорили о том, чтобы уехать от Москвы, в какой-нибудь хвойный лес, и там пожить некоторое время. Сергей меня уговаривал, чтобы я тоже бросила на время Москву, что мне тоже надо отдохнуть. Я была рада его хорошему настроению. Он ни разу не упрекнул меня, что его устроили в эту клинику.

Уходя, я еще раз попросила Сережу полежать подольше и окончательно вылечиться. Он торжественно обещал и проводил меня вниз до вестибюля.

Александр Яковлевич отправил его спать, а меня опять пригласил к себе:

– Ну, как вы его находите?

– Просто прелестным, он давно таким не был. Вы напрасно меня пугаете, Александр Яковлевич.

Он грустно покачал головой:

– Зачем же мне вас пугать, я просто предупреждаю вас, чтобы вы не обольщались несбыточными надеждами.

– Я не понимаю, что вы хотите сказать.

– То, что Сергей Александрович неизлечимо болен и нет никакой надежды на то, что он поправится.

– Вы с ума сошли, – вырвалось у меня невольно. – Если у вас все такие безнадежные больные, то вам просто нечего будет делать.

– Вы же понимаете, что я говорю все это, вполне понимая, как это серьезно, – начал опять Александр Яковлевич, – не надейтесь ни на что…

– То есть вы хотите сказать, что Сергей Александрович недолговечен?

– Да, – кратко ответил он.

– А если мы заставим его лечиться насильно?

– Это тоже не достигнет цели…

– Что же, он не проживет и пяти лет?

– Нет.

– И трех лет не проживет?

– Конечно, нет!

– А год?

– И года не проживет!

– Так как же это? Я не понимаю…

– Вы успокойтесь, идите домой, а завтра поговорим еще раз.

Но как можно успокоиться, когда ассистент Ганнушкина, человек, который так хорошо относился ко мне, к Сергею Александровичу, сказал, что Есенин обречен…

Я поздно вечером позвонила на квартиру Воронского и рассказала о моей беседе с Аронсоном.

– Что же вы предлагаете? – спросил Воронский.

– Давайте возьмем его под опеку, скажем, вы, я и Наседкин. Никто не обвинит нас в каком-нибудь влиянии той или иной литературной группы. Мы представители трех разных течений. Заставим насильно лечиться.

– Что ж, – согласился Воронский. – Давайте сделаем так, как вы предлагаете. Я завтра поговорю с юристом, вы мне звоните в редакцию, завтра я буду целый день.

Смерть Сергея Есенина

На другой день я не пошла в Госиздат. У меня была срочная работа, которую я должна была закончить.

Выяснилось, что дома нет денег, мама мне об этом сказала часов в двенадцать. Пришлось созваниваться с бухгалтером Госиздата Михаилом Ивановичем Быковым, и тот, после долгих торгов, крика и отказа, все же милостиво согласился выписать аванс в сорок рублей. Я попросила отца получить эти деньги, выдав доверенность.

Среди дня позвонил А. А. Воронский и сказал, что он советовался с юристом, заявление будет составлено, и мы на днях соберемся, чтобы подписать его и передать московскому прокурору.

Уже смеркалось, а отец все не возвращался. Трудно было понять, что его так задержало. Мама несколько раз просила позвонить в Госиздат, но я все как-то откладывала это. И вот уже часов в пять явился отец, очень сильно навеселе. Он сказал, что денег не дали, обещали дать непременно завтра, что все деньги забрал Сергей и уезжает вечером в Ленинград.

– Кто уезжает?

– Сергей!

– Где ты его видел?

– Я с ним целый день ходил. Мы всё сидели в пивной. Сергей не один, с ним доктор невысокого роста, еврейчик.

– Александр Яковлевич? – удивилась я.

– Да, Александр Яковлевич, он из больницы, где лежал Сергей.

Я сейчас же позвонила Софье Андреевне, и она подтвердила, что Сергей вышел из больницы и не велел мне об этом сообщать, что он действительно собирается вечером уехать в Ленинград. Говорит, что будет «жить постоянно в Ленинграде». Сказала, что, видимо, с Сергеем они расстаются совсем. Сергей забрал свои вещи и уложил их в чемодан. Все упаковано, и Сергей где-то бродит по Москве.

От отца я тоже не много узнала, он посмеивался и говорил, что Сергей непременно уедет, что в Москве ему все надоело. Рассказывал, что Сергей очень боится, что я его остановлю, а потому он просил и отца ничего мне не говорить.

Мне хотелось сейчас же поехать в Ленинград, но был уже вечер, и мне трудно было достать денег на поездку, так как все редакции закрывались. К тому же это было двадцать третье декабря, а двадцать пятого все праздновали Рождество –

издательство и журналы будут закрыты.

Я позвонила знакомым, у которых всегда «в минуту жизни трудную» могла одолжить денег. Мне сказали, что завтра, то есть двадцать четвертого декабря в Ленинград едет мой большой друг М. Ш., и мы договорились, что поедем вместе. Он на себя взял обязанность купить билеты.

Я сейчас же позвонила Воронскому и сказала, какое возникло затруднение; посоветовавшись, решили так, что в Ленинграде я постараюсь увидеть кого-нибудь из писателей и договорюсь о том, что с Сергеем никто не будет пить, что за этим проследят в Ленинграде и вернут его в Москву. А если он не поедет, то мы тогда уже будем хлопотать сами. Кроме того, Воронский посоветовал встретиться там с Есениным и постараться привезти его в Москву.

Выехала я двадцать четвертого вечером и двадцать пятого утром была уже в Ленинграде. Остановилась в «Европейской» и сейчас же принялась разыскивать друзей Сергея Александровича. Телефона Вольфа Эрлиха – в последнее время с ним очень дружил Сергей – я не нашла ни в телефонной книжке, ни в справочном столе, куда звонила многократно. Дозвонилась до Марии Михайловны Шкапской, но она была в страшном горе, кто-то из близких у нее покончил с собой, и она не понимала, что меня так тревожит в поведении Сергея Александровича. И прямо сказала, что она сейчас – сама мертвец и помочь не сможет. Как на грех, никого не было дома, или не подходили к телефону товарищи, которым я звонила. Но вот наконец мне повезло, и к телефону подошел Николай Никитин. Он с готовностью приехал в «Европейскую», где я ему все очень подробно рассказала о Есенине. Он обещал все устроить и уверил, что я могу спокойно возвращаться домой, так как он примет все меры, чтобы с Сергеем никто в Ленинграде из писателей не пьянствовал, не шатался по кабакам, одним словом, обещал сделать все так, как следует.

Двадцать шестого утром решила обойти гостиницы, чтобы отыскать Сергея Александровича. В «Европейской» его не было. Я об этом узнала в первый же день. В «Гранд-Отеле» его не было тоже, он не заходил туда. «Астория» была тогда не гостиница, следовательно, он там не мог остановиться… И к тому же у меня была твердая уверенность, что он остановился у своих друзей.

Двадцать шестого вечером мы встретились опять с Николаем Никитиным, и он проводил нас на вокзал. Несмотря на его твердое обещание, что с Сергеем все будет сделано так, как надо, мне не спалось. Мы ехали в купе, спать можно было отлично, но я всю ночь не могла сомкнуть глаз. Мне было и жарко, и душно, и холодно, и неудобно. Все, что обычно бывает, когда человек

неспокоен и взвинчен.

Приехав утром, я позвонила по телефону в Госиздат и сказала, что не могу сегодня быть на работе. Предупредительный голос Ивана Петровича Флеровского, моего непосредственного начальника, несколько меня удивил. На работе он был тверд и взыскателен, а тут вдруг он соглашается, что мне надо отдохнуть, и говорит со мной, как с больной.

Я хлопнулась в постель, попросив домашних, чтобы меня не будили, дали бы отдохнуть, а к телефону просила подходить отца.

Сквозь сон слышала частые и настойчивые звонки, сквозь дрему ответы отца, который уверял, что меня нет дома, но я все же не вставала. Проснулась к вечернему чаю и вышла в столовую. Отец сказал, что звонили весь день, что звонили Воронский, Л. М. Леонов и просили немедленно позвонить, как только ты будешь дома. Он добавил, что, видимо, случилось что-то серьезное, просто телефон оборвали.

Позвонила Леонову. Леонид Максимович кратко сообщил, что Сергей удавился. Он именно так и сказал: «удавился». Меня потрясло это сообщение.

– Когда? – только и спросила я.

– Вчера!

– Неправда, это неправда, – принялась я доказывать Леонову. – Я выехала вечером с курьерским, и никто в Ленинграде ничего не знал. Этого не может быть.

Леонов посоветовал немедленно позвонить Воронскому. Воронский сообщил, что пришла каблограмма: Сергей ночью повесился в гостинице «Англетер» – и что я включена в комиссию по похоронам. Он сказал также, что он и Пильняк тоже входят в эту комиссию, что он председатель, и попросил приехать на первое заседание.

От телефона я отошла ошарашенная и не знала просто, что делать. Мне казалось, что я виновата: не нашла Сережу, ведь была рядом, стоило только завернуть за угол от Гоголевской, где я была в «Гранд-Отеле», а я вот не пошла и не нашла его. Потом стала раздумывать, что, может, так и лучше, а то мне потом мерещилось бы, что Сергей, напуганный моим приездом, мог подумать, что его преследуют, что его насильно запрут в больницу, одним словом, все страшное приходило в голову.

Первое решение нашей комиссии было: немедленно выехать за телом Сергея. Уже не за Сергеем, а за телом его. Как это страшно все звучало тогда. За телом!..

Товарищи, выделенные для этого, вечером выехали в Ленинград.

Утром двадцать восьмого ко мне приехали Воронский и Пильняк, чтобы принять ряд безотлагательных мер. Я не помню всего, что нами было решено в это утро, но я знаю, что на моей обязанности было вызвать родителей и сестер Сергея Александровича из Константинова. Шура и Катя уехали туда на праздник. Я послала телеграмму примерно такого содержания: «Сергей опасно болен, немедленно выезжайте. Анна Берзинь».

Бениславская была в доме отдыха, но я об этом ничего не знала. Последующие дни встают как в тумане, и только отдельные яркие и резкие эпизоды отчетливы и ясны, а все остальное тонет в слезах, горе, криках, нестерпимой боли…

Двадцать девятого утром меня разбудил резкий звонок, и мама вошла, чтобы сказать, что приехали Есенины. Я помню, что одевалась и руки у меня дрожали, я не знала, как начать разговор.

В столовой сидели Сережина мать, отец, Шура, Катя и двоюродный брат. Мать сразу стала расспрашивать, что с Сергеем. Я, не глядя на нее, сказала, что Сергей очень опасно болен. Она опять спросила:

– А где он?

И тут перебила наш разговор Катя. Она сказала, что они читали газету, которую купили на вокзале, и мне пришлось подтвердить, что печальное событие действительно произошло.

Мать заголосила. Остальные сидели придавленные и подавленные. Мне пришлось все рассказать, что предпринято и что сегодня, то есть двадцать девятого, Сергея привезут в Москву.

Наши домашние спешили подать завтрак, так как надо было уже трогаться на вокзал к приходу ленинградского поезда, этим поездом должны были привезти Сергея.

На вокзале было много товарищей. Поезд подошел, и в конце был прицеплен товарный вагон, в котором везли гроб Сергея. Гроб вынесли на руках, меня поразило, что гроб был небольшой, во всяком случае всем, кто знал Сергея, казалось, что он не мог в нем поместиться. Гроб был закрыт. Мы пошли за гробом, но на улице таяло, и снег мокрый и грязный заливал ноги. На мне были открытые туфли, я не заметила, что надела, когда уезжала из дома. Под руку со мной шла мать Сергея. Я сказала, что хочу выйти из ряда и поехать на извозчике в Дом Печати, куда предполагалось привезти Сергея. Она сказала, что ей трудно идти, и захотела поехать со мной. Перед этим волновалась очень, что кто-то шарит у нее в кармане, и она передала мне кошелек, он был у меня в муфте. Мы вышли и наняли извозчика.

Обогнав процессию, мы поехали прямо на Никитский бульвар в Дом Печати. Там был Мейерхольд с Зинаидой Николаевной[50].

Они подошли к нам, и Зинаида Николаевна очень тепло поздоровалась с матерью Сергея. Мы все сидели молча и подходили только к окнам, чтобы посмотреть, не привезли ли Сережу.

Гроб поставили посредине того зала, в котором была, а может быть есть и сейчас, сцена. Тут стояли и Лариса Рейснер, это было позже Сергея, и тут же, после Сергея, стоял Митя Фурманов.

Сцена была задернута и, кажется, задрапирована чем-то черным.

Распоряжался всеми похоронными делами Малышев.

Гроб Сергея открыли. Зинаида Николаевна вскрикнула. Меня поразило лицо Сергея, лицо обиженного ребенка. Он казался меньше и очень уж одиноким, как все покойники. Кто-то крикнул:

– Близкие, идите к гробу фотографироваться.

До чего иногда бывают странные люди. «Идите фотографироваться». Зинаида Николаевна очень плакала и все смотрела, смотрела на Сергея.

Заботы о семействе Сергея меня несколько заставляли как бы отходить он него самого, такого одинокого в этом нарядном, узком гробу.

Дома хлопотала мама, чтобы всех вечером уложить, приготовить обед, дать возможность отдохнуть усталым и осиротевшим людям.

Мама уже отвела мою комнату для Есениных. Я легла на диван, но спать не могла и, переменив обувь, опять направилась в Дом Печати. Товарищи несли почетный караул около гроба Сергея, непрерывной лентой проходили москвичи перед гробом Есенина. Окна были открыты настежь, на дворе стояла оттепель. С крыш падали капли и звонко разбивались о тротуар. Стоя у открытого окна, я слушала весеннюю капель, казалось, плачет сам дом, в котором стоит Сергей. Весна и стихи Есенина – все это неразрывно связано, и вот, словно стараясь проводить Сергея, стояла весенняя погода, а был конец декабря.

Вечером увела Есениных домой, разместила их на покой, и когда все улеглись, оказалось, что для меня не осталось ни подушки, ни одеяла, ни постели. У нас был коврик, который прикрывал мамин сундук. Я тихонько сняла его, боясь разбудить спящий дом, положила к отоплению, достала из-под письменного стола седло под голову и, после долгих лет гражданской жизни, уснула по-походному.

Утром тридцатого все пошли в Дом Печати. Я решила про себя, что в этот день никуда от Сергея не отойду, особенно вечером и ночью… Мне хотелось эту последнюю ночь продумать самой, как это все вышло, что Сергея уже нет с нами, лежит

холодный и обиженный мальчик. Кто же его обидел? Кто? И в сотый раз припоминала все эти годы, которые знала Сергея, и вспоминала каждый шаг, каждое слово. Нет, мы не обижали его, и нет, мы всеми силами старались облегчить эту беспокойную и такую разгульную в последние годы жизнь. Сережа, тихий и спокойный, когда трезвый, деликатный и мягкий как воск, менялся даже внешне, если начинал пить. Становился упрямый, жесткий, грубый, лез к каждому, приставал и ввязывался в ссоры, которых не избегал, а будто искал.

Неужели действительно разлад с реальной действительностью, как об этом многие говорят? Припоминала его поездки по Союзу, его неподдельную дружбу с грузинскими, армянскими поэтами, внимание, которое окружало Сергея в издательствах, журналах. С какой готовностью любой журнал печатал его новые стихи. Вспоминала огромную аудиторию в Политехническом музее, всегда до отказа набитую благодарными и восторженными слушателями, – нет, Сергей не был одинок, значит, его глодала и точила страшная болезнь, название которой по-латыни звучит загадочно, а на поверку – «если бы он не был Есениным, его и держать в поликлинике не стали бы. Эта болезнь нами досконально изучена, и… огромный процент смертности, именно самоубийств».

Какая страшная и жестокая болезнь, которая непременно влечет за собой самоубийство.

Самоубийство. Сергей убил себя. Такой жизнерадостный, он любил петь и плясать. Неутомимо и неудержимо, хоть несколько часов подряд, самозабвенно и красиво, с удалью, но без гика, а с мягкой улыбкой и чуть прикрытыми глазами.

Сережа, который легко и проникновенно писал такие светлые, подчас совершенно прозрачные и чистые строки. Мы совсем не следили за тем, как и когда он пишет. Он приходил и читал готовые стихи, всегда законченные, всегда стройные и отделанные. Вот он лежит мертвый, а мы совсем не знали, как он работает. Мы видели, как он пил, отводили его руки от стакана, увозили и от милиции, и хлопотали, и просили за него, помещали в больницы, а вот как он работал, совершенно не знали, даже не интересовались. Я любила его поэзию, я знала наизусть его стихи, а когда он их писал, когда обдумывал и как обдумывал – не знала. И не знаю, кто еще знает об этом, чтобы спокойно мог рассказать о его манере работать. Может быть, творил он в тишине, одиноко, когда никто даже глазом не мог смутить его покой, а может, он творил всегда сидя среди нас, разговаривая с нами, гуляя по улицам, встречаясь с друзьями. Только не тогда, когда он был пьян. Это был другой человек. «Черный человек»,

двойник Сергея Есенина.

И вот светлый Сережа, ясный, милый поэт, лежит в гробу, в Доме Печати, мы плачем, грустим, стараемся, кто как может, показать свою любовь и уважение.

Самая волнующая и странная была последняя ночь. Вышло так, что Соня Толстая и я остались одни около гроба Сергея. Все разошлись, Дом Печати заперли. Мы стояли у гроба, на мне было пальто, а Соня продрогла в одном платье, я обняла ее. Мы стояли, слушая, как за окном капала капель. Я стала тихонько читать стихи Сергея «Товарищ». Прочитав несколько строк, остановилась, Соня спросила:

– Что читаешь?

– Сережины стихи.

– Читай все, – попросила она, – я этих стихов не знаю.

И я ей прочитала до конца эти стихи, и потом опять молчали. В это время вошли в зал Наседкин и Малышев. С ними пришли поэты Миша Герасимов и Кириллов. Они подошли ко мне, и Герасимов сказал:

– Анна, Клюев прислал Сергею крест и просил надеть на него. Как ты думаешь, можно это сделать?

– Конечно, – ответила я и посмотрела на Соню. Она кивнула головой.

Когда расстегнули рубашку Сергея, моя рука коснулась шва, который был наложен при вскрытии; невольно отдернув руку от мертвенно холодной груди с широким и вздутым швом вскрытия, я отошла от гроба. Мне было невыносимо все это видеть. Крест был большой, медный, старообрядческий, на черном гайтане.

Надевая крест, сдвинули кожу на лбу, она наморщилась, страшно изменив лицо Сергея, он вдруг безумно постарел, и лоб стал маленький, в неестественно глубоких морщинах. И тогда Наседкин, ловко застегнув сорочку, подтянул кожу со лба на голову, и Сергей опять помолодел, и опять лицо стало обиженно-спокойное.

Кириллов и Герасимов, постояв около гроба, вышли. Наседкин прошел в соседнюю комнату, мы опять остались с Соней вдвоем.

Утром предполагалась гражданская панихида, но я знала, что мать Сергея отпевает его заочно у ранней обедни, и она хотела непременно предать его земле, то есть по христианскому обряду осыпать землей, рассыпая землю крестообразно. Она хотела в Дом Печати привести священника с причтом, чтобы тут совершить обряд отпевания, и пришлось долго ее уговаривать, что гражданские похороны с религиозным обрядом не совместимы.

Отговорить ее от того, чтобы она отпевала заочно, я не смогла, да и не особенно уговаривала. Мать хотела, и это было ее дело, как она провожала своего сына.

Но вот и рассвело. Прошла последняя ночь Сергея, хоть мертвого, но еще не погребенного.

Стали собираться родственники, друзья, товарищи. Дом Печати наполнился, и началась гражданская панихида.

Маленькая Танечка, дочка Сергея Есенина и Зинаиды Райх, стоит на табуретке и читает стихи отца «Воробушки».

Потом пришла мать Сергея и, причитая, наклонилась над сыном. Из руки она посыпала песок на Сергея, я поняла, что она его отдала земле.

Это было страшно и удивительно, как она, стараясь, чтобы не заметили люди, крестообразно посыпала сына песком. Вошла Катя. Помню ее бледную, с белой сиренью, которую она кладет на гроб брата, на которого она так похожа. У Шурочки красные глаза и припухлые губы. Она плачет.

Гроб вынесли и, не закрывая крышкой, понесли по Никитскому бульвару, потом по Тверскому к памятнику Пушкину и здесь, около памятника, обошли три раза вокруг него и пошли дальше на Ваганьковское кладбище.

На кладбище я не поехала. Поднялась к себе домой. Мы жили, как я уже писала, на Большом Гнездниковском переулке. Из нашей квартиры пахло блинами, стряпней, бегали от стола к кухне. Накрывали поминальный обед. Уснула я, как только донесла голову до подушки.

Разбудил меня Борис Андреевич Пильняк, он уже переменил у нас в доме носки и, надев ночные туфли, около батареи грел озябшие ноги. Он окликнул меня:

– Вставайте, мы с кладбища все приехали к вам.

В столовой было много товарищей, Есенины, какие-то незнакомые люди. Все сели за столы и начали поминать Сергея. Очень хорошо и тепло говорили о нем. Каждый старался вспомнить только хорошее. И Сергей, живой и ясный, был с нами за столом.

Все разъехались, и каждый приглашал в этот вечер вместе встретить Новый год. Но какой уж тут праздник, если печаль только еще входила в сердце каждого, кто знал и любил Сергея.

Довольно рано все улеглись спать и, видимо, уже спали, когда раздался звонок. Я встала и открыла дверь. Передо мной стояла Галина Артуровна Бениславская.

– Как же это вы его похоронили, а мне даже телеграммы не дали? – были ее первые, очень грустные слова. Упрек был законный. Как можно было забыть ее, верную и трогательную

подругу Сергея Александровича Есенина?

Галя вошла в квартиру.

– Где они все?

Я показала на комнату. Галя вошла туда.

Спать я уже не могла. Встала, оделась и пошла посмотреть, что делает Галя. Застала в ванной комнате Катю и Галю. Обе были в шубках, собирались куда-то.

– Далеко ли вы собрались?

Галя замешкалась с ответом, потом, поглядев на Катю, предложила:

– Поедем на кладбище с нами. Ему одному там в первую ночь очень тоскливо будет. Новый год встретим с ним. Поедем.

– Вы с ума сошли! – только и могла я сказать. – Никуда не пущу. – Я заперла дверь и ключ взяла себе.

Галя просила выпустить их, она так просила, что мне казалось, еще минута – и я их отпущу. Но, чтобы этого не случилось, ушла в кабинет и прилегла там.

Они долго сидели в ванной комнате, шушукались, потом потушили свет и пошли, видимо, спать.

Утром суета, поднявшаяся в доме, разбудила и меня. Искали ключ от двери, а он лежал у меня под головой.

Вот так мы похоронили Сережу, и начались совсем другие дела, связанные с его именем, с изданиями, с наследством, с законными, незаконными детьми, женами, вся та неразбериха, которая сопровождает большую часть смерть большого человека, окруженного обычными людьми со всеми их достоинствами и недостатками.

Мне из Ленинграда привезли фотографии, на которых Сергей был снят на секционном столе до вскрытия и после вскрытия. Потом его белую расческу, цветы и прядь его волос с запекшейся кровью.

У меня хранились его две рукописи: «Песнь о великом походе» и «Двадцать шесть». Я сдала их Софье Андреевне Толстой в музей, боясь потерять то, что принадлежало ему, Сергею. Туда же я отдала и фотографии, на которые я не могла смотреть…

Лица, упоминаемые в воспоминаниях

АДАЛИС (урожд. Ефрон) Аделина Ефимовна (1900–1969) – поэтесса, переводчица. В 1921 – ректор «Первой государственной профессиональной школы поэтики». Автор стихотворных сборников «Власть» (1934), «Братство» (1937) и др.

АКСЕЛЬРОД Иосиф Вениаминович – знакомый Есенина.

АЛЕКСАНДРОВА Елизавета Клавдиевна – актриса театра.

АЛЬТМАН Натан Исаевич (1889–1970) – живописец, график. Член объединения «Мир искусства». Один из основателей «Еврейского общества поощрения художеств».

АРГО (наст. имя и фам. Абрам Маркович Гольденберг; 1897–1968) – поэт-сатирик, переводчик стихотворений В. Гюго, О. Барбье, П.-Ж. Беранже.

АРОНСОН Александр Яковлевич – лечащий врач С. Есенина в больнице Ганнушкина.

АФАНАСЬЕВ-СОЛОВЬЕВ Иван Иванович – поэт, член «Воинствующего ордена имажинистов». Автор поэтических книг «Северная поэма» (1923), «Завоевание Петрограда» (1924), «Элегии» (1925).

АХМАТОВА (урожд. Горенко) Анна Андреевна (1889–1966) – поэт. Член «Цеха поэтов» (с 1911). Автор сборников «Вечер» (1912), «Четки» (1913), «Белая стая» (1917), «Подорожник» (1921), «Anno Domini MCMXXI» (1921), «Из шести книг» (1940), «Избранное» (1943), «Бег времени» (1965). Жена Н. Гумилева.

БАЙРОН (Byron) Джордж Ноэл Гордон (1788–1824) – английский поэт; член палаты лордов. В 1816 покинул Великобританию, жил в Италии. Автор поэм «Паломничество Чайльд Гарольда» (1812–1818), «Шильонский узник» (1816), «Манфред» (1817), «Каин» (1821), «Бронзовый век» (1823) и др., романа в стихах «Дон Жуан» (1819–1824).

БАЛИЕВ Никита Федорович (наст. имя и фам. Мкртич Асвадурович Балян; 1877 (по другим данным 1886) – 1936) – театральный деятель, эстрадный артист (конферансье), режиссер. В 1906 вступил в МХТ как пайщик, был секретарем Вл. И. Немировича-Данченко. С 1908 – актер Художественного театра, играл эпизодические роли. В 1912 ушел из труппы, оставшись пайщиком театра. Один из создателей театра «Летучая мышь» (1908). С 1920 – в эмиграции.

БЕДНЫЙ Демьян (наст. имя и фам. Ефим Алексеевич

Придворов; 1883–1945) – поэт, библиофил. Автор сборников «Басни» (1913), «Всякому свое» (1917), «Про землю, про волю, про рабочую долю» (1917–1918), «В огненном кольце» (1918), «Диво дивное» (1918), «Правда и кривда» (1918) и мн. др.

БЕЛЫЙ Андрей (наст. имя и фам. Борис Николаевич Бугаев; 1880–1934) – поэт, прозаик, критик, литературовед, мемуарист. Автор сборников «Золото в лазури» (1904), «Кубок метелей» (1908), «Пепел» (1909), «Урна» (1909), «Звезда» (1922), «После разлуки» (1922) и др.; романов «Серебряный голубь» (1910), «Петербург» (1916), «Котик Летаев» (1922), «Москва» (1926), «Крещеный китаец» (1927), «Маски» (1932), мемуарной трилогии «На рубеже двух столетий» (1930), «Начало века» (1933), «Между двух революций» (1934).

БЕНАР Наталья Владимировна (1902–?) – поэтесса, член Союза поэтов и объединения «Литературный особняк». Автор сборника стихов «Корабль отплывающий» (1922).

БЕНИСЛАВСКАЯ Галина Артуровна (1897–1926) – литературный работник, гражданская жена Есенина (1924).

БЕРЗИНА (БЕРЗИНЬ) Анна Абрамовна (1897–1961) – журналист, издательский работник, мемуарист.

БЕРЛИН Израиль Самойлович – издательский работник.

БЛОК Александр Александрович (1880–1921) – поэт, драматург, литературный критик. Автор сборников «Стихи о Прекрасной Даме» (1905), «Нечаянная радость» (1907), «Снежная маска» (1907), «Земля в снегу» (1908), «Ночные часы» (1911), «Круглый год» (1913), «Сказки» (1913), «Стихи о России» (1915); поэм «Соловьиный сад» (1915–1916), «Возмездие» (1917–1918), «Двенадцать» (1918); пьес «Балаганчик» (1906), «Король на площади» (1907), «Незнакомка» (1907), «Песня Судьбы» (1909), «Роза и Крест» (1913).

БОЛДОВКИН Василий Иванович (1903–1963) – брат П. И. Чагина, знакомый Есенина.

БРАУНИНГ Роберт (Browning; 1812–1889) – английский поэт. Автор стихотворного сборника «Действующие лица» (1864), романа в стихах «Кольцо и книга» (1868–1869), пьес и др.

БРАУНИНГ (урожденная Моултон, Moulton) Элизабет Барретт (1806–1861) – английская поэтесса. Жена Р. Браунинга. Автор романа в стихах «Аврора Ли» (1857), лирических стихотворений.

БРЮСОВ Валерий Яковлевич (1873–1924) – поэт, прозаик, драматург, критик, литературовед, переводчик, литературный и общественный деятель. Лидер русского символизма. Автор сборников «Chefs d'œuvre» («Шедевры», 1895), «Me eum esse» («Это – я», 1897), «Tertia vigilia» («Третья стража», 1900), «Urbi et orbi» («Городу и миру», 1903), «Stéfanoj. Венок. Стихи 1903–1905 гг.»

(1906), «Все напевы» (1909), «Зеркало теней» (1912), «Девятая Камена» (1918), «В такие дни» (1921), «Дали» (1922), «Меа» («Спеши», 1924) и др., романов «Огненный Ангел» (1908), «Алтарь Победы» (1911–1912), «Юпитер поверженный» (1934). В 1920 вступил в Коммунистическую партию. В 1917–1919 возглавлял Комитет по регистрации печати, заведовал отделом научных библиотек и литературным отделом Наркомпроса, занимал ответственные посты в Государственном ученом совете, Госиздате и др.; читал лекции в 1-м МГУ, организовал в 1921 Высший Литературно-художественный институт и был его первым ректором, преподавал в Коммунистической академии, в Институте слова.

БУДАНЦЕВ Сергей Федорович (1896–1940?) – писатель, поэт. Автор поэтического сборника «Пароходы в Вечности. Стихи 1916–1920» (1920), романов «Мятеж» (1922), «Саранча» (1927), «Повести о страдании ума» (1929) и др. В 1937 репрессирован; погиб в заключении.

БЯЛИК Хаим Нахман (1873–1934) – еврейский поэт. До 1920 жил в России, затем в эмиграции (с 1924 в Палестине). Писал в основном на иврите. Автор поэм «Мертвецы пустыни» (1902), «Сказание о погроме» (1904), «Огненная хартия» (1905) и др.

ВАРДИН (наст фам. Мгеладзе) Илларион Виссарионович (1890–1941) – критик, публицист, член Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП), редактор журнала «На литературном посту». Есенин жил в его квартире весной 1924.

ВЕРЖБИЦКИЙ Николай Константинович (1889–1973) – журналист, писатель, мемуарист.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Александр Николаевич (1838–1906) – российский филолог, литературовед, академик Петербургской АН (1880). Представитель сравнительно-исторического литературоведения; родоначальник исторической поэтики.

ВИНОГРАДСКАЯ Софья Семеновна (Селимоновна; 1901 или 1904–1964) – журналист, прозаик, мемуарист, в 1920-е гг. сотрудник газеты «Беднота». Подруга Г. Бениславской.

ВОЛОШИН (наст. фам. Кириенко-Волошин) Максимилиан Александрович (1877–1932) – поэт, литературный критик, художник. Участник выставок объединения «Мир искусства». Автор стихотворных сборников «Стихотворения. 1900–1910 (Годы странствий)» (1910), «Anno Mundi Ardentis 1915» («В год пылающего мира 1915», 1916), «Иверни. (Избранные стихотворения)» (1918), «Демоны глухонемые» (1919). Книга статей «Лики творчества» (т. 1, 1914).

ВОЛЬПИН Валентин Иванович (1891–1956) – поэт, переводчик, издательский работник.

ВОЛЬПИН Надежда Давыдовна (1900–1998) – поэтесса, прозаик, переводчик. Член «Ордена имажинистов», группы «Литературный особняк».

ВОРОНСКИЙ Александр Константинович (1884–1937) – критик, писатель. Редактор журнала «Красная новь» (1921–1927). Автор критических сборников «Искусство видеть мир» (1928), «Литературные портреты» (т. 1–2, 1928–1929), повестей «За живой и мертвой водой» (1927), «Бурса» (1933). Погиб в ГУЛАГе.

ВОРОНЦОВ Клавдий Петрович (1898–1962) – священнослужитель, товарищ детства С. Есенина.

ГАНИН Алексей Алексеевич (1893–1925) – поэт-имажинист. Автор сборников «Звездный корабль» (1920), «Мешок алмазов» (1920), «Былинное поле» (1924).

ГАННУШКИН Петр Борисович (1875–1933) – российский и советский психиатр. В 1904–1911 – приват-доцент Московского университета на кафедре душевных болезней. Организатор журнала «Современная психиатрия» (1907–1917). В 1908–1914 – ординатор Алексеевской психиатрической больницы, с 1914 – ординатор Петроградского морского госпиталя. С 1915 вновь работает в Московском университете, где в течение 15 лет возглавляет кафедру психиатрии.

ГЕЛЬЦЕР Екатерина Васильевна (1876–1962) – артистка балета. В 1896–1898 – артистка Мариинского театра (Петербург). В 1898–1935 работала в Большом театре, была основной исполнительницей в балетах А. А. Горского. С 1910 гастролировала за рубежом (выступала в антрепризе С. П. Дягилева). В 1925 первой из артисток балета удостоена звания народной артистки РСФСР.

ГЕРАСИМОВ Михаил Прокофьевич (1889–1939) – пролетарский поэт. Автор сборников «Вешние зовы» (1917; был запрещен цензурой и не вышел), «Завод весенний», «Железные цветы» (оба – 1919), «К соревнованию!» (1930) и др. В 1920 возглавлял литературную группу «Кузница».

ГЕРШТЕЙН Григорий Моисеевич (1869–1943) – врач Шереметевской больницы, впоследствии директор Института скорой помощи им. Н. В. Склифософского.

ГОРЬКИЙ Максим (наст. имя и фам. Алексей Максимович Пешков; псевд. Иегудиил Хламида; 1868–1936) – прозаик, драматург, поэт, литературный критик, общественный деятель. Один из учредителей книгоиздательского товарищества «Знание». Автор повестей «Фома Гордеев» (1899), «Трое» (1900), «Жизнь ненужного человека» (1908), «Городок Окуров» (1910), «Жизнь Матвея Кожемяки» (1910), «Детство» (1914), «В людях» (1918),

«Мои университеты» (1923) и др.; пьес «Мещане» (1902), «На дне» (1902), «Дачники» (1904), «Варвары» (1906), «Враги» (1906) и др.; романов «Мать» (1906), «Дело Артамоновых» (1925), «Жизнь Клима Самгина» (1927–1936).

ГОФМАН Эрнст Теодор Амадей (1776–1822) – немецкий писатель, композитор, художник.

ГРАНДОВ Михаил Семенович (1896–1961) – журналист, в 1918–1929 – заместитель ответственного редактора газеты «Беднота». Репрессирован в 1949. Реабилитирован в 1956.

ГРУЗИНОВ Иван Васильевич (1893–1942) – поэт, мемуарист. Член «Ордена имажинистов». Автор сборников «Бубны боли» (1915), «Бычья казнь» (1921), «Западня снов» (1921), «Имажинизма основное» (1921), «Роды» (1921), «Серафические подвески» (1922), «Избяная Русь» (1925), «Малиновая шаль» (1926).

ГУМИЛЕВ Николай Степанович (1886–1921) – поэт, переводчик, драматург, прозаик, литературный критик. Один из идеологов акмеизма. Основатель и «синдик» «Цеха поэтов» (1911). Один из организаторов и ведущий сотрудник журнала «Аполлон». Автор сборников «Путь конквистадоров» (1905), «Романтические цветы» (1908), «Жемчуга» (1910), «Чужое небо» (1912), «Колчан» (1916), «Костер» (1918), «Фарфоровый павильон» (1918), «Огненный столп» (1921), «Стихотворения. Посмертный сборник» (1922). Расстрелян по обвинению в антиправительственном заговоре.

ДИД ЛАДО (А. С. Белевский) – художник-шаржист, завсегдатай поэтического кафе «Стойло Пегаса», знакомый С. А. Есенина, А. Б. Мариенгофа, участник акций имажинистов.

ДОЛИДЗЕ Федор Яссеевич (Иессевич; 1883–1977) – импресарио литературных вечеров и концертов.

ДУНКАН Айседора (Duncan Isadora; 1878–1927) – американская танцовщица. В 1922–1924 – жена С. Есенина, приняла советское гражданство. Покинула СССР в 1927. Создала школу «Свободного танца».

ЕСЕНИН Илья Иванович (1902–1942?) – двоюродный брат С. Есенина.

ЕСЕНИН Константин Сергеевич (1920–1986) – сын С. Есенина и З. Райх, спортивный статистик.

ЕСЕНИНА Александра Александровна (1911–1981) – сестра поэта.

ЕСЕНИНА Екатерина Алексеевна (1905–1977) – сестра поэта.

ЕСЕНИНА Татьяна Федоровна (1875–1955) – мать поэта.

ЕСЕНИН-ВОЛЬПИН Александр Сергеевич (р. 1924) – сын С. Есенина и Н. Вольпин, математик, поэт, правозащитник. Живет в США.

ЕЧЕИСТОВ Георгий Александрович (1897–1946) – художник, иллюстратор. Оформлял сборники имажинистов.

ЖАБОТИНСКИЙ Владимир (Зеев) Евгеньевич (1880–1940) – писатель, драматург, деятель сионистского движения. До 1914 жил в России, после 1920 – в основном во Франции. Писал на иврите, русском, французском языках. Автор романа «Самсон Назорей» (1927), мемуаров «Повесть моих дней» (опубликованы в 1985).

ЖИСЛИНА Сусанна Семеновна – фольклорист.

ЖИЦ Федор Арнольдович (1892–1952) – поэт, журналист, литературный критик. Член группы «Литературный особняк», с 1925 – в составе объединения «Кузница».

ЗАХАРОВ-МЭНСКИЙ (наст. фам. Захаров) Николай Николаевич (1895 – после 1940) – поэт, критик, член правления Всероссийского союза поэтов, основатель групп «Литературный особняк» и «Неоклассики». Автор сборников «Черная роза» (1917), «Печали» (1922), Маленькая лампа» (1926), «Частушки» (1927) и др.

ЗЕМЕНКОВ Борис Сергеевич (1903–1963) – поэт-экспрессионист, автор сборника «Стеарин с проседью» (1920). В середине 1920-х гг. вошел в объединение художников «Бытие».

ЗИМИН Сергей Иванович (1875–1942) – московский антрепренер. Организовал в 1904 частный оперный театр в Москве, получивший название Оперный театр Зимина.

ИВАНОВ Всеволод Вячеславович (1895–1963) – писатель. Автор повестей «Партизаны» (1921), «Бронепоезд 14–69» (1922), «Цветные ветра» (1922); романов «Похождения факира» (1934–1935), «Ужгинский кремль» (опубликован в 1981), «У» (опубликован в 1988) и др.

ИВАНОВ Вячеслав Иванович (1866–1949) – поэт, драматург, критик, теоретик символизма, религиозный мыслитель. Организатор издательства «Оры». Автор сборников «Кормчие звезды» (1903), «Cor ardens» (ч. 1–2, 1911), «Нежная тайна» (1912), «Свет вечерний» (1962). С 1924 – в эмиграции.

ИВНЕВ Рюрик (наст. имя и фам. Михаил Александрович Ковалев; 1891–1981) – поэт, прозаик, мемуарист, переводчик. Автор сборников «Самосожжение» (1913), «Пламя пышет» (1913), «Золото смерти» (1916), «Солнце во гробе» (1921) и др.; романов «Несчастный ангел» (1917), «Любовь без любви» (1925),

«Открытый дом» (1927), «Богема» (1981) и др.

ИЗРЯДНОВ Юрий Сергеевич (1914–1938) – сын С. А. Есенина и А. Р. Изрядновой. Репрессирован.

ИЗРЯДНОВА Анна Романовна (1891–1946) – гражданская жена С. Есенина в 1913–1914.

ИОНОВ (наст. фам. Бернштейн) Илья Ионович (1887–1942) – издательский и партийный работник, поэт. Автор сборников «Алое поле» (1917), «Колос» (1921), «Октябрьские дни» (1926). Погиб в ГУЛАГе.

КАВЕРИН (наст. фам. Зильбер) Вениамин Александрович (1902–1989) – писатель. Автор романов «Исполнение желаний» (кн. 1–2, 1934–1936), «Два капитана» (кн. 1–2, 1938–1944; Государственная премия СССР, 1946), трилогии «Открытая книга» (1949–1956), «Двухчасовая прогулка» (1978), «Над потаенной строкой» (1989); повестей «Школьный спектакль» (1968), «Верлиока» (1982), «Загадка» (1984) и др.

КАЗИН Василий Васильевич (1898–1981) – поэт. Автор сборников «Рабочий май» (1922), «Избранные стихи» (1925), «Признания» (1928) и др.

КАМЕНСКИЙ Василий Васильевич (1884–1961) – поэт, прозаик, драматург, актер (в труппе Вс. Мейерхольда), художник. Публикации в футуристических сборниках «Молоко кобылиц», «Рыкающий Парнас», «Дохлая луна» и др.; автор сборников «Танго с коровами» (1914), «Нагой среди одетых» (1914; совм. с А. Кривцовым), «Девушки босиком» (1917) и др.

КАРПОВ Пимен Иванович (1887–1963) – поэт, прозаик, мемуарист. Автор сборников «Знойная лилия» (1911), «Русский ковчег» (1922), романа «Пламень. Из жизни и веры хлеборобов» (1914; конфискован цензурой), автобиографической книги «Верхом на солнце» (1933), «Из глубины» (1956).

КАСАТКИН Иван Михайлович (1880–1938) – прозаик, поэт. Автор сборников рассказов «Лесная быль» (1916), «Так было» (1935), «Избранные рассказы» (1937). Расстрелян.

КАТАЕВ Валентин Петрович (1897–1986) – писатель, поэт, драматург. Автор романов и повестей «Время, вперед!» (1932), «Белеет парус одинокий» (1-я часть тетралогии «Волны Черного моря», 1936–1961), «Сын полка» (1945), «Святой колодец» (1966), «Трава забвенья» (1967), «Алмазный мой венец» (1978) и др. Главный редактор журнала «Юность» (1955–1961).

КАЧАЛОВ (наст. фам. Шверубович) Василий Иванович (1875–1948) – драматический актер. На сцене с 1896, с 1900 – артист МХТа.

КАШИНА (урожд. Кулакова) Лидия Ивановна (1886–1937) –

владелица поместья в селе Константиново, знакомая Есенина, прототип Анны Снегиной в поэме С. Есенина «Анна Снегина».

КИРИЛЛОВ Владимир Тимофеевич (1890–1937) – поэт. Один из руководителей Пролеткульта. Автор сборников «Стихотворения» (1918), «Зори грядущего» (1919), «Железный Мессия» (1921), «Паруса» (1921), «Отплытие» (1923), «Рабочие шаги» (1924) и др.

КИТС (Keats) Джон (1795–1821) – английский поэт.

КЛЫЧКОВ (наст. фам. Лешенков) Сергей Антонович (1889–1937) – поэт, прозаик. Автор сборников «Песни. Печаль-Радость. – Лада. – Бова» (1911), «Потаенный сад» (1913), «Дубравна» (1918); романов «Сахарный немец» (1925), «Чертухинский балакирь» (1926), «Князь мира» (1928). Погиб в ГУЛАГе.

КЛЮЕВ Николай Алексеевич (1884–1937) – поэт, прозаик. Автор сборников «Сосен перезвон» (1912), «Братские песни» (1912), «Лесные были» (1913), «Мирские думы» (1916), «Медный Кит» (1919), «Песнослов» (кн. 1–2, 1919), «Изба и поле» (1928) и др. Погиб в ГУЛАГе.

КОГАН Петр Семенович (1872–1932) – историк литературы, критик, переводчик. Автор книг «Очерки по истории западноевропейских литератур» (т. 1–3, 1903–1910), «Очерки по истории древних литератур» (т. 1, «Греческая литература», 1907), «Очерки по истории новейшей русской литературы» (т. 1–3, 1908–1911), «Белинский и его время» (1911), «Н. Г. Чернышевский в русском освободительном движении» (1917), «Интеллигенция и народ» (1917), «Горький» (1928) и др.

КОЗЛОВСКАЯ Янина Мечиславовна (1901–1970) – в 1918–1929 – литературный работник, позже секретарь редакции газеты «Беднота», подруга Г. Бениславской. Арестована в 1936, до 1947 – в лагерях. Реабилитирована в 1956.

КОЛОБОВ Григорий Романович (1893–1952) – ответственный работник Народного комиссариата путей сообщения, член «Ассоциации вольнодумцев».

КОЛЬЦОВ Алексей Васильевич (1809–1842) – русский поэт. Автор стихотворений «Не шуми ты, рожь…» (1831), «Песня пахаря» (1831), «Косарь» (1836) и др.

КОМАРДЕНКОВ Василий Петрович (1897–1978) – живописец, театральный художник, мемуарист.

КОНЕНКОВ Сергей Тимофеевич (1874–1971) – скульптор. Принимал участие в выставках «Мира искусства», «Союза русских художников».

КРАНДИЕВСКАЯ-ТОЛСТАЯ Наталия Васильевна (урожд. Крандиевская; 1888–1963) – поэтесса, мемуарист. Автор сборников «Стихотворения» (1913), «Стихотворения. Книга 2»

(1919), «От лукавого» (1922). В 1915–1935 – жена А. Н. Толстого.

КРОТКИЙ Эмиль (наст. имя и фам. Эммануил Яковлевич Герман; 1892–1963) – поэт-сатирик. Автор сборников «Растопленный полюс» (1918), «Разговор с Вильсоном» (1919), «Скифский берег» (1920), «Шиворот-навыворот» (1923) и др.

КРУЧЕНЫХ Алексей Елисеевич (псевд. Александр Крученых; 1886–1968) – поэт, прозаик, теоретик футуризма, художник, мемуарист, коллекционер. Стихотворные сборники «Старинная любовь» (1912), «Помада» (1913), «Взорваль» (1913), «Поросята» (1913), «Возропщем» (1913), «Лакированное трико» (1919); книги «Вселенская война Ъ» (1916), «Зугдиди (Зудачества)» (1919) и др.

КРЫЛЕНКО Николай Васильевич (1885–1938) – российский и советский политический деятель. В Октябрьскую революцию член Петроградского военно-революционного комитета. В 1917–1918 – нарком, член Комитета по военно-морским делам, верховный главнокомандующий. С 1918 – в Верховном революционном трибунале при ВЦИК, с 1928 – прокурор РСФСР, с 1931 – нарком юстиции РСФСР, с 1936 – нарком юстиции СССР. Репрессирован.

КУГУШЕВА Наталья Петровна (в замуж. Сивачева; 1899–1964) – поэтесса, участница московских альманахов «СОПО», «Литературный особняк», литературной группы «Зеленая мастерская». С 1941 по 1956 находилась в ссылке.

КУЗМИН Михаил Алексеевич (1872–1936) – поэт, прозаик, критик, драматург, композитор (музыка к драме А. Блока «Балаганчик» и к трагедии Ф. Грильпарцера «Праматерь»). Основатель петербургской группы «эмоционалистов». Автор сборников «Сети» (1908), «Куранты любви» (1910), «Глиняные голубки» (1914), «Вожатый» (1918), «Нездешние вечера» (1921), «Параболы. Стихотворения. 1921–1922» (1923), «Форель разбивает лед» (1929), романа «Крылья» (1906) и других произведений.

КУЛАКОВ Иван Петрович (?–1911) – владелец поместья в селе Константиново, отец Л. И. Кашиной.

КУММИНГ Евгений Львович (псевд. Евг. Комнин) – литератор. С 1920 – в эмиграции, сотрудник журнала «Руль».

КУСИКОВ (наст. фам. Кусикян) Александр Борисович (1896–1977) – поэт. Вместе с С. Есениным выпустил сборник «Звездный бык» (1921). Автор сборников «Зеркало Аллаха» (1918), «Сумерки» (1919), «Поэма поэм» (1919), «Аль-Баррак» (1920), «Коевангелиеран» (1920), «В никуда» (1920), «Птица безымянная. Избранные стихи 1917–1921» (1922); поэм «Искандер Намэ» (1921), «Джуль Фикар» (1921). Автор песни «Слышен звон бубенцов издалека…». С 1922 – в эмиграции.

ЛЕВИНА-РОЗЕНГОЛЬЦ Ева Павловна (1898–1975) – живописец, график. Репрессирована в 1949. Реабилитирована в 1956.

ЛЕВИТ Теодор Маркович (1902–1942) – литературовед, критик, переводчик.

ЛЕЛЕВИЧ Г. (наст. имя и фам. Лабори Гилелевич Калмансон; 1901–1937) – критик, поэт, один из руководителей Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП). Автор стихотворных книг «Голод. Поэма» (1921), «Набат» (1921), «В Смольном» (1925).

ЛЕНИН (наст. фам. Ульянов) Владимир Ильич (1870–1924) – политический деятель и мыслитель, теоретик марксизма, создатель Коммунистической партии в России (РСДРП), руководитель Советского государства. На 2-м Всероссийском съезде Советов (1917) избран Председателем Совета Народных Комиссаров (СНК), Совета рабочей и крестьянской обороны (с 1919 – СТО); член Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) и Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК) СССР.

ЛЕОНОВ Леонид Максимович (1899–1995) – писатель. Автор повестей и романов «Барсуки» (1924), «Вор» (1927), «Соть» (1929), «Скутаревский» (1932), «Дорога на океан» (1936), «Русский лес» (1953) и др.

ЛЕСКОВ Николай Семенович (1831–1895) – русский писатель. Автор романов «Некуда» (1864), «На ножах» (1870–1871), «Соборяне» (1872), «Захудалый род» (1874), повестей и рассказов «Очарованный странник» (1873), «Однодум» (1879), «Левша» (1881) и др.

ЛИБЕДИНСКИЙ Юрий Николаевич (1898–1959) – писатель. Автор повестей «Неделя» (1922), «Завтра» (1923), «Комиссары» (1925), «Накануне» (1928), «Рождение героя» (1930) и др. Один из руководителей Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП), член литературной группы «Октябрь».

ЛИВШИЦ Евгения Исааковна (1901–1961) – знакомая Есенина.

ЛИВШИЦ Маргарита Исааковна (1903–?) – знакомая Есенина.

ЛОМАН Дмитрий Николаевич (1868–1918) – штаб-офицер для особых поручений при Дворцовом коменданте, ктитор Феодоровского Государева собора, начальник Царскосельского полевого военно-санитарного поезда № 143.

ЛУНАЧАРСКИЙ Анатолий Васильевич (1875–1933) – критик, публицист, искусствовед, драматург. Автор книг «Этюды критические и полемические» (1905), «Театр. Книга о новом театре» (1908), «Религия и социализм» (1908–1911) и др. Первый нарком просвещения СССР. С 1930 – академик.

ЛЬВОВ-РОГАЧЕВСКИЙ В. (наст. имя и фам. Василий Львович Рогачевский; 1874–1930) – литературный критик, литературовед. Автор критических очерков о В. Вересаеве, М. Горьком, П.-Ж. Беранже, Э. Верхарне; книг «Рабоче-крестьянские писатели. Библиографический указатель» (1926), «Очерки пролетарской литературы» (1927).

МАЛКИН Борис Федорович – заведующий агентством «Центропечать» (1918), издательский работник.

МАНДЕЛЬШТАМ Осип Эмильевич (1891–1938) – поэт. Член «Цеха поэтов». Автор сборников «Камень» (1913), «Tristia» (1923), «Стихотворения» (1928); книг «Шум времени» (1925), «Египетская марка» (1928). Погиб в ГУЛАГе.

МАР (наст. фам. Чалхушьян) Сусанна Георгиевна (1901–1965) – поэтесса, переводчица (Киплинг, Тагор, А. Мицкевич, Саломея Нерис и др.); входила в группу «ничевоков» и, позже, в «Орден имажинистов». Автор стихотворного сборника «Абем» (1922). В первом браке жена поэта Р. Рока (лидера «ничевоков»), во втором – поэта И. А. Аксенова.

МАРИЕНГОФ Анатолий Борисович (1897–1962) – поэт, драматург, мемуарист. Один из основателей имажинизма. Стихотворные сборники «Витрина сердца» (1918), «Кондитерская солнц» (1919), «Руки галстухом» (1920), «Стихами чванствую» (1921), «Тучелет» (1921); поэм «Магдалина» (1919), «Развратничаю с вдохновением» (1921), «Разочарование» (1921).

МАРИЕНГОФ Кирилл Анатольевич (1923–1940) – сын А. Б. Мариенгофа и А. Никритиной. Покончил с собой.

МАСС Владимир Захарович (1896–1979) – драматург. Автор пьес «В кольце» (1921), «Авантюра» (1924), «Деревенская новь» (1924), «Комсомольцы в деревне» (1924), «Пелагея Сорокина» (1925) и др.

МАЯКОВСКИЙ Владимир Владимирович (1893–1930) – поэт, художник-график. Член объединения «Гилея». Участник сборников и альманахов «Садок судей. II», «Требник троих», «Пощечина общественному вкусу», «Дохлая луна», «Рыкающий Парнас», «Молоко кобылиц», и др. Автор сборников «Я!» (1913), «Облако в штанах» (1915), «Простое как мычание» (1916), «Флейта-позвоночник» (1916), «Война и мир» (1917), «Человек» (1918), «150 000 000» (1921), «Люблю» (1922), «Лирика» (1923), «13 лет работы» (в 2 т., 1922), «Про это» (1923) и др.

МЕЙЕРХОЛЬД Всеволод Эмильевич (1874–1940) – актер, режиссер, теоретик театра. На сцене с 1896. В 1898–1902 – актер МХТ; в 1902–1905 – актер и режиссер «театра новой драмы»; в 1906–1907 – главный режиссер театра В. Комиссаржевской;

с 1908 – режиссер Александринского театра. Редактор-издатель журнала «Любовь к трем апельсинам» (1914–1916). Муж З. Н. Райх. Погиб в ГУЛАГе.

МИКЛАШЕВСКАЯ Августа Леонидовна (1891–1977) – актриса, возлюбленная С. Есенина.

МУРАН Константин Михайлович – журналист.

НАЗАРОВА Анна Гавриловна (1901–1972) – журналист, издательский работник, редактор. В 1920-е гг. – сотрудник газеты «Беднота». Подруга Г. Бениславской.

НАСЕДКИН Василий Федорович (1895–1940) – поэт, мемуарист, знакомый Есенина в 1920-е гг. Автор стихотворных сборников «Теплый говор» (1927), «Ветер с поля» (1931), «Стихи. 1922–1932» (1933).

НЕЖДАНОВА Антонина Васильевна (1873–1950) – певица (лирико-колоратурное сопрано). На сцене Большого театра с 1902.

НИКИТИН Николай Николаевич (1895–1963) – писатель. Автор книг рассказов «Рвотный форт» (1922), «Камни» (1922), «Бунт» (1922), повести «Полет» (1923) и др.

НИКРИТИНА Анна Борисовна (1900–1982) – актриса театра А. Таирова, жена А. Мариенгофа.

ОБОЛДУЕВ Георгий Николаевич (1898–1954) – поэт, переводчик. Печатался с 1929, в 1933–1939 – в ссылке. Муж поэтессы Е. А. Благининой.

О. ГЕНРИ (O. Henry) (наст. имя и фам. Уильям Сидни Портер, Porter; 1862–1910) – американский писатель. Автор юмористических новелл, сатирической притчи «Короли и капуста» (1904).

ОРЕШИН Петр Васильевич (1887–1938) – поэт, писатель. Автор сборников «Зарево» (1918), «Красная Русь» (1918), «Дулейка» (1920), «Снегурочка» (1920), «Березка» (1920), «Набат» (1921) и др.

ОСОРГИН (наст. фам. Ильин) Михаил Андреевич (1878–1942) – писатель, журналист, мемуарист. Автор романа «Сивцев Вражек» (1928). С 1922 – в эмиграции.

ПАНФИЛОВ Григорий Андреевич (1893–1914) – друг отрочества и ранней юности С. Есенина.

ПАСТЕРНАК Борис Леонидович (1890–1960) – поэт, прозаик, переводчик. Член группы «Центрифуга». Автор сборников «Близнец в тучах» (1914), «Поверх барьеров» (1917), «Сестра моя жизнь» (1922), «Темы и варьяции» (1923), «Избранное стихов и

поэм» (1945) и др.; романа в стихах «Спекторский» (1931), романа «Доктор Живаго» (1946–1955). Лауреат Нобелевской премии (1958). Сын художника Л. Пастернака.

ПИЛЬНЯК (наст. фам. Вогау) Борис Андреевич (1894–1938) – писатель. Автор романов и повестей «Голый год» (1921), «Повести непогашенной луны» (1926), «Красное дерево» (1929), «Волга впадает в Каспийское море» (1930) и др.

ПОВИЦКИЙ Лев Иосифович (1885–1974) – журналист, мемуарист.

ПОКРОВСКИЙ Сергей Петрович – сотрудник газеты «Беднота».

ПОЛОНСКИЙ Яков – поэт. Автор сборников «Вино волос» (1921), «Клубок осени» (1921).

ПОЛОЦКИЙ Семен Анатольевич (1905–1952) – поэт, член «Воинствующего ордена имажинистов».

ПОПОВ И. Я. – см. Смирнов И. Я.

ПРИБЛУДНЫЙ Иван (наст. имя и фам. Яков Петрович Овчаренко; 1905–1937) – поэт. Автор сборников «Тополь на камне» (1926), «С добрым утром» (1931).

РАБИНОВИЧ Марцел – знакомый Есенина.

РАЙХ Зинаида Николаевна (1894–1939) – жена С. Есенина в 1917–1920, впоследствии вторая жена В. Э. Мейерхольда, актриса театра Мейерхольда. Мать Татьяны и Константина Есениных. Убита при невыясненных обстоятельствах.

РЕЙСНЕР Лариса Михайловна (1895–1926) – поэтесса, критик, публицист, драматург. Вместе с отцом издавала журналы «Богема» и «Рудин» (1915–1916). Член «Кружка поэтов» (Пг., 1916). Автор книг «Фронт» (1924), «Афганистан» (1925), «Гамбург на баррикадах» (1925). Жена Ф. Раскольникова.

РИЧИОТТИ Владимир (наст. имя и фам. Леонид Иосифович Турутович; 1899–1939) – поэт, мемуарист, один из лидеров «Воинствующего ордена имажинистов». Автор сборников «Осьмина» (1922), «Коромысло глаз» (1923).

РОГИНСКИЙ Яков Яковлевич (1895–1986) – российский антрополог, доктор биологических наук. Профессор МГУ. Автор трудов по проблемам антропогенеза, расоведения, морфологии человека.

РОДОВ Семен Абрамович (1893–1968) – поэт, критик, ответственный секретарь Московской ассоциации пролетарских писателей (МАПП). Автор поэтических сборников «Мой сев» (1918), «Огненный Ураган» (1920), «Перебежка зарниц» (1921), «Стальной строй» (1923), «Северный взлет» (1924) и др.

РОЗАНОВ Иван Никанорович (1874–1959) – литературовед,

библиофил. Автор книг «Русская лирика» (1914), «Пушкинская плеяда» (1923), «Литературные репутации» (1928) и др.

РОЙЗМАН Матвей Давидович (1896–1973) – поэт, писатель, мемуарист. Автор сборников «Красный алкоголь» (совместно с В. Шершеневичем, 1922), «Хевронское вино» (1923), «Пальма» (1925) и др.; романов «Минус шесть» (1928), «Эти господа» (1932) и др.

РЫКАЧЕВ Яков (наст. фам. Шихман; 190? – после 1948) – литературный критик, член Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП). Репрессирован.

САКУЛИН Павел Николаевич (1868–1930) – литературовед. Один из основателей журнала «Голос минувшего». Автор книг «Первобытная поэзия (в связи с вопросом о процессе народно-поэтического творчества)» (1905), «Из истории русского идеализма. Кн. В. Ф. Одоевский. Писатель. Мыслитель» (1913), «В. А. Жуковский» (1915) и др.

САХАРОВ Александр Михайлович (1894–1952) – издатель, близкий товарищ С. Есенина, мемуарист.

СЕВЕРЯНИН Игорь (наст. имя и фам. Игорь Васильевич Лотарев; 1887–1941) – поэт, мемуарист. Лидер эго-футуризма. Автор сборников «Громокипящий кубок» (1913), «Златолира» (1914), «Ананасы в шампанском» (1915), «Victoria regia» (1915), «Тост безответный» (1916), «Миррэлия» (1922), «Классические розы» (1931), «Медальоны» (1934) и др. С 1920 – в эмиграции.

СИВАЧЕВ Михаил Гордеевич (1877–1937) – писатель, драматург. Входил в литературную группу «Кузница». Автор повестей «Цветы земли и неба» (1912), «Балаханы» (1926) и др.

СИДОРОВ Гурий – поэт. Автор сборников «Ведро огня» (1919), «Ходули» (1920), «Ялик» (1920), «Расколотое солнце» (1920), «Стебли» (1922).

СКЛИФОСОВСКИЙ Николай Васильевич (1836–1904) – российский хирург.

СКРЯБИН Александр Николаевич (1872–1915) – композитор, пианист. Ученик Г. Конюса, С. Танеева, А. Аренского. Профессор Московской консерватории (1898–1904). Автор «Божественной поэмы» (3-я симфония, 1904), «Поэмы экстаза» (1907), 10 сонат, поэм, прелюдий для фортепиано и др.

СМИРНОВ Иван Яковлевич (1846–1929) – священник в селе Константиново.

СОБИНОВ Леонид Витальевич (1872–1934) – певец (лирический тенор). На сцене с 1897. Солист Большого театра (1897–1904; 1907–1915; 1921–1933). Заслуженный артист императорских театров (1910). Солист Его Императорского Величества (1913). В разные годы был директором Большого театра (1917–1918; 1921).

СОКОЛОВ Ипполит – поэт-«экспрессионист», автор сборника «Бунт экспрессиониста» (1919), брошюр «Ренессанс XX века. Манифест. Великие революции в философии, науке, искусстве» (1921), «Имажинистика» (1921).

СОКОЛОВ Константин Алексеевич (1887–1963) – художник, один из близких друзей С. Есенина.

СОСНОВСКИЙ Лев Семенович (1886–1937) – литературный критик, публицист.

СТАРЦЕВ Иван Иванович (1896–1967) – журналист, издательский работник, один из участников имажинистского движения.

СТЕНИЧ (наст. фам. Сметанич) Валентин Осипович (1897–1938) – критик, поэт, переводчик. Переводы произведений К. Честертона, Р. Киплинга, Дж. Дос Пассоса, Ш. Андерсона, Дж. Джойса, Дж. Свифта и др. Герой очерка А. Блока «Русские дэнди» (1918). Погиб в ГУЛАГе.

СТЫРСКАЯ Елизавета – поэтесса. Автор сборника «Мутное вино» (1922).

СЫТИН Иван Дмитриевич (1851–1934) – московский издатель и книготорговец, мемуарист. В 1876 открыл в Москве литографию, поставлявшую лубочные картины и книги на Никольский рынок. С 1883 организовал издательское товарищество «И. Д. Сытин и К°». С 1884 взял на себя издание книг издательства «Посредник», основанного при содействии Л. Н. Толстого. В 1891 основал «Товарищество печатания, издательства и книжной торговли И. Д. Сытина и К°». Издавал газету «Русское слово» (1897–1917), журналы «Вокруг света» (1891–1917, с 1911 с приложением «На суше и на море», которое в 1916 получило название «Журнал приключений»), «Искры» (1901–1916), «Хирургия» (1897–1898) и др. В 1916 приобрел большинство паев изд-ва А. Ф. Маркса, в том числе журнал «Нива». К 1914 издательство Сытина выпускало четверть всей книжной продукции России.

ТАИРОВ (наст. фам. Корнблит) Александр Яковлевич (1885–1950) – актер, режиссер. Организатор (1914) и художественный руководитель Камерного театра. На сцене с 1905.

ТАЛЬЯН (по мужу Тертерян) Шагандухт (Шаганэ) Нерсесовна (1900–1976) – учительница, знакомая С. Есенина по Батуму.

ТАРАСОВ-РОДИОНОВ Александр Игнатьевич (1885–1938) – писатель, военный деятель, член РСДРП с 1905. Член Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП), литературных групп «Кузница» и «Октябрь». Автор повести «Шоколад» (1922). Репрессирован в 1938. Расстрелян.

ТИТОВ Федор Андреевич (1846–1927) – дед Есенина по матери.

ТИТОВА Наталья Евтеевна (ум. 1912) – бабушка Есенина по матери.

ТОЛСТОЙ Алексей Николаевич (1883–1945) – прозаик, драматург, поэт. Автор сборников стихов «Лирика» (1907), «За синими реками» (1911), рассказов «Сорочьи сказки» (1910), романов «Две жизни» (1911), «Хромой барин» (1912), «Сестры» (1922), «Аэлита» (1923) и др. С 1918 по 1923 – за границей.

ТОЛСТОЙ Лев Николаевич, граф (1828–1910) – прозаик, драматург, публицист, общественный деятель. Автор цикла «Севастопольские рассказы» (1855); повестей «Детство» (1852), «Отрочество» (1854), «Юность» (1857), «Люцерн» (1857), «Казаки» (1863), «Смерть Ивана Ильича» (1886), «Крейцерова соната» (1891) и др.; романов «Война и мир» (1865–1869), «Анна Каренина» (1876–1877), «Воскресение» (1899). Организатор и один из деятельных участников издательства «Посредник» (с 1884).

ТОЛСТАЯ Софья Андреевна (1900–1957) – последняя жена Есенина. В 1926–1929 – организатор музея С. Есенина в Москве.

ТРОЦКИЙ (наст. фам. Бронштейн) Лев Давидович (1879–1940) – российский политический деятель, публицист. В 1917 – председатель Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, один из руководителей Октябрьского вооруженного восстания. В 1917–1918 – нарком по иностранным делам; в 1918–1925 – нарком по военным делам, председатель Реввоенсовета Республики; один из создателей Красной Армии.

УТЕСОВ Леонид Осипович (1895–1982) – артист эстрады, народный артист СССР (1965). Выступал на эстраде с 1911. Организатор (1929), руководитель и солист первого советского джазового коллектива – «Теа-джаза» (позднее Государственный эстрадный оркестр РСФСР), с которым снялся в фильме «Веселые ребята» (1934).

УТКИН Иосиф Павлович (1903–1944) – поэт. Автор поэтических книг и сборников «Повесть о рыжем Мотэле» (1925), «Первая книга стихов» (1927), «Лирика» (1927), «Публицистическая лирика» (1931), «Избранные стихи» (1933), «Стихи» (1935) и др.

ФОРЕГГЕР (наст. фам. Грейфентурн) Николай Михайлович (1892–1939) – режиссер, балетмейстер. В 1918 организовал в Москве театр «Четырех масок», в котором поставил «Вечер французских фарсов» с участием И. Ильинского, А. Кторова. В

1920 руководил мастерской «Мастфор» («Мастерская Фореггера»).

ФУРМАНОВ Дмитрий Андреевич (1891–1926) – советский писатель. В 1919 – комиссар 25-й стрелковой дивизии (командир В. И. Чапаев). Автор романов «Чапаев» (1923) и «Мятеж» (1925), повести «Красный десант» (1922).

ХАЦРЕВИН Захар Львович (1903–1941) – писатель, автор сборника рассказов «Тегеран» (1933) и др. Погиб на фронте.

ХЛЕБНИКОВ Велимир (наст. имя Виктор Владимирович; 1885–1922) – поэт, прозаик, драматург. Один из идеологов литературно-художественного объединения футуристов «Гилея». Участник сборников «Садок судей» (1910), «Пощечина общественному вкусу» (1912), «Дохлая луна» (1913), «Требник троих». Автор сборников «Ряв!» (1914), «Творения» (1914), «Изборник стихов» (1914), «Доски судьбы» (1922), «Стихи» (1923) и др.; поэм «Журавль» (1909), «Маркиза Дэзес» (1909–1911), «Война в мышеловке» (1915–1922), «Ладомир» (Харьков, 1921), «Берег невольников» (1921) и др.

ЧАГИН (наст. фам. Болдовкин) Петр Иванович (1898–1967) – секретарь ЦК КП Азербайджана, издательский работник, журналист, редактор газеты «Бакинский рабочий».

ЧАРЕНЦ (наст. фам. Согомонян) Егише Абгарович (1897–1937) – армянский поэт. Автор сборников «Эпический рассвет» (1930), «Книга пути» (1933), романа «Страна Наири» (1922). Репрессирован; реабилитирован посмертно.

ЧЕКРЫГИН Василий Николаевич (1897–1922) – живописец, график, поэт. Участник футуристической выставки «№ 4». Оформил книгу В. Маяковского «Я!» (1913). Организатор объединения московских художников «Маковец» (1922). Трагически погиб.

ШЕВЧЕНКО Тарас Григорьевич (1814–1861) – украинский поэт, художник. Автор стихотворного сборника «Кобзарь» (1840; более полное издание – 1860); поэм «Катерина» (1839), «Гайдамаки» (1841), «Сон» (1844), «Наймичка» (1845), «Неофиты» (1857), «Мария» (1859); пьесы «Назар Стодоля» (1843).

ШЕЛЛИ Перси Биши (1792–1822) – английский поэт, драматург. Автор поэм «Королева Маб» (1813), «Восстание Ислама» (1818), трагедии «Ченчи» (1819), лирической драмы «Освобожденный Прометей» (1820).

ШЕНГЕЛИ Георгий Аркадьевич (1894–1956) – поэт, переводчик, теоретик стиха. Автор стихотворных сборников «Розы с кладбища» (1914), «Зеркала потускневшие» (1915), «Лебеди

закатные» (1915), «Гонг» (1916), «Апрель над обсерваторией» (1917), «Еврейские поэмы» (1919), «Раковина» (1918, 2-е изд. – 1922), «Изразец» (1921) и др.; драматических поэм «Нечаев» (1920), «1871» (1921), «Броненосец Потемкин» (1923), исследования «Трактат о русском стихе» (1923).

ШЕРШЕНЕВИЧ Вадим Габриэлевич (1893–1942) – поэт, один из главных теоретиков имажинизма, переводчик, мемуарист. Член объединения «Гилея». Лидер московской группы футуристов «Мезонин поэзии». Член «Ордена имажинистов». Автор сборников «Весенние проталинки» (1911), «Романтическая пудра» (1913), «Экстравагантные флаконы» (1913), «Carmina» (1913), «Автомобильная поступь» (1916), «Крематорий» (1918), «Лошадь как лошадь» (1920), «Одна сплошная нелепость» (1922), «Итак итог» (1926) и др.

ШКАПСКАЯ (урожд. Андреевская) Мария Михайловна (1891–1952) – поэтесса. Автор сборников «Mater dolorosa» (1920), «Час вечерний» (1922), «Барабан Строгого Господина» (1922), «Кровь-руда» (1922), «Книга о Лукавом Сеятеле» (1923), «Ца-ца-ца» (1923), «Явь. Поэма» (1923), «Земные ремесла» (1925).

ШМЕРЕЛЬСОН Григорий Бенедиктович – поэт, член «Воинствующего ордена имажинистов». Автор сборников «Длань души» (1920), «Города хмурь» (1922).

ШНЕЙДЕР Илья Ильич (1891–1980) – журналист, театральный работник, мемуарист, директор-администратор балетной школы-студии А. Дункан.

ШОУ (Shaw) Джордж Бернард (1856–1950) – английский писатель, драматург. Один из учредителей социал-реформистского «Фабианского общества» (1884). Автор романа «Социалист-любитель» (1883), пьес «Дома вдовца» (1892), «Профессия г-жи Уоррен» (1894), «Цезарь и Клеопатра» (1901), «Андрокл и лев» (1913), «Пигмалион» (1913), «Тележка с яблоками» (1929) и др.

ЭЙЗЕНШТЕЙН Сергей Михайлович (1898–1948) – советский кинорежиссер, теоретик кино, педагог, заслуженный деятель искусств (1935), профессор (1937), доктор искусствоведения (1939), лауреат Государственной премии СССР (1941, 1946).

ЭРЛИХ Вольф Иосифович (1902–1937) – поэт, член «Воинствующего ордена имажинистов». Автор сборников «В деревне» (1926), «Волчье солнце» (1928), «Книга стихов» (1934) и др.

ЮТКЕВИЧ Сергей Иосифович (1904–1985) – российский режиссер и теоретик кино, художник, народный артист СССР (1962), доктор искусствоведения. Герой Социалистического Труда

(1974). Создатель фильмов «Кружева» (1928), «Встречный» (1932; с Ф. М. Эрмлером), «Человек с ружьем» (1938), «Отелло» (1956; приз Международного кинофестиваля в Канне), «Рассказы о Ленине» (1958), «Сюжет для небольшого рассказа» (1969; Золотая медаль Международного кинофестиваля в Венеции) и др. Профессор ВГИКа (с 1940).

ЯКУЛОВ Георгий (Жорж) Богданович (1884–1928) – театральный художник, живописец, график. Сотрудничал с журналом «Золотое Руно», издательством «Альциона». Участник выставок «Мир искусства» (1911–1915, 1917), «Союз русских художников» (1915). Оформлял кафе «Стойло Пегаса» и «Питтореск» в Москве (1919; совместно с В. Татлиным и А. Родченко).

Источники публикуемых текстов

Есенина Т. Ф. О сыне // Сергей Есенин в стихах и в жизни / Сост. Н. И. Шубникова-Гусева. М.: Республика, 1995. С. 5–6.

Есенина Е. А. В Константинове (с сокращениями) // Сергей Есенин в стихах и в жизни / Сост. Н. И. Шубникова-Гусева. М.: Республика, 1995. С. 9–28.

Есенина А. А. «Это все мне родное и близкое» (с сокращениями) // Сергей Есенин в стихах и в жизни / Сост. Н. И. Шубникова-Гусева. М.: Республика, 1995. С.33–48.

Изряднова А. Р. Воспоминания // Сергей Есенин в стихах и в жизни / Сост. Н. И. Шубникова-Гусева. М.: Республика, 1995. С. 59–60.

Есенина Т. С. Зинаида Николаевна Райх // Сергей Есенин в стихах и в жизни / Сост. Н. И. Шубникова-Гусева. М.: Республика, 1995. С. 444–452.

Вольпин Н. Д. Свидание с другом // Как жил Есенин / Сост. А. Л. Казаков. Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство, 1992. С. 229–352.

Крандиевская-Толстая Н. В. Сергей Есенин и Айседора Дункан. Встречи // Сергей Есенин в стихах и в жизни / Сост. Н. И. Шубникова-Гусева. М.: Республика, 1995. С. 331–337.

Бениславская Г. А. Воспоминания // С. А. Есенин. Материалы к биографии / Сост. Н. И. Гусева, С. И. Субботин, С. В. Шумихин. М.: Историческое наследие, 1993. С. 18–96.

Миклашевская А. Л. Встречи с поэтом // Сергей Есенин в стихах и в жизни / Сост. Н. И. Шубникова-Гусева. М.: Республика, 1995. С. 368–376.

Тальян Ш. Н. Воспоминания (с сокращениями) // Дон. 1968. № 10.

Берзина (Берзинь) А. А. Воспоминания. Печатаются (с исправлениями) по машинописи, хранящейся в Государственном Литературном музее: Ф. 4. Оп. 2. Д. 36.

notes

Примечания

1

После окончания Константиновского земского четырехгодичного училища Есенин с сентября 1909 г. по май 1912 г. учился в Спас-Клепиковской второклассной учительской школе.

2

Речь идет об издателе И. Д. Сытине.

3

Прозвище бабы, которая жила у нас в селе.

4

Н. П. Кашин, муж Л. И. Кашиной, был в то время преподавателем русской словесности, затем стал литературоведом.

5

Есенин находился в Константинове с 10 до 16 июля.

6

В январском номере детского журнала «Мирок» в 1914 г. под псевдонимом «Аристон» было опубликовано стихотворение Есенина «Береза». Это его первая известная публикация.

7

Слова «не помню их имен» справедливы для того времени, когда эта статья печаталась в сб. «Есенин и современность» (изд во «Современник», 1975). Теперь я могу назвать одного из спутников – это был приятель моего отца поэт А. А. Ганин. Эта фамилия не «всплыла» в памяти сама собой. В ЦГАЛИ хранится план воспоминаний моей матери о Есенине. Воспоминания написаны не были, а с планом я познакомилась сравнительно недавно. Ганин упомянут в том пункте, где речь идет о поездке к Белому морю.

8

Венчание состоялось 30 июля 1917 г. в Кирико Иулиттовской церкви Вологодского уезда.

9

Из стихотворения «Исус младенец» (1916).

10

Т. е. отсутствие ударения там, где ему надлежало – или дозволено – быть по метрической схеме. – *Н. В.*

11

Строка из знаменитого стихотворения Лонгфелло «Псалом жизни» (евангельская цитата). – *Н. В.*

Gordon McVay. «Isadora and Esenin», Ardis, 1980.

13

Букв.: томление жизнью (*лат.*).

14

Псевдоним Сусанны Чалхушьян, участницы группы поэтов «ничевоков», прибывших из Ростова в Москву в начале 1920 г.

15

Метафора – иносказательное выражение, построенное на сходстве. Метонимия – иносказание, основанное на близости или внутренней связи понятий. – *Н. В.*

16

«Хозяином кафе» Есенин не был – хотя и получал какую-то скромную долю от доходов. Однако перед другими поэтами любил выставить себя в «Стойле Пегаса» именно хозяином. Но мне это не было тогда известно. – *Н. В.*

17

По эпиграмме Абрама Арго на «Литературный особняк»:
«Чижики чирикают у господа в саду его,
Лирики лирикают под крылышком Адуева». – *Н. В.*

18

Елизавета Стырская, поэтесса из Одессы, жена Эмиля Кроткого.

19

Герой одноименной трагедии Иннокентия Анненского. – *Н. В.*

20

Анатолий Васильевич Луначарский.

21

Но вы говорите по-американски с английским акцентом (*англ.*).

22

Ваша бессловесная любовь так трогательна! (*нем.*)

23

В двадцатых годах легенда о великой любви Пушкина к Волконской еще не вызывала сомнений. – *Н. В.*

24

В двадцатых годах легенда о великой любви Пушкина к Волконской еще не вызывала сомнений. – *Н. В.*

25

Белокурое животное (*лат.*).

26

По народному поверью, жизнь сложится у сына счастливо, если он похож на мать, у дочки – если на отца. – *Н. В.*

27

Точная дата этой встречи не установлена. Предположительно она соотносится с Вербной неделей (Пасха в 1917 г. приходилась на 2 апреля).

28

Кто это? (*фр.*)

29

Встреча происходила 17 мая 1922 г.

30

Слушайте (*фр.*).

31

Только (*фр.*).

32

Это прекрасно (*фр.*).

33

Воскресное платье (*нем.*).

34

Скажи мне «сука», скажи мне «стерва» (*смесь фр. с русск.*).

35

Покиньте немедленно этот бордель… и следуйте за мной (*фр.*).

36

Козловская Янина Мечиславовна, подруга Г. Бениславской.

37

Есенина видела <я> в первый раз в жизни в августе или сентябре в Политехническом музее на вечере всех литературных групп. Кто-то читал стихи, и в это время появились Мариенгоф и Есенин в цилиндрах. Есенину цилиндр – именно как корове седло. Сам небольшого роста, на голове высокий цилиндр – комичная кинематографическая <фигура>. (*Примеч. авт.*)

Н. В. Крыленко.

39

Далее следует отступление Г. А. Бениславской. Она приводит письмо, которое Есенин получил во время поездки с И. Дункан по Европе. (*Примеч. ред.*)

40

Московское управление недвижимыми имуществами.

Александра Есенина, младшая сестра поэта.

Грандова, родственница М. С. Грандова.

43

Райх, жена Есенина в 1917–1921 гг.

Всероссийская ассоциация пролетарских писателей.

45

Домашнее прозвище жены Мариенгофа Анны Никритиной.

Имеется в виду Лев Повицкий, знакомый Есенина.

47

Клавдий Петрович Воронцов (1898–1962).

Текст утрачен (обрыв по нижней кромке листа).

49

Илья Иванович Есенин.

Райх.